

В О П Р О С Ы ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

VII

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

AVTOR SKANA:

ewgeni23

philbook@mail.ru

МОСКВА — 1958

СОДЕРЖАНИЕ

В. Георгиев (София). Балто-славянский и тохарский языки	3
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. Крейнович (Ленинград). Об инкорпорировании в нивхском языке	21
Я. Б. Крупаткин (Харьков). Две проблемы исторической фонологии	34

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Л. Ю. Теньер. О русско-французском словаре Л. В. Щербы	41
--	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. М. Жирмунский (Ленинград). Потенцированные формы в немецких диалектах	44
В. А. Дыбо (Москва). О древнейшей метатонии в славянском глаголе	55
Д. Н. Шмелев (Москва). Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке	63
А. Н. Гвоздев (Куйбышев). Вопросы фонетики. Что дают три типа транскрипций	76
Г. С. Щур (Москва). Скандинавский инфинитив I на <i>и</i>	87
А. С. Гарибян (Ереван). Новая группа диалектов армянского языка	95

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Малый атлас польских диалектов	102
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

М. М. Маковский (Москва). «Lingua»	104
--	-----

Рецензии

В. Г. Адмони (Ленинград). А. И. Смирницкий. Синтаксис английского языка	107
П. Я. Скорик (Ленинград). R. Jakobson, G. Hüttl-Worth, I. F. Beebe. Paleo-siberian peoples and languages. A bibliographical guide	111
Т. И. Грунин (Москва). J. Deny. L'arméno-coman et les «Ephémérides» de Kamieniec (1604—1613)	113
И. А. Мельчук (Москва). «Dictionar invers»	116
В. В. Макаров (Калинин). G. Rohlf's. Die lexikalische Differenzierung der romanischen Sprachen	117

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Р. О. Костанян (Ереван). Лингвистические и арменоведческие работы в Институте языка АН АрмССР	119
И. И. Мещанинов (Ленинград). Моя текущая работа и ее перспективы	122
Хроникальные заметки	127
Указатель статей, напечатанных в журнале «Вопросы языкознания» в 1958 году	130
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	134

В. ГЕОРГИЕВ

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЙ И ТОХАРСКИЙ ЯЗЫКИ

Введение

В балто-славянском и тохарском¹ языках обнаруживается целый ряд явных и характерных общих элементов как в области лексики и словообразования, так и в области морфологии. Последнее особенно важно. Близость балто-славянского языка с тохарским была установлена еще первыми исследователями тохарских языков. Так, например, определяя положение тохарского среди других индоевропейских языков, А. Мейе подчеркнул, что он занимает среднее место между итало-кельтским, с одной стороны, и славянским и армянским, с другой.

В начальном периоде исследования тохарского языка многие языковеды (например, Х. Педерсен, Ж. Вандриес, Ф. Зоммер, А. Вальде, Ж. Шарпантье) были склонны искать близость тохарского с итало-кельтским или только с кельтским, и то почти исключительно на основании наличия глагольных форм с окончанием на -г. Однако в дальнейшем, после того как было доказано, что глагольные формы на -г — общеиндоевропейского происхождения и присущи не только италийскому, кельтскому и тохарскому, но и фригийскому, хеттскому и индо-иранскому, утверждение об итало-кельтско-тохарской близости постепенно отпало². Эта концепция была подвергнута резкой критике со стороны Й. Покорного, который пришел к выводу, что тохарский представляет собой какой-то фракийский (фрако-фригийский) диалект, ближе всего родственный армянскому³.

Позднее получил распространение взгляд о более тесном родстве тохарского с балто-славянским. Так, например, Р. Келлог указывает на то, что тохарский стоит ближе всего к балто-славянскому, германскому и фрако-фригийскому⁴. Э. Бенвенист считает тохарский родственным балто-славянским языкам, с одной стороны, и греко-армяно-фрако-фригийским, с другой⁵. По мнению Е. Швентнера, тохарский занимает среднее положение между германским и балто-славянским, с одной стороны, и кельтским и фрако-фригийским, с другой⁶. Тохаролог В. Краузе осо-

¹ «Тохарский» — общепринятое условное обозначение двух близко родственных языков (А и В), найденных в письменных документах Восточного Туркестана (Западного Китая.) Вместо обычного обозначения «тохарский» А и В некоторые ученые употребляют территориальные названия «турфанский» и «кучайский», или «восточнотохарский» и «западнотохарский».

² См. E. Sch w e n t n e r, Tocharisch («Grundriß der indogermanischen Sprach- und Altertumskunde», Tl. II — Die Erforschung der indogermanischen Sprachen, Bd. 5, Lf. 2), Berlin—Leipzig, 1935, стр. 21—27.

³ J. P o k o r n y, «Berichte des Forschungs-Institutes für Osten und Orient in Wien», 3, 1923, стр. 24 и сл.

⁴ См. «Journal of the American Oriental society», vol. 47, № 4, 1927, стр. 356.

⁵ E. B e n v e n i s t e, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», vol. 36, 1935, стр. XXIX; см. также сб. «Germanen und Indogermanen» (Festschrift für H. Hirt hrsg. von H. Arntz), Bd. II, Heidelberg, 1936, стр. 227 и сл.

⁶ E. S c h w e n t n e r, «Zeitschr. für vergl. Sprachforschung», Bd. 68, 1943, стр. 33 и сл.

бенно подчеркивает наличие тесных родственных связей между тохарским и балто-славянским¹. В. Порциг указывает на «существенные общие черты» балто-славянского с тохарским и считает прародиной тохарского языка область, расположенную по соседству с местами распространения балтийских, германских и славянских языков². Сходство тохарского и балто-славянского языков начало особенно выявляться в последнее время, когда уже стало вполне ясно, что тохарский не имеет близкого родства ни с западными индоевропейскими языками³, ни с индо-иранским⁴, ни с хетто-лувийской группой языков⁵.

*

Главная причина, по которой тохарский некогда связывали с италокельтским, коренилась в господствовавшей долгое время трактовке специфики индоевропейских гуттуральных в тохарском и в рассмотрении данных тохарского языка с точки зрения так называемой теории *centum-satəm*⁶. Ввиду того что велярный в таких словах, как А *okät*, В *ok(t)* «восемь», А *šäk*, В *šak* «десять», А *känt*, В *kante* «сто», не ассимилирован, а сохранен, тохарский был сразу же причислен к так называемой группе *centum* (кельтский, италийский, германский, греческий, хеттский), что обязывало при поисках более близкого родства ограничиваться рамками упомянутых языков. О родственных отношениях с балто-славянским не могло быть и речи. Однако многие другие данные указывали на близкое родство тохарского именно с последней группой, так что даже сторонники теории *centum-satəm* в конце концов были вынуждены признать этот вполне очевидный факт.

В сущности, какие-либо заключения о специфике индоевропейских гуттуральных в тохарском были преждевременны. Они базировались главным образом на априористических соображениях, построенных на принципах господствующей теории *centum-satəm*. Основные положения этой теории следующие: а) индоевропейские языки делятся на две группы — *centum* и *satəm*. При этом языки, принадлежащие к группе *centum*, находятся в более тесном родстве друг с другом, чем с любым языком группы *satəm*, и наоборот; б) так называемые индоевропейские палатальные появляются в языках группы *centum* как велярные (*k*), а в группе *satəm* — как спиранты или аффрикаты (например, слав. *s*, *z*, др.-инд. *ś*, *j*, *h*); в) лабиовелярные сохраняются в первой группе (*k^u*), тогда как во второй они появляются в качестве велярных (*k*).

Исходя из этих основных положений, в начальный период изучения тохарского языка делались следующие заключения: в результате рассмотрения таких слов, как А *okät*, В *ok(t)* «восемь», А *šäk*, В *šak* «десять», А *känt*, В *kante* «сто», приходили к выводу, что тохарский представляет собой язык *centum*; из этого заключали, что индоевропейские лабиовелярные должны быть в нем сохранены (*k^u*).

Ныне теория *centum-satəm* не имеет уже того господствующего положения, какое она имела в конце XIX в. и в первые десятилетия XX в. В наше время все больше утверждается концепция о постепенной ассимиляции первоначальных велярных в различных индоевропейских язы-

¹ W. Krause, «Zeitschr. für vergl. Sprachforschung», Bl. 63, 1951, стр. 199.

² Cp. W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954, стр. 183 и сл.

³ Cp. W. Porzig, там же, стр. 182.

⁴ Cp. T. Burrow, The Sanskrit language, London, 1955, стр. 16.

⁵ Cp.: G. S. Lane, «Reports for the Eight International congress of linguists», vol. I, Oslo, 1957, стр. 136; W. Porzig, указ. соч., стр. 183.

⁶ См. E. Benveniste, «Germanen und Indogermanen», стр. 229.

ках по так называемому закону палатализации. В связи с этим приведенные выше априорные положения о тохарском языке оказываются несостоятельными. Проблема преобразования индоевропейских гуттуральных в тохарском и теория *centum-satəm* были предметом нескольких наших специальных исследований¹. Основные положения нашей концепции следующие. В поздний (последний) период развития индоевропейского языка существовало два ряда гуттуральных — велярные (*k*, *g*, *gh*) и лабиовелярные (*kʷ*, *gʷ*, *gʷh*). В период обособления некоторых индоевропейских диалектов (например, балто-славянского, индо-иранского и др.) первоначальные велярные совершенно независимо и в разное время для отдельных диалектных групп палатализировались, а позже перешли в аффрикаты и (или) спиранты. Палатализация первоначальных велярных вызвала в соответствующих диалектах делабиализацию первоначальных лабиовелярных, т. е. изменение первого члена в корреляцию *k* — *kʷ*; кроме того, в результате палатализации изменился и другой член: оппозиция *k* — *kʷ* перешла в оппозицию *k'* — *k*. Ассибиляция велярных в так называемых языках *satəm*, представляющая собой весьма обычное и широко распространенное фонетическое явление, которое осуществляется совершенно независимо во многих различных языках, не может служить доказательством их более тесного родства.

Тохарский язык дает нам хороший пример ошибочности теории *centum-satəm*. Как мы увидим в дальнейшем, этот язык проявляет близость с балто-славянским в области не только морфологии, словообразования и лексики, но также и фонетики.

Преобразование индоевропейских лабиовелярных в тохарском языке

Согласно господствующему ныне мнению, индоевропейские лабиовелярные (*kʷ*) сохранялись в тохарском, поскольку, под влиянием второстепенных причин, они не перешли в велярные или сибиланты. Этот взгляд абсолютно неверен. Он опирается не на факты, а на априорные выводы, сделанные на основе теории *centum-satəm*. Наоборот, данные сравнительно-исторической фонетики тохарского языка совершенно ясно показывают, что в соответствии с законом палатализации индоевропейские лабиовелярные (*kʷ*) в этом языке появляются как велярные (*k*) или же как спиранты (*ç*). Таким образом, преобразование индоевропейских лабиовелярных в тохарском аналогично их преобразованию в славянском (и.-е. *kʷ* > слав. *k* или *č*).

Многочисленные примеры, этимология которых вполне достоверна или весьма вероятна, показывают, что индоевропейские лабиовелярные выступают в тохарском как велярные (*k*) или спиранты (*ç*)²:

А *ak*, В *ek* ср. род «глаз»; ср. др.-болг. *око* «глаз» из и.-е. **okʷos* ср. род.

А *açāt*, В *e, aṇe* «два глаза» — дв. число; ср. др.-болг. *очи* «два глаза», дв. число с ч из *k* перед *i* (< и.-е. *i*).

А *akmal* «фигура, вид, лицо», композитум из *ak* «глаз» + *mal* «щека».

А *ciñcār*, *cāñcar* «сладкий, приятный, хороший», В *señc*; ср. литов. *švānkus* «подходящий», греч. *χοῖφος* «хороший, красивый, нежный, ловкий» из и.-е. корня **kʷenēkʷ*.

¹ См.: Вл. Георгиев, Индоевропейските гуттурали, «Годишник на Софийския ун-т, Ист.-филол. фак-т», т. XXVIII, кн. 6, София, 1932; «Zeitschr. für vergl. Sprachforschung», Bd. 64, 1937, стр. 104—126; см. также Вл. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, гл. II, М., 1958.

² Относительно нижеследующих примеров см.: А. J. Van Windekens, Lexique étymologique des dialectes tokhariens, Louvain, 1941; P. Poucha, Institutiones linguae tocharicae, I, Praha, 1955.

АВ *sok* «лампа», др.-инд. *dahati* «горит» из и.-с. **dheg^uh¹*.

В *çai-* «жить» из и.-е. **g^uei-*, В *çaiyye* «скот, животное» из и.-е. **g^uei-jo-m*; ср. др.-болг. *животноѣ* «животное».

А *çām*, В *çana* «жена, супруга»; ср. слав. *жена* из и.-е. **g^uenā*.

А *çarme* «горячий, жара»; ср. греч. *θερμός*, арм. *ferm* «горячий» из и.-е. **g^uhermo-*.

А *çtwar*, В *çtwer*, *çwer*, *çwar* «четыре» из и.-е. **k^uetuer-es*; *çtärt* «четвертый» из и.-с. **k^ueturt-*.

АВ *kāssi* «учитель» из и.-с. **k^uok's-*; ср. др.-инд. *cāste*, авест. *kaš-* «учить, обучать» из и.-е. **k^uek's-* и **k^uok's-*.

А *kātk-* «проходить» из и.-с. **g^wəd-*; ср. греч. *παδίζω* «идти» из и.-е. **g^uəd-*.

А *kāts*, В *kātso* «живот» из и.-с. **g^uot(i)-*; ср. гот. *qifus* «живот», др.-исл. *kvidr* муж. род «живот», лат. (оск.-умбр.) *botulus* «кишка, колбаса»(?)².

В *kele* «пуп», греч. *πῶλος* «ось, центр» из и.-е. **k^uolo-s*.

В *ketara-* «другой»; ср. др.-инд. *katarā-h*, греч. *πῶτερος* «кто из двух».

АВ *klā-* «падать»; ср. др.-инд. *galati* «падает, исчезает», греч. *βάλλω* «бросать, ударять».

А *ko*, *ki*, В *keu* «корова»; ср. греч. *βοῦς*, др.-инд. *gāu-h* «корова, вол, бык»; В *kewiye*; ср. др.-инд. *gāvya-* «волово».

В *kor* «горло», др.-болг. *грѣло*, литов. *gurklė*, арм. *kokord* «горло», др.-инд. *girati* «поглощает» из и.-е. корня **g^uer-* (см. ниже).

В *koskiye* «образ»; ср. др.-инд. *kaçate* «показывается, блестит», греч. *τέκμαρ* «знак» из и.-с. корня **k^uek'-*.

А *krām* «нос»; ср. др.-инд. *ghrānā* «нос» из и.-е. **g^uhrēnā*.

В *kra-marts-* «тяжелый»; ср. др.-инд. *gurū-h*, греч. *βαρὺς* «тяжелый». Эта этимология не вполне достоверна.

В *laiç-* «подниматься, восходить»; ср. греч. *λείπω* «оставлять» из и.-с. **leik^u-*.

В *lañkts*, *lañtse* «легкий» из и.-с. **lng^uh(u)-*; ср. др.-инд. *laghú-*, вед. *raghú-* «быстрый, легкий», авест. *ragu-* «быстрый, подвижный» из и.-с. **leg^uhu-* или **lng^uhu-*, авест. *rañjyō*, сравнит. степень из и.-с. **leng^uh-*, греч. *ἐλαχὺς* «ничтожный», *ἐλαφρὸς* «легкий, подвижный»; ср. др.-в.-нем. *lungar* «быстрый» из и.-с. **lng^uh-ro-*, литов. *leñgvas*, *lengvūs* «легкий» из и.-с. **leng^uh_u-*, др.-болг. *лъгъкъ* «легкий» из и.-с. **lg^uhu-ko-s*.

А *lek* «рого, ab» из и.-с. **leik^u-*, лат. *linguo* «оставлять», греч. *λοιπός* «остальной».

А *lek-*, *lik-*, В *laik-*, *lik-* «мыть», лат. *liqueo* «быть жидким», *liquo* «растопливать, пропеживать», *liquor* «жидкость» из и.-с. корня **leik^u-*.

А *lykāly*, В *lykaçke* «тонкий, нежный», др.-инд. *laghú-* «быстрый, легкий, ничтожный» из и.-с. **leg^uhu-*.

В *nekiye* «вечером», хет. *nekut-* «вечер, ночь», лат. *nox* «ночь».

А *orkām*, В *orkam(ñe)* «темнота, мрак» из и.-с. **rg^umo-* или **org^umo-*, греч. *ἔρεβος* «мрак», *ὄρφνός* «темный», гот. *riqis* «темнота, мрак».

А *pāñ*, В *piç* «пять», А *pānt*, В *piñkte*, *piñkse*, *pikse* «пятый» из и.-с. **penk^ue*, **penk^uto-*.

А *pkās*, В *pakṣāt* «(он) готовит» от и.-с. **pek^u-*.

А *sāk* «следовать» из и.-с. **sek^u-*; ср. лат. *sequor*, греч. *ἑπομαι* «следовать».

А *sek*, *sik-* «наводнять» из и.-с. **seik^u-*; ср. др.-инд. *ścate* «выливать».

А *sokyo* «весьма» из и.-с. **seg^uh-*; ср. др.-инд. *saghnōti* «берет на себя, может перенести». Этимология не вполне достоверна.

¹ Ср. J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch (сокращенно Idg. et. Wb.), Lf. I—II, Bern, 1949—1957, стр. 240 и сл.

² Ср.: E. Schwentner, «Zeitschr. für vergl. Sprachforschung», Bd. 67, 1942, стр. 228; J. Pokorny, Idg. et. Wb., стр. 481.

А *ṣukṣ-* «село» из и.-е. **sek^u-*. Этимология эта не вполне достоверна.

А *suñk* «морда, пасть»; ср. греч. ὄμφη «голот», нем. *Ge-sang* «песня» из и.-е. **song^u-h-*.

В *teki* «болезнь» из и.-е. **dheg^u-h-*; ср. др.-инд. *dāhati* «горит», *dāha-h* «жара», лат. *febris* «жар», ср.-прл. *daig*, род. падеж *dega* «огонь», «скорбь» из **degi⁻¹*.

А *trak* «слепой»; ср. др.-инд. *tarjati* «угрожает» из и.-е. **terg^u-(?)*

А *tsāk-*, В *tsāk-* «блестеть, пламенеть, гореть» из и.-е. **dheg^u-h-*; ср. др.-инд. *dāhati* «горит»².

А *wak*, В *wek* «голот», В *wek-* «говорить»; ср. др.-инд. *vākti* «говорит», греч. ἔπος «слово». Производные: АВ *we(ñ)-*, В *wesk-* «говорить», прич. наст. вр. *wekṣeñca* из и.-е. **uek^u-sk-* > **uesk-* и **ueks-*. Палатализация и ассимиляция: А *waçem*, В *wecēñña* «голот».

А *wāktasurñe* «почесть, преклонение» из и.-е. **(e)ueg^u-h-*; ср. др.-инд. *vāghāt-* «молящий, умоляющий», лат. *voveo* «давать обет, посвящать, жертвовать».

Из рассмотренных примеров можно сделать следующие выводы:

а) индоевропейские лабиовелярные в тохарском делабиализовались: здесь они встречаются в начале, середине и конце слов перед согласным и твердым гласным в виде обыкновенных велярных;

б) перед первоначальным мягким гласным (и *i*) делабиализовавшиеся лабиовелярные были палатализованы и ассимилированы.

Примеры:

а) в начале корня: АВ *käṣṣi* «учитель», А *kātḱ* «проходить», А *kāts*, В *kātso* «живот», В *kele* «пуп», В *ketara-* «другой», АВ *klā-* «падать», А *ko*, *ki*, В *keu* «корова», В *kor* «горло», В *koṣkīye* «образ», А *krām* «нос»;

б) в конце корня: А *ak*, В *ek* «глаз», А *lek-*, *lik-*, В *laik-*, *lik-* «мыть», А *sāk-* «следовать», А *sek-*, *sik-* «наводнять», А *suñk-* «морда», А *trak* «слепой», АВ *tsāk-*, *tsak-* «блестеть, пламенеть, гореть», А *wak*, В *wek* «голот»;

в) перед согласным или первоначальным твердым гласным: А *akmal* «вид, лицо», В *lanḱts*, *lantse* «легкий», А *lykäly*, В *lykaṣke* «тонкий, нежный», А *orkām*, В *orkam(ñe)* «темнота, мрак», А *pānt*, В *pinkte* «пятый», В *teki* «болезнь», А *wāktasurñe* «почесть, преклонение»;

г) перед первоначальным мягким гласным: А *açām*, В *eçane* дв. число «глаза», В *çay-* «жить», А *çām*, В *çana* «жена», А *çärme* «горячий», А *çtwar*, В *çtwer* «четыре», *laiç-* «подниматься, выходить», А *pāñ*, В *piç* «пять», А *waçem*, В *wecēñña* «голот».

Самый факт, что перед первоначальными мягкими гласными индоевропейские лабиовеляры в тохарском выступают как спيرانты (или аффрикаты), недвусмысленно свидетельствует о том, что до их палатализации (и ассимиляции) они были делабиализованы. Такие примеры, как А *çām*, В *çana* «женщина» из и.-е. **g^uenā*, показывают, что эта форма развивалась следующим образом: и.-е. **g^uenā* > пратохар. **genā* > **g'enā*, т. е. так же, как и в славянском: и.-е. **g^uenā* > балто-слав. **genā* > **g'enā* > слав. *жена*. Если допустить, что путь развития был и.-е. **g^uenā* > пратохар. **g^uenā* > **g'ṛenā*, то исчезновение *ṛ* не может быть объяснено, так как в подобных случаях *ṛ* сохраняется; ср. В *twere* «дверь» из и.-е. **d(h)uer-*; *çtwar* «четыре» из и.-е. **k^uetue/or-*; В *yakwe*, А *yuk* «лошадь» из и.-е. **(h)ek'uo-s*; А *swarp*, *sparp-* «веревка»; АВ *su-*, А *swās-*, В *swask-* «идет дождь»; А *swase*, В *swese* «дождь»; А *swār*, В *swäre* «сладкий, приятный»; А *twe*, В *tweye* «пыль» из и.-е. **dh^u-*; А *pärwat*, В *pärwe* «первый»; В *kwarm* «опухоль» от и.-е. корня **k'e^u(ā)-* и т. п. Из приведенных при-

¹ Ср. J. Pokorny, Idg. et. Wb., стр. 240 и сл.

² Ср. там же, стр. 241.

меров видно, что в подобном случае лабиальный элемент *ɥ* первоначального лабиовелярного должен был бы сохраниться. С другой стороны, эти примеры показывают, что в сочетании «согласный + *ɥ* + мягкий гласный» согласные в тохарском языке не палатализовались: в противном случае следовало ожидать форму **cwere* и под., так как и *t* палатализуется перед мягким гласным.

Отсюда следует, что индоевропейские лабиовелярные в пратохарском были делабиализованы. Это подтверждается одинаковым преобразованием первоначальных лабиовелярных и велярных перед мягким гласным (ср. тохар. АВ *cpal* «голова» = греч. κεφαλή «голова» и тохар. А *ɕtwar*, В *ɕtwer* «четыре» = греч. τέτταρες «четыре»).

Преобразование индоевропейских сонантных плавных и носовых в тохарском языке

Ошибочное понимание специфики индоевропейских лабиовелярных в тохарском, а именно утверждение, что в этом языке лабиовелярные сохранились в виде *ku* или *kw*, зиждется, с одной стороны, на упомянутых выше априорных выводах, основанных на принципах теории centum-satem, а с другой стороны, на неправильном понимании преобразования индоевропейских сонантных плавных и носовых в тохарском, на некоторых других ошибочно объясненных случаях и неправильных этимологиях. Ниже приводятся примеры, на которые опирается эта концепция, и делается попытка правильного их объяснения.

а) А *kām-*, *kut-*, *ɕām-*, В *kām-*, *kat-*, *ɕet-* «проходить» от и.-е. корня **g^uem-*, греч. βαίω «идти», др.-инд. *gāmati* «идет».

В *kul-* «звонко, колокол» от и.-е. корня **(s)k^uel-*; ср. др.-исл. *skvala* «говорить громко, кричать, орать» (эта этимология неубедительна, см. ниже).

АВ *kul-* «лахаге, либераге» от и.-е. корня **k^uel-*; ср. греч. πέλω «двигаться», др.-инд. *carati* «движется, гонит».

А *kul(y)i*, В *kl(y)iye* «женщина»; ср. ирл. *caile* «женщина, девушка», *cailin* «девушка, девочка», брет. *pl-ac'h* «девушка» из и.-е. **k^uylⁱ*¹.

АВ *kulyr-* «желать» от и.-е. корня **g^uhel-*; ср. др.-болг. *желѣти*, *желати*, греч. θέλω «желать».

А *kuñas* «спор, ссора, битва» из и.-е. корня **g^uhen-*; ср. греч. θείνω «убивать», др.-инд. *han-ti* «бьет, убивает», др.-болг. *гнати* «гнать».

Как известно, в балто-славянском сонантные плавные и носовые преобразуются двояким образом: они встречаются в виде *ir*, *il*, *in*, *im* и *ur*, *ul*, *un*, *um*; *ur*, *ul*, *un*, *um* выступают чаще всего после гуттурального согласного².

Подобное явление находим и в индо-иранском. В древнеиндийском и.-е. *r̥* (*r*) (*ɀr*) и *l̥* (*l*) (*ɀl*) появляются как *ir* и *ur*, причем последние встречаются обычно после лабиальных или первоначальных лабиовелярных³, а в авестийском те же индоевропейские звуки появляются в виде *ər* или *or* (на письме *ōr*) обычно после лабиальных⁴. Кроме того, др.-инд. *r̥* в среднеиндийском видоизменяется двумя путями: здесь оно встречается то как *a*, то как *u*, в особенности после лабиальных звуков, ср. др.-инд. *vr̥ka-* «волк» > ср.-инд. *vaka-*, однако др.-инд. *pr̥thu-* «широ-

¹ Н. Pedersen, Tocharisch., стр. 99 и сл. Иначе получается неубедительно, как у А. Ван-Виндекеуса (см. А. J. Van Winkens, Lexique., стр. 47).

² Ср. А. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, vol. I, Paris, 1950, стр. 171.

³ Ср. Т. Burrow, указ. соч., стр. 86.

⁴ Ср. Н. Reichelt, Awestisches Elementarbuch, Heidelberg, 1909, стр. 58 и сл.

кий» > ср.-инд. *puthu-*. То же явление наблюдается в албанском и армянском языках, в особенности после гуттуральных; ср., например, алб. *për-kul* «сгибать, наклонять» из и.-е. $*k^u\bar{l}-n-$, наряду с *qel* «нести» из и.-е. $*k^u\bar{o}l\bar{e}i\bar{o}$ и *sjell* «вертеть, приносить» из и.-е. $*k^u\bar{e}l-$, *kulp* «лесной (дикий) виноградник» из и.-е. $*k^u\bar{l}-bh-$ (корень $*k^u\bar{e}l-$)¹.

Следовательно, во всех так называемых языках *satəm*, в которых лабиовелярные делабиализовались, встречаются примеры с *u* после первоначального лабиовелярного, причем это не является доказательством сохранения лабиального элемента прежнего лабиовелярного. То же можно сказать и о тохарском.

Двойное преобразование сонантных плавных и носовых (или $\bar{y}$ и пр.), наблюдаемое во многих других индоевропейских языках², особенно в так называемых языках *satəm*, характерно также и для тохарского: и.-е. *r*, $\bar{l}$, $\bar{n}$, $\bar{m}$ (*br*, $\bar{y}l$, $\bar{y}n$, $\bar{y}m$) появляются в тохарском не только в виде *är*, *äl*, *än*, *äm* (или *a* вместо *ä*), но и в виде *ur*, *ul*, *un*, *um* (обычно после первоначальных веляров).

Переход и.-е. $m(\bar{y}m)$ > тохар. *um* явствует из различных форм и производных тохарского глагола А *kām-*, *kum-*, *çām-*. В *kām-*, *kām-*, *çem-* «приходит» от и.-е. корня $*g^u\bar{e}m-$. В отдельных индоевропейских языках этот глагол встречается в трех различных ступенях чередования: и.-е. $*g^u\bar{e}m-$, $*g^u\bar{o}m-$ и $*g^u\bar{m}-$ ($*g^u\bar{y}m-$). То же явление наблюдается и в тохарском языке. Тохар. А *çām-*, В *çem-* восходит к и.-е. $*g^u\bar{e}m-$ (ассимиляция недвусмысленно указывает на то, что здесь следовало *e*). Тохар. А *kām-*, В *kām-*, *kām-* надо отнести к и.-е. $*g^u\bar{o}m-$, а тохар. А *kum-* к и.-е. $*g^u\bar{m}-$ (или $*g^u\bar{y}m-$); это хорошо видно в форме А *kums-am*, наст. время действ. залога из и.-е. $*g^u\bar{m}-sk-$, в точности соответствующего др.-инд. *gácchati*, авест. *jasaiti* «идет», греч. $\beta\acute{\alpha}\chi\omega$ «иду», литов. *gimstu* «рождаюсь» из и.-е. $*g^u\bar{m}-sk-$.

Переход и.-е. $n(\bar{y}n)$ > тохар. *un* хорошо виден в А *kuñaç* «спор, ссора, битва», которое восходит к и.-е. $*g^u\bar{h}n\bar{e}-i-$ (или $*g^u\bar{h}n\bar{e}-t\bar{i}o-$ > $*kuñ\bar{e}$ с анатиктическим *-a-*) и по своему аблауту соответствует др.-инд. *hātī-h* «битва, бой, удар», авест. *-jaiti-* «битье», др.-норв. *gudr*, *gunnr* жен. род «битва, бой, сражение», литов. *gīñčas* «спор, ссора, борьба, бой», др.-болг. *гънати* «гнать». Особенный интерес вызывает здесь точное соответствие индоевропейского сонантного носового в тохарском и балто-славянском.

Как было указано выше, в балто-славянском индоевропейские сонантные плавные и носовые встречаются в виде *ir*, *il*, *in*, *im*, но после первоначальных лабиовеляров обыкновенно появляется *ur*, *ul*, *un*, *um*. В литов. *gūnioti*, *gūnyti* «прогонять, выгонять», др.-прус. *gunnimai* (1-е лицо мн. числа наст. времени) «(мы) гоним», *guntwei* (инфинитив), др.-болг. *гънати* «гнать» из балто-слав. $*gun-<$ и.-е. $*g^u\bar{h}n-$ появляется балт. *-un-*, др.-болг. (слав.) *-ън-* из балто-слав. *un* < и.-е. $\bar{y}n$ ($\bar{n}$), так же как и в его тохарском соответствии *kuñaç* < и.-е. $*g^u\bar{h}n-$ (или $*g^u\bar{h}n\bar{e}-$).

Подобное явление мы наблюдаем и в тохарском В *kor* «горло». В тохарском В и.-с. *u* часто появляется как *o*; ср. тохар. А *kukāl* = В *kokale* «повозка», греч. $\kappa\acute{o}\lambda\omicron\varsigma$; В *okso* «рогатый скот»; ср. др.-инд. *uksán-* «бык»; В *kor-*, А *kur-* «слабеть, стареть»; В *aurtse* «широкий»; др.-инд. *urū-* «широкий». Следовательно, В *kor* «горло» восходит к более

¹ См. J. Pokorny, Idg. et. Wb., стр. 639.

² Подобное двойное преобразование сонантных плавных наблюдается и в хеттском: и.-е. $\bar{r}$ > хет. *ar*, но также и *ur* (см. O. Szemerényi, «Zeitschr. für vergl. Sprachforschung», Bd. 73, 1955, стр. 71 и сл.).

старому **gur* (*dl?*)- и соответствует литов. *gurklė*, др.-болг. *грѣло* от балто-слав. **gurd* (*a*) - < и.-е. **g^ur-dhl* (*o*)-.

В приведенных выше балто-славянских словах после первоначального веллярного также встречается *u*, что, однако, не может служить доказательством сохранения лабиовелляра или лабиального элемента лабиовелляра. То же *ur*-появляется и в др.-прусс. *gurcle* «глотка», арм. *kur* (наряду с *ker* «еда» по аналогии с *eker*, 3-е лицо ед. числа аор. инд., *kokord* «горло») и др. В сущности, в этих словах в балто-славянском проявляется то двоякое соответствие, о котором говорилось выше; ср. литов. *girtas* «пьяный» от балто-слав. *gir-*, др.-болг. *жърѣ* «поглощать» = др.-инд. *girāti* (наряду с *grṇāti*) «поглощает» < и.-е. **g^ur_o-*, или **g^uьr_o-* восходящих к тому же корню, что и рассматриваемые слова литов. *gurklė* и др.-болг. *грѣло*.

Ярким доказательством правильности приведенного объяснения специфики первоначальных лабиовелляров и сонантных плавных (и носовых) служит тохарское слово А *kur-*, В *kor-* «слабеть, стареть», которое следует связать с др.-инд. *jāratī*, *jūryati*, *jīryati* «стареет», греч. γέρων «старик», арм. *cer* «старик», др.-инд. *jarantī* «старик, старый» и пр. Тохарский глагол А *kur-*, В *kor-* в точности соответствует как по значению, так и по образованию др.-инд. *jūryati*, *jīryati*: он восходит к и.-е. **gr_o-* (или **gьrə-*). Здесь речь идет не о первоначальном лабиовеллярном, а об обыкновенном веллярном. Из этого примера очень хорошо видно, что *ur* (В *or*) — видоизменение и.-е. *r_o* (или *ьrə*) в тохарском. Кроме того, тохарск. В *kul-* «колокол», по всей вероятности, восходит к и.-е. **kьl-* (**k_l-*), а не к и.-е. корню *(*s*)*k^uel-* (см. ниже) и родственно русск. *колокол* из и.-е. **kol-kolo-s*, греч. κἀλέω «кричать, звать» (< и.-е. **kьl-*).

Подобное преобразование мы встречаем и в тохар. А *kursār* (им.-вин. пад. мн. числа *kurtsru*) «миля, мера длины», которое Ван-Виндекенс правильно выводит из и.-е. корня **k'ers-* «бежать»¹. Тохар. А *kursār* соответствует лат. *cursus* «пробег, бег, поездка, езда» из и.-е. **krs-*; семантическое развитие здесь шло следующим путем: «(один) пробег, (одна) поездка, (один) рейс» > «одна (мера) длина». В данном случае мы также имеем дело не с индоевропейским лабиовеллярным, а с веллярным.

Следовательно, *-u-* в тохарских формах А *kum-*, АВ *kulyp-*, А *kuñaç* и под. ни в коем случае нельзя считать доказательством сохранения лабиовеллярного. Здесь наблюдается то же явление, что, например, в литов. *kuriù*, *kùrti* «строить, делать», др.-инд. *kuru* (2-е лицо ед. числа императива) «делай, сделай», *kuryāt* (3-е лицо ед. числа наст. времени опатива) «пусть сделает», *kurmāh* (1-е лицо мн. числа наст. времени индикатива) «делаем», параллельно с др.-инд. *karōti* (3-е лицо ед. числа наст. времени индикатива) «делает», *karā-ḥ* «делающий» из и.-е. **k^uoró-s* и т. д., восходящего к и.-е. корню **k^uer-* «делать». Подобно тому, как *ku* (*r*)- в приведенных литовских и древнеиндийских глагольных формах не является признаком сохранившегося первоначального лабиовеллярного, а *ur* появляется в результате особого преобразования и.-е. сонантного плавного, так и *ku-* в перечисленных тохарских формах нельзя считать доказательством сохранения первоначального лабиовеллярного в тохарском; что касается *-ur-*, *-ul-*, *-up-*, *-um-*, то они представляют собой лишь соответствующее видоизменение индоевропейских сонантных, плавных и носовых.

¹ Ср. A. J. Van Winkens, Lexique..., стр. 49.

б) Таким же путем можно объяснить и тохар. В *käry-* «торговать», А *kuryar*, В *karyor* «торговля», А *kuryart*, В *käryorttan* «торговец», ср. др.-инд. *krināti* «покупает», греч. *πράγμα* «покупать». Однако, ввиду того, что корень, к которому восходят эти слова — **k^urei-*, гласные *-u-*, *-ä-* (*-a-*) в тохар. А *kury-*, В *käry-*, *kary-* лучше объяснить как эпентетические. Эпентетические гласные (обычно *ä*, *a*) между согласными в тохарском языке встречаются часто, ср. А *tre*, *täryäpi*, В *trey*, *trai(y)-*, *tärya*, *tarya* «три» из и.-е. **tr-*, А *klyu-*, *nom-kälywäts* «славный», В *kälywe* «слава» = греч. *κλέος* «слава» из и.-е. **kleu-*, А *kukäl*, В *kokale* «повозка» = греч. *κῶλος* «колесо», А *ākär* «слеза» = др.-инд. *āṣru-* «слеза», В *okt* = А *okät* «восемь» и др.¹ Даже сам Педерсен считает, что *ä* в *käry-* — эпентетическая гласная². Следовательно, тохар. А *kury-*, В *käry-*, *kary-* восходит к и.-е. **k^ur(i) i-*, ср. греч. *πράγμα* «покупать», др.-ирл. *ní-críā* (конъюнктив из и.-е. **k^wríat*), др.-литов. (род. пад.) *krieno* «pretium pro sponsis» и т. п., причем *ä* и *u* представляют собою эпентетические гласные в сочетании *kr*.

в) А *kukäl*, В *kokale* «повозка», ср. греч. *κῶλος*, др.-инд. *cakrá-*, англ. *wheel* «колесо», фриг. *κίκλη* «повозка; большая медведица (созвездие)», литов. *kāklas* «шея». Как это хорошо видно из фриг. *κίκλη* и литов. *kāklas*, гласные (и.-е.) *-e-*, *-o-*, *-u-*, *-i-* в этом слове не связаны с первоначальным лабиовелярным, а присущи каждому из этих отдельных языков в редупликационном слове³. Так как в некоторых (редких) случаях и.-е. *ō* в тохарском сохранилось (ср. А *okät*, В *okt* «восемь» из и.-е. **oktōu*), то можно допустить, что А *kukäl*, В *kokale* восходят к и.-е. **k^uok^ulo-s* и, следовательно, по своему образованию идентичны литов. *kāklas*.

г) Вопросительно-относительное местоимение в тохарском А *kus*, В *kuse*, муж. и жен. рода «кто, который (которая)», А *kuc*, В *kuse*, сред. род «что, которое», неопределенное АВ *kos-* «некто»; к тому же корню восходят и А *ku-pre*, В *kwri*, *krui* «если, когда», *k(u)yal* «почему», *k(u)yalte*, *kuyolte* «потому что». Гласный *-u-* (*-o-*) не мог произойти из второго элемента и.-е. лабиовелярного, так как первоначальная форма **k^u+согласный* (т. е. **k^us-* или **k^ud-*) невозможна. Ван-Виндекенс совершенно правильно относит эти формы к и.-е. **k^uu-*⁴, ср. вед. *kū*, авест. *kū* «где», др.-болг. *кѹде* из и.-е. **k^uu-dhe*, алб. *kur* «когда» и пр. В этом отношении тохарское местоимение имеет точное соответствие в албанском и балто-славянском; ср. вопросительное местоимение алб. *kush* «кто» (муж. и жен. род) из и.-е. **k^uu-*, литов. диал. *kū* «что» и др.-болг. *кѹ-то* «кто» (муж. и жен. род) из и.-е. **k^uu-* + частица *-to* [эта частица восходит, по всей вероятности, к и.-е. местоимению среднего рода *-t*, *-d* (по закону сандхи), которое еще на ранней ступени развития праславянского (до исчезновения конечных согласных) получило окончание среднего рода *-o* (ср. др.-болг. *то*, *оно*, *ово* и под.), распространившиеся на формы мужского (и женского) рода: и.-е. **k^uid*, **k^uit* > балто-слав. **kit* > праслав. **čьt-o* > др.-болг. *чѹто*]. При этом конечный согласный *-sh* в алб. *ku-sh*, по-видимому, того же происхождения, что

¹ Относительно этих эпентетических гласных в тохарском ср.: Н. Pedersen, *Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung*, Kopenhagen, 1941, стр. 224 и сл.; W. S o u v r e u r, *Hoofdzaken van de tochaarse klank-en vormleer*, Leuven, 1947, стр. 79.

² Ср. Н. Pedersen, там же, стр. 225.

³ С другой стороны, греч. *κῶλος* и тохар. А *kukäl*, В *kokale* могут быть объяснены диссимилацией *l — l > o — l* из и.-е. **k^ul-k^ulo-s* > **ku(l)klo-s*.

⁴ Ср. А. J. Van Windekens, *Morphologie comparée du tokharien*, Louvain, 1944, стр. 197 и сл.

и *-s(e)* в тохар. А *ku-s*, В *ku-se*, а конечный элемент в др.-болг. *къ-мо*, *чь-мо* этимологически связан с *-c(e)* тохарского местоимения А *ku-c*, В *ku-ce*.
д) Ошибочные этимологии или объяснения:

В *çerk(we)* «пепел» связано с греч. τέφρα «пепел» из и.-е. **dheg^hhrā*. Фонетические различия, однако, остаются невыясненными. По нашему мнению, тохарское слово следует возвести к и.-е. **g^hher(u)k-*¹; ср. слав. *жаръкъ* из и.-е. **g^hheru-ko-*, болг. *жарава* «жар» < и.-е. **g^hhērā-ya* (-ye является суффиксом, как в болг. *жарава*); ср. тохар. А *yetwe*, жен. род «украшение» из *yāt-*, *yat-* «украшать», *retwe*, ср. род «связывание, составление», *çanwe* жен. род «челюсть» и т. д.²

А *kupār* «глубокий» соответствует авест. *gufra-* «глубокий, таинственный», а не греч. βάπτω «макать». По своему окончанию А *kupār* «глубокий» соответствует А *mārtār* «длинный», *tpār* «высокий». Сравнение тохарского слова А *kupār* с греческим дано в словаре Ван-Виндекенса, однако позднее сам автор отказывается от него, но не может решить, является ли тохарское слово родственным греческому или заимствованным из иранского³.

А *nātsw-* «умирать с голода», связываемое с греч. νίψω «поститься, быть голодным», содержит суффиксальное *-w-*⁴: как было показано при тохар. АВ *pak-*, суффикс *-w-* характерен для образования целой категории глаголов в тохарском языке.

А *onk*, В *enkwe* «мужчина» сопоставляется Ван-Виндекенсом с греч. ἄδῃ «железа», лат. *inguen* «опухоль, половые органы»⁵. Эта этимология неправдоподобна. Х. Педерсен связывает тохарское слово с хет. *antuh-ḫaš* «человек» (?)⁶.

Сопоставление В *onkorño*, *onkarño* «каша» с греч. νεφρός «почка (орган)» и пр., т. е. с предшествующим тохарским словом А *onk*, В *enkwe* «мужчина»⁷, совсем неправдоподобно.

АВ *pak-*, *päk-*, А *pkām*, *puk-*, В *päkw-* «печь, варить, зреть» восходят к и.-е. **pek^h-* «печь», однако *-w-* в В *päkw-* представляет собой не второй элемент и.-е. лабиовелярного, а особый суффикс, характерный для тохарского языка, ср. А *kat-w-* «издеваться», *nāts-w-* «умирать с голоду», *rap-w-* «натягивать» и т. п.⁸ (см. ниже).

А *pukäl*, *pukul*, *pkul*, *pukl*, В *pikul* «год». Отнесение этого слова к и.-е. **pek^h-* «печь» нельзя считать убедительным. В этих примерах необходимо различать и.-е. суффикс *-lo-* с эпентетическими гласными (-ä-, -u-), но нельзя усматривать сохранение лабиовелярного.

А *suk-*, *sūk-*, В *skw-*, *sak-* «счастье», А *skassu*, В *skwassu* «счастливый», А *sukaši* — притяжательное прилагательное «felicitatis». Этимология Ван-Виндекенса, возводящего это слово к и.-е. корню **sek^h-* «следовать», неубедительна⁹. Правильное объяснение тохарского слова дано В. Пизани, который связывает его с др.-инд. *sukhā-* «счастье»¹⁰. Тохар. В *skw-* содержит тот же суффикс, что и В *çerk(we)*, А *yet-we* и т. п. (см. выше).

Таким образом, в тохарском языке нет никаких убедительных при-

¹ Или же считать контаминацией и.-е. **dheg^hh-rā* и **g^hher(u)k-*.

² Х. Педерсен считает, что «часто встречаемая в языке В группа *kw* этимологически восходит к двум звукам» («Tocharisch...», стр. 235).

³ Ср. А. J. Van Windekens, *Lexique...*, стр. 48; «Le muséeon», LXII, 1—2, 1949, стр. 148.

⁴ Ср. А. J. Van Windekens, *Morphologie...*, стр. 44 и 255 и сл.

⁵ Там же, стр. 44.

⁶ Н. Педерсен, *Tocharisch...*, стр. 235.

⁷ А. J. Van Windekens, *Morphologie...*, стр. 82.

⁸ Там же, стр. 255 и сл., 252 и сл.

⁹ А. J. Van Windekens, *Lexique...*, стр. 113.

¹⁰ V. Pisanì, *Glottica parerga. 1 Appunti di tocarico*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere», LXXV, 2, Milano, 1941—1942, стр. 2.

меров, которые бы свидетельствовали о сохранении индоевропейских лабиовелярных *ku* или *kw*. Наоборот, многочисленные и несомненные соответствия показывают, что индоевропейские лабиовелярные в тохарском были делабиализованы. Это находится в полном соответствии со следующим фонологическим законом: корреляция «велярный — лабиовелярный» сохраняется в тех индоевропейских языках, в которых велярные не были палатализованы и не превратились в спиранты (оппозиция *k—kʰ*); в тех языках, где большинство веляров были палатализованы и затем превратились в спиранты, индоевропейские лабиовелярные, представляющие собой менее устойчивые фонемы, делабиализовались (оппозиция *k'—k*). Итак, преобразование гуттуральных в тохарском языке почти в точности совпадает с преобразованием соответствующих звуков во французском языке: ср. франц. *qui* «кто» (= *ki*) и *cent* «что».

На основании всего изложенного материала можно сделать следующие выводы:

а) индоевропейские лабиовелярные в пратохарском делабиализовались, т. е. перешли в обыкновенные велярные, подобно тому как это имело место в балто-славянском или индо-иранском;

б) на одном из этапов дописьменного периода в развитии тохарского языка пратохарские велярные (происходящие из и.-е. лабиовелярных) перед мягкими согласными и *i* палатализовались, а позже ассимилировались; этот процесс проходил приблизительно тем же путем, как в славянском, латышском и индо-иранском;

в) индоевропейские сонантные плавные и носовые изменяются в тохарском в *är, äl, än, äm* (*ar* и т. п.), однако после первоначальных велярных они обычно встречаются в виде *ur, ul, un, ut*. Такое двойное преобразование довольно точно соответствует тому же явлению в балто-славянском (и отчасти в индо-иранском) языке.

Все эти выводы приводят к следующему главному заключению:

Преобразование индоевропейских лабиовелярных в тохарском идентично их преобразованию в так называемых языках *satəm*; оно существенно отличается от преобразования лабиовелярных в так называемых языках *centum*.

Преобразование индоевропейских велярных (так называемых палатальных) в тохарском языке

Как известно, существует несколько различных мнений о характере индоевропейских гуттуральных: некоторые исследователи разделяют их на три группы (палатальные, чистые велярные и лабиовелярные), а некоторые — на две: 1) препалатальные и постпалатальные-лабиовелярные или 2) велярные, часть которых палатализовалась по закону палатализации, и лабиовелярные. С точки зрения последней концепции преобразование велярных в тохарском идентично тому же явлению в балто-славянском, индо-иранском и вообще во всех так называемых языках *satəm*.

а) Индоевропейские велярные сохранились перед согласным и твердым гласным:

А *okāt*, В *ok(t)* «восемь» из и.-е. **oktō(u)*, ср. в албанском *tetë* «восемь» из и.-е. **oktō-t-* и армян. *utʰ* «восемь» из и.-е. **oktō* с ассимиляцией *kt; tt; t*. С другой стороны, спирант в др.-инд. *aṣṭā(u)*, авест. *ašta*, литов. *aštuoni*, др.-болг. *осмъ* «восемь» появился ввиду аналогичного воздействия (унификация раздвоенного корня) таких форм, как вед. *aṣīti* «восемьдесят» (в этих формах велярный закономерно палатализовался и ассимилировался перед мягким гласным).

А *čāk*, В *čak* «десять» из и.-е. **dek̑m*; ср. алб. *dhjetë* «десять» из и.-е. **dek-t-* (см. ниже).

А *kānt*, В *kante* «сто»: велярный сохранился, так как и.-е. *m* перешло в пратохарском в сочетание «твердый гласный + *m(n)*». В балто-славянском же велярный закономерно палатализовался и ассимилировался, потому что сонантный носовой перешел в *im*, ср. литов. *šimtās* «сто». Подобные фонетические изменения произошли и в праиндоиранском (и праармянском): и.-е. *m* > праиндоиран. *ϕ* > индо-иран. *a*, так же как и в словацком, верхнелужицком, русском, украинском и белорусском [ср. словац. *desať* «верхнелуж. *džesać*, русск. *десять* (произн. *дес'ам')* из слав. *десАмь* < балто-слав. **dešim-ti-* < и.-е. **dek̑m-ti-*].

АВ *kāly-* «стоять, находиться, быть» (ср. др.-инд. *crāyate* «опирается, находится»); в этом примере -*ä-* представляет собою эпентетический гласный, велярный же закономерно сохранился перед согласным.

А *yuk*, В *yukwe* «лошадь», ср. лат. *equus* «лошадь» из и.-е. *(*h*)*ek̑yo-s*: велярный сохранился в тохарском перед -*ϕ* (o)-, тогда как в праиндоиранском (и балто-славянском) он палатализовался и ассимилировался в таких случаях, как и.-е. *(*h*)*ek̑ye* > др.-инд. *āśva*, зват. пад. «лошадь», и.-е. *(*h*)*ek̑y-* (i) *io-s* > др.-инд. *aśv(i)ya-*, авест. *aspya-* «конский», литов. *ašvėnas*, муж. род «жеребец» и т. п.; и.-е. *k̑ye*, *k̑yi* > индо-иран. (балто-слав.) *k'ū'e*, *k'ū'i* > *čye*, *čyi*¹ > др.-инд. *śva*, *śvi*. Под влиянием таких форм спирант был «введен» и в им. падеж *aśva-* из и.-е. *(*h*)*ek̑yo-* и т. п.

б) В пратохарском индоевропейские велярные палатализовались перед мягким гласным (и *i*) и позднее перешли в аффрикаты или спиранты:

n̑cītār — 3-е лицо ед. числа опт. мед.-пасс. от *nāk-* «погибать, исчезать», ср. др.-инд. *nācati* «погибает» из и.-е. **neketi* со спирантом перед мягким гласным, однако *pra-nāk* — аорист от **nekst* с сохранившимся велярным перед *s*.

А *čanwe-*, жен. род «челюсть», др.-инд. *hānu-*, авест. *zānu-* «челюсть», греч. γένυς «подбородок, челюсть».

А *tsar*, В *sar*; ср. арм. *jern*, греч. χερ «рука» из и.-е. **ghe(s)r-*.

В *miço* «моча» из и.-е. **meighes-*; ср. др.-инд. *mēhati* из и.-е. **meigheti*.

АВ *waçir* «молния» из и.-е. **uegere/o-*; ср. др.-инд. *vāja-* «молния».

Следует отметить, что, в отличие от балто-славянского и иранского, процесс унификации раздвоенного корня в тохарском был менее интенсивен. Вот почему мы находим здесь велярные (вместо спирантов из и.-е. велярных) значительно чаще, чем в упомянутых языковых группах.

С другой стороны, в тохарском можно обнаружить прототип преобразования в славянском (и индо-иранском) групп *kle*, *kre*, *k̑ye* и т. п. Такие слова, как тохар. А *klyos-*, В *klyaus-* «слушать» (*ly-l'*) из и.-е. **kleus-*, дают возможность заключить, что в сочетаниях типа *kle* на весьма древней ступени развития в одних языках палатализовался предшествующий согласный, а в других этот палатализованный согласный оказал влияние на предшествующий, в свою очередь превратив его в палатализованный; ср. *kle* > *kl'e* > *k'l'e* > *č'l'e* > слав. *sle*, др.-инд. *śra*. При этом в тохарском (как и балтийском) преобразование этих звуков весьма сходно с соответствующим явлением в праславянском и индо-иранском.

Следовательно, преобразование индоевропейских велярных (так называемых палатализованных) в тохарском языке приблизительно идентично их преобразованию в балто-славянском.

¹ Подобная палатализация известна, например, в славянских языках.

Фонетическая общность балто-славянского и тохарского языков

1. Перед *e*, *i*, *ī* в тохарском языке произошла палатализация индоевропейских согласных ($k > \check{c}$, $t > c$, $n > \check{n}$, $l > ly$, $s > \check{s}$, $p > py$, $m > my$ и др.), которая в сущности идентична палатализации в балто-славянском. В балто-славянских языках те же согласные (*k*, *t*, *n*, *l*, *s*, *p*, *m* и пр.) перед мягкими гласными имеют следующий вид: в литовском — *k'* (> латыш. *c*), *t'*, *n'*, *l'* и пр., в славянском — *č* (или *c*), *t'* (> польск., в.-луж., белорусск. *ć* > н.-луж. *ś*), *l'*, *s'*, *p'*, *m'* и пр.¹ Ср., например, инфинитивное окончание русск. *-ть*, белорусск. *-ць*, польск. *-ć* и тохар. *-tsi*; русск. *десять* (*ð'*), белорусск. *дзесяць*, польск. *dziesięć*, в.-луж. *džesać*, н.-луж. *žesaś* «десять» и тохар. А *čāk*, В *čak* «десять» из и.-е. **dek̑m*.

2. Так же как и в балто-славянском, в тохарском индоевропейские лабиовелярные делябиализовались и затем палатализировались перед *e*, *i* (*ī*). В литовском они сохранились и поныне на том же этапе развития (ср. литов. *k'e*, *k'i*, *g'e*, *g'i*). В тохарском, славянском и латышском (разумеется, в различное время) эти палатализованные велярные перешли в аффрикаты или спиранты.

3. Двойное преобразование индоевропейских сонантных плавных и носовых (*är*, *äl*, *än*, *ät* и *ur*, *ul*, *un*, *um*) в тохарском произошло в тех же условиях, что и в балто-славянском (*ir*, *il*, *in*, *im* и *ur*, *ul*, *un*, *um*) и отчасти в индо-иранском.

4. Тохарский гласный *ä*, часто исчезающий в открытом слоге, очень сходен с характерными славянскими гласными *ъ*, *ѣ*².

Общие морфологические и словообразовательные элементы в балто-славянском и тохарском языках

Морфология представляет собой наиболее устойчивую часть языка: она изменяется чрезвычайно медленно, а морфемы плохо поддаются заимствованию. Вот почему при изучении сходных черт в строе родственных языков большое значение имеет исследование морфем. Именно в области морфологии намечаются некоторые общие черты между балто-славянским и тохарским языками. Речь идет не об элементах, унаследованных из индоевропейского праязыка, а об о б щ и х н о в о о б р а з о в а н и я х. Это показывает, что после выделения из индоевропейского праязыка балто-славянский и тохарский в известный период времени принадлежали к одной языковой общности или, по крайней мере, представляли собою два близко родственных диалекта.

Ниже приводятся общие, характерные для балто-славянского и для тохарского, морфологические и словообразовательные элементы:

1. Инфинитивное окончание литов. *-ti*, слав. *-mi*, тохар. *-tsi* из и.-е. *-tei* (*-tēi*) встречается лишь в балто-славянском и в тохарском³. Например, тохарский инфинитив АВ *čw-ā-tsi* «есть» из и.-е. **gjuw-ā-tēi* с о в е р ш е н н о т о ч н о соответствует др.-болг. (серб.-церк.-слав.) *жѣв-а-ми*, русск. *жев-а-ть* < и.-е. **gjuw-ā-tēi*, наряду с наст. вр. 1-го лица ед. числа серб.-церк.-слав., русск. *жую* < и.-е. **gieu-iō* (корень и.-е. **gieu-*).

2. Окончание 1-го лица ед. числа наст. времени индикатива действ. залога в тохарском А — *-(a)m*, а в В — *-au*, *-u*. Это различие в оконча-

¹ Ср. А. Vaillant, указ. соч., стр. 45 и сл.

² Ср. W. Krause, *Tocharisch* («Handbuch der Orientalistik», hrsg. von B. Speer, Bd. 4 — «Iranistik», Abschnitt 3), Leiden, 1955, стр. 11 и сл.

³ Ср.: Н. Pedersen, *Tocharisch...*, стр. 217; W. Couvreur, *Hoofdzakken...*, стр. 78; W. Krause, «Zeitschr...», стр. 199; его же, *Westtocharische Grammatik*, Heidelberg, 1952, стр. 111; его же, *Tocharisch...*, стр. 13 и 34.

ниях обоих тохарских языков соответствует различию в окончаниях 1-го лица ед. числа наст. времени актива действ. залога тематических глаголов в балто-славянском: др.-болг. -ж из и.-е. -*ām* (или -*ōm*) и литов. -и. С другой стороны, тохарское окончание А -(а)т идентично особому славянскому окончанию, представленному в др.-болг. -ж < и.-е. -*ām*¹.

3. Тохарский претеритум на -ā в точности соответствует литовскому претериту на -ō, например тохар. В *takāwa* «я был», *takāsta* «ты был», *tāka* (*takā-ne*) «он был», литов. *buvai, buvai, būvo*².

4. Тохарские отглагольные прилагательные на -(ā)l соответствуют славянским действительным причастиям прошедшего времени на -лѣ [ср. тохар. А *kālpāl* «достигающий, достигший», *yāmāl* «делающий, (с)делающий»]. Подобные глагольные формы встречаются еще только в армянском.

5. Для тохарского характерен тип глаголов, образованных при помощи суффикса -w³. Эти образования имеют точные соответствия в славянских языках⁴, ср. тохар. А *pānw-*, В *pānn-(nw > nn)* «тянуть, натягивать» из и.-е. **pn-ǵ-* или **ryn-ǵ-*, и новоболг. *о-пъвам* из и.-е. **pn-ǵ-* или **ryn-ǵ-* наряду с *о-пъна*, др.-болг. *пънѣ*, *пѣти* «натянуть», литов. *pinù, pìnti* «плести»; А *rsu-(rāsw-)*, В *rāss-(ss < sw)* «вырывать, разрывать», ср. новоболг. *раз-рушвам* «разрушать» (от *руша* «рушить») от того же корня и с тем же суффиксом.

6. Для тохарского характерен тип глаголов, образованных при помощи суффикса -tk- и состоящих из форманта -k- и конечного согласного -t- некоторых глаголов⁵. Подобные образования мы встречаем и в славянских языках, ср. новоболг. *святкам* «проблескивать» от *светя* «светить», *свир-кам* «насвистывать» от *свира* «свистеть», *пер-кам* «шлепать» наряду с *пер-на* «шлепнуть, двинуть», *вай-кам се* «жаловаться» от *вай* (междометие, выражающее горе, скорбь, сожаление — «увы»), *ах-кам* «ахать» от *ах*, *ох-кам* «стонать, вздыхать» от *ох*, *цап-кам* «бацнуть» от *цап* «бац» и т. п.

7. В императиве в тохарском используется особый префикс *p(ā)-*, ср. А *pā-klyos*, В *pā-klyauš*, императив 2-го лица ед. числа действ. залога, А *pā-klyossū*, императив 3-го лица ед. числа, *pā-klyošās*, В *pā-klyaušso*, императив 2-го лица мн. числа от А *klyos-*, В *klyaus-* «слушать, слышать» из и.-е. **kleus-*. Этот префикс идентичен балто-славянским префиксам, например литов. *pa-*, слав. *po-*. В славянском этот префикс полностью утратил свое этимологическое значение и употребляется исключительно для образования глаголов совершенного вида. Особенно показательно совпадение тохар. А *klyos-*, В *klyaus-* < и.-е. **kleus* = новоболг. *слушам* < и.-е. **kleus* «слушать» и тохар. А *pā-klyoš*, В *pā-klyauš* = новоболг. *по-слушай*, императив 2-го лица ед. числа соверш. вида < и.-е. **po-kleus*⁶. Ср. также тохар. А *ske-(skāy-)*, В *skai-, škāy-, škai-* «molestiam suscipere, ordinare dare», императив акт. мн. числа *pā-skāyās*, соответствующий др.-инд. *sagh-no-ti* «берет на себя; в силах перенести», др.-болг. *сѣгнѣти*, новоболг. *по-сегна*, *по-сегам* «посягать»; тохар. А *tā-, tās-, tas-*, В *tes-, tās* «ставить, класть», императив акт. А *ptas-*, В *ptes-* из и.-е. **dhē-*, ср. др.-

¹ По мнению В. Куврера, тохарское В-*au* также восходит к -*am* (см. «Bull. de la Société de linguistique de Paris», vol. 39, 1938, стр. 243 и сл.).

² Ср. W. Krause, «Zeitschr...», стр. 199; его же, Tocharisch..., стр. 34.

³ Ср. A. J. Van Winkelen, Morphologie..., стр. 225.

⁴ Ср. др.-болг. *бывати* от *быти*, (по) *крывати* от (по) *крыти*, (о) *мывати* от (о) *мыти*, *покрывати* наряду с (на) *кынѣти*, *набѣвати* от *набѣ(я)ти*, *почивати* от *почити*, *помавати* наряду с (по) *маяти*, *коуповати* от *коупити*, *даровати* от *даръ*, *именовати* от *имѣ* и пр.

⁵ Ср. E. H. Sieg (bearb. von W. Siegling, W. Schultze), Tocharische Grammatik, Göttingen, 1931, стр. 1; A. J. Van Winkelen, Morphologie..., стр. 226 и сл.

⁶ Др.-болг. *слушати* и *послушати*.

болг. *ѡѡ -ми*, *ѡѡ* «ставить, класть», др.-инд. *dādhati* «ставит, кладет», греч. *τίθημι* «ставить, класть».

Таким образом, рассматриваемый префикс первоначально служил в тохарском, так же как и в славянском, для образования перфективных глаголов, а позже сделался постоянным характерным элементом императива¹.

8. Тохарский суффикс, образующий абстрактные (отглагольные) существительные (А *-ne*, *-une*, АВ *-ñe*), имеет точное соответствие в балто-славянском, ср. тохар. А *lānt-une* «царствование» от *lānt* вин. пад. «царь», *ākntsune* «незнание» от *ākñats* «незнающий», А *waçem*, В *waçeñña* «голос, говор» от В *wek-* «говорить», ср. новоболг. *чете-не* «чтение», *пее-не* «пение», *игра-не* «пляска» от *чета*, *пез*, *играя* «читать, петь, плясать»; литов. *-(u)ne* = слав. *-ыня* из и.-е. *-ūnjē*, *-ā²*. Так, например, тохар. А *šāpn-* «сон» действительно восходит к и.-е. **swepno-s*, **swópno-s* или **súrno-s* «сон», однако А *špāt*, В *špane*, *špāne* соответствует, по-видимому, в точности др.-болг. *спаниѡ* > новоболг. *спане* от и.-с. **sup-ā-n(i)ō-m*.

9. Тохарский суффикс А *-ši*, В *-sse* из и.-е. *-skio-* образует (притяжательные) прилагательные и соответствует армянскому суффиксу *-(a)çi* из и.-е. *-askijo-*, балто-славянскому суффиксу (слав. *-(ь)скъ*, литов. *-iškās*) и герм. *-iška-*, ср. тохар. В *pelaiknešše* «законный» из тохар. *pelaikne* «закон», арм. *giwlaçi* «сельский» от *giwl* «село»³.

Ту же функцию имеет также суффикс тохар. А *-em*, В *-ññe*⁴, соответствующий славянскому суффиксу *-ьнъ*, *-инъ*, ср. др.-болг. *господинъ* от *господъ*, *вожводинъ* от *вожвода* и т. п.⁵

10. Как правильно установил Вяч. В. Иванов (см. сб. «Славянская филология», II, М., 1958, стр. 58—63), уменьшительные суффиксы тохар. В *-cke* из и.-с. *-k-iko-* и *-čka* из и.-е. *-k-ikā* в точности соответствуют славянским *-čькъ*, *-č-ikъ* (и.-е. *-k-iko-*) и *-čька*, *-č-ika* (и.-е. *-k-ikā*); ср. тохар. В *soṃcke*, *saṃcke* «сын, сыночек», *sāsūckam* «сынчики», *šerčkā* «сестричка» от *šer* «сестра», личное имя жен. рода *Larička* от *lare* «любовь» и русские *сынчик* (и.-е. **sūni-k-iko-s*), *сестричка* (и.-е. **s(w)esr-ī-k-ikā*), *мал-ьчик*, *стул-ьчик*, личные имена *Вер-очка*, *Сон-ечка* и т. д. А уменьшительный суффикс тохар. А *-āly-* является точным соответствием общепалтийского суффикса уменьшительных форм *-eli-* (литов. *-elis*, *-elė*).

Лексическая общность балто-славянского¹ и тохарского языков

Лексика тохарского языка все еще недостаточно хорошо изучена в этимологическом отношении. Необходимо иметь в виду, что тохарский язык значительно изменился в фонетическом отношении и его звуковые законы все еще не вполне установлены. Вот почему до сих пор лишь ограниченное число тохарских слов имеет бесспорно установленную этимологию. Несмотря на это, в тохарской лексике выделяется ряд слов, имеющих близкие или точные соответствия именно в балто-славянских языках. В приведенном ниже списке даются эти лексические соответствия тохарского и балто-славянского. Здесь собраны как слова, имеющие

¹ Ср. E. Benveniste, «Germanen und Indogermanen», II, стр. 232.

² См. A. J. Van Winkelen, Morphologie..., стр. 81 и сл.; W. Couvenier, Noofdzaken, стр. 84 и сл.; W. Porzig, указ. соч., стр. 183.

³ Ср.: E. Siegel (W. Siegling, W. Schulze), указ. соч., стр. 41 (в тохарском, как и в славянских языках, принадлежность принято выражать посредством производных прилагательных); W. Porzig, там же, стр. 186; M. Groselj, «Sla-vistična revija», letn., VIII, 1—2, prilog — «Linguistica», 1955, стр. 2 и сл.

⁴ Ср. W. Krause, Tocharisch, стр. 19, 34.

⁵ Там же, стр. 34.

точные соответствия лишь в балто-славянском и тохарском, так и слова, которые имеют соответствия и в других индоевропейских языках, но по своему образованию и (или) значению стоят ближе всего к славянским или балтийским словам¹.

A *kārn-*, В *karn-* «бить, истязать»; латыш. *karināt* «беспокоить», греч. *κάρνη*-ζῆμια (Гесихий).

A *kolye* «соха» (?), литов. *kūlšė*, новоболг. *кълка* «бедро».

A *krāntso* «красивый», др.-болг. *краса*, русск. *краса* «красота, украшение», др.-болг. *красънъ* «красивый».

A *krop-*, В *kraup-* «собирать», A *krop-* «куча, кипа (monceau)», литов. *su-si-kraūpti* «мяться», русск. *крупный*.

В *kul-* «колокол» из и.-е. **kil-*; ср. русск. *колокол* из и.-е. **kol-kolo-s* (см. выше).

В *lāks* «рыба», литов. *lāšis*, *lašiša*, латыш. *lasis*, др.-прусс. *lasasso*, русск. *лосось*, ср.-в.-нем. *lahs*, нем. *Lachs* «сёмга, лаверда» из и.-е. **lak's-* (см. ниже).

A *lap* «голова», др.-болг. *лѡбъ* «череп», белорусск. *лоб* «лоб, голова», польск. *łeb* «голова».

A *lip* «оставаться»; ср. др.-болг. *при-лѣпѣти* «прилеплять», литов. *limpū*, *līpti* «оставаться прилепленным», гот. *bileiban*, нем. *bleiben* «оставаться».

AB *lu* «животное, зверь», др.-болг. *ловъ* «охота» (?).

A *lyutan* «loca externa» < и.-е. **leudh-*, новоболг. *людски*, русск. *людской* «чужой» из и.-е. **leudh-isko-*.

A *malke*, В *mālk-wer* «молоко», др.-болг. *млѣко*, нем. *Milch* «молоко».

A *mānt-*, *mānt-* «гневаться, хулить, поносить, обижать», др.-болг. *мѣтѣ*, *мѣсти* «мутить, смущать», итерат. *мѣтити*.

В *meske* «связывание, связь» (др.-инд. *sandhi-*), литов. *mėgsti*, *mezgū* «связывать, плести», *māzgas* «узел», др.-в.-нем., англо-сакс. *māska*, нем. *Masche* «петля, узел». Русск. диал. *мазгарь*, *мизгирь* «паук» (ср. нем. *Spinne* «паук» от *spinnen* «пряхать»), вероятно того же корня².

A *tokats* «могучий, сильный», слав. *могѣцѣ*. Эту этимологию неоправданно отвергает В. Куврёр³.

A *piāt* «больной», др.-болг. *оу-ны-ти* «унывать», чеш. *pý-ti* «чахнуть», др.-болг. *оу-навити*, чеш. *u-navi-ti* «утомлять», литов. *pūvyti* «мучить, убивать», *novė* «притеснение, мука, смерть».

AB *pāl-*, *pāl-* «хвалить, славить», литов. *bylā* «разговор», *baĩsas* «голос, звук, шум», др.-прусс. *billit* «говорить»⁴.

A *pāw-*, В *pāw-*, *pāw-* «тянуть, натягивать»: др.-болг. *пѣнѣ*, *пѣти* «натягивать», литов. *pinti* «плести» (см. выше).

AB *pārs-*, *pras-* «прыскать, кропить, окроплять», ср. новоболг. *пръс-кам* «прыскать».

A *pratim*, В *pratim* «решение», литов. *su-prāsti* «понимать», *prōtas* «разум», др.-прусс. *prātin* вин. пад., «совет», гот. *fraþi* «мысль, разум», *fraþjan* «понимать».

A *pratsak* «грудь», В *pratsāk*, др.-болг. *прѣси* «грудь» из и.-е. **pṛk-* (?)⁵.

В *preçiciye* «тина, грязь», литов. *brendū*, *bristi* «переходить вброд», *bradà*, *birdà* «тина», русск. *брести*, новоболг., русск. *брод*⁶.

A *rake*, В *reki* «слово, речь» = др.-болг. *рѣчь* из и.-е. **rēk^(u) i-s*.

A *rāp-*, *rāp-*, В *rap-*, *rāp-* «долбить, копать (creuser)», литов. *ūrbinti*, *uṛbti* «пробивать», *ruōbti* «выдавливать» от и.-е. корня **(e)reb-*.

A *ritw* «быть связанным», латыш. *riedu* «приводить в порядок», гот. *ga-raiþs* «приведенный в порядок, определенный» (?).

A *rsu-*, В *räss-* «вырывать, разрывать, крушить» из и.-е. **rus-ū-*, **rous-ū-*, **reus-ū-*, др.-болг. *рушити* «разрушать», новоболг. *руша* из и.-е. **rous-*, новоболг. *раз-руш-вал* из и.-е. **rous-(iā)u-*.

A *se-* «inaiti» из и.-е. **sēi-*, др.-болг. *си-ла*(?).

¹ Большинство из следующих сравнений даны в кн.: A. J. Van Windekens, *Lexique...*; P. Poucha, указ соч.

² W. Couvreur, «Archiv orientální», vol. XVIII, № 1—2, 1950, стр. 127.

³ W. Couvreur, «Revue belge de philologie et d'histoire», XXIII, 1944, стр. 233 и сл.

⁴ Ср. E. Benveniste, там же, стр. 236.

⁵ Иначе у A. J. Van Windekens, *Lexique...*, стр. 99; соотносительно с др.-ирл. *bruinne* «грудь» из и.-е. **bhrondio-*.

⁶ Ср. E. Benveniste, там же, стр. 236; G. S. Lane, «Language», vol. 14, 1948, стр. 25.

A *svarp*, *sparp* «веревка» из и.-е. **(s)uḡu-*, литов. *virvė*, др.-прус. *wirbe* «веревка», др.-болг. *вьрьъ* «веревка» из и.-е. **uḡu(i)-*; *s-* в *s-svarp* та же приставка, что и в болг. *с-въръзам*; *v* — *p* путем диссимиляции от *v* — *v*, как в др.-прус. *wirbe*.

A *stow*, *stop* «палка», литов. *stiebas* «палка, столб, мачта», латыш. *stabs* «колонна, столб», русск. *стебать* «бить палкой», нем. *Stab* «палка» (?).

A *tarp* «болото, озеро, рыбный садок (*stagnum*, *lacus*, *piscina*)» = др.-болг. *тѣрѣъ* из и.-е. **torpo-s*, литов. *tārŕas* «промежуток»¹.

AB *tsok-*, *tsuk-*, В *tsauk* «пить», новоболг. *цокам*, *цукам* «лакать, сосать».

A *walke* «долго», др.-болг. *великъъ* «великий».

В *warto*, *wårto* «сад, дубрава», серб.-церк.-слав. *вьрътъ* «сад».

A *wrātk-* «кипеть, варить», литов. *vėrdu*, *virti* «кипеть», др.-болг. *вьръѣжъ*, *вьръѣти* «кипеть», *варити* «варить».

A *wrauiņa* «ворона» = литов. *vārna*, др.-болг. *врана*².

A *wrok* «бисер», В *warke* «гирлянда», латыш. *wērli* «ожерелье», *wērtuwe* «бисер», др.-болг. *верига*.

A *wsoĥ*, В *wās(a)mo* «веселый, радостный, дружеский» из и.-е. **uēs(u)-*, др.-болг. *весельъ*.

В *yēsāñ* «ясный, очевидный», др.-болг. *ясньъ*, новоболг. *ясен*, русск. *ясный*.

Некоторые из приведенных выше соответствий в балто-славянском и тохарском генетически идентичны и встречаются лишь в этих языках, например:

A *lap-*; польск. *łeb* «голова»;

A *malke*; др.-болг. *млѣко* «молоко»;

A *rake*, В *reki-*; др.-болг. *рѣчь* «речь»;

A *rsu-*, В *räss-*; новоболг. (*раз*)-*руш-вам* «разрушать»;

A *svarp-*, *sparp-*; др.-болг. *вьрьъ* «веревка»;

A *tarp-* «болото, озеро, рыбный садок»; др.-болг. *тѣрѣъ*;

A *walke* «долго (-с время)»; др.-болг. *великъъ* «великий»;

В *warto*, *wårto* «сад, дубрава»; серб.-церк.-слав. *вьрътъ* «сад»;

A *wrauiņa-*; литов. *vārna*, др.-болг. *врана* «ворона»;

В *yēsān-*; др.-болг. *ясньъ* «ясный».

Особенно важно сравнение В *lāks-* «рыба», литов. *lāšis*, латыш. *la-sis*, др.-прус. *lasasso*, русск. *лосось*, др.-в.-нем. *lahs*, нем. *Lachs* «сёмга, лакерда» из и.-е. **lak's-*. Сёмга (*Salmo salar*) водится лишь в реках, протекающих через северные области Средней и Восточной Европы и вливающих в Балтийское и Северное моря. Самое обстоятельство, что это слово встречается в германском, балто-славянском и тохарском, особенно важно: оно явно свидетельствует о том, что прародина упомянутых языков находилась в Северо-Восточной Европе.

Кроме этих соответствий, в балто-славянском и тохарском встречается еще множество других генетически идентичных слов, имеющих соответствия и в других индоевропейских языках. При наличии приведенных выше сравнений эти общие для балто-славянского и тохарского языков слова можно считать лишним доказательством тесного родства этих двух языковых групп. Таковы, например:

В *alāsk-* «быть больным, болеть», литов. *alsá* «усталость»³.

A *ciñcār*, *cāñcar*, В *señs-* «сладкий, приятный, хороший» из и.-е. **k'uenk^u-*, литов. *švānka* «подходящий», греч. *χομός* «красивый».

A *čam*, В *čana* = др.-болг. *жена*, др.-прус. *genno* (см. выше).

A *čwātsi* инф. «есть» = серб.-церк.-слав. *жъвати*, русск. *жевать* инф. (см. выше).

A *kam*, В *keme* «зуб» из и.-е. **g'ombho-s*, слав. *зѣбъ*, алб. *dhāmp*, макед. *кѡмѡуѡс*. *ὀδόντας* *χομόφιους* и в других языках, но с несколько иным значением.

В *kor* «горло», слав. *грьло*, литов. *gurklė*, арм. *kokord* «горло».

A *māsk* «aberrare, deerrare», русск. *маять*, литов. *mōti*, *mōju* «кивать», др.-русс. (др.-болг.) *манити* «обманывать».

В *parwe-(sse)* «первый» из и.-е. **pr̥wēyo-*, др.-болг. *прѣвъ*, алб. *parë*, др.-инд. *pūrva-*, авест. *paūrva-* из и.-е. **pr̥wēyo-*.

A *pik-*, *pek-* «pingo, scribo» = др.-болг. *пишѣжъ*, *писати*, иран. *pis-* «писать».

¹ Иначе А. J. Van Windekens, *Lexique...*, стр. 136.

² Ср. W. Krause, *«Zeitschr.»*, стр. 199.

³ Ср. W. Couvreur, *«Archiv orientální»*, XVIII, № 1—2, 1950, стр. 126.

А *sark* «болезнь», литов. *sèrgu*, *sĩrkĩ* «быть больным, болеть», ср.-прл. *sarg* «болезнь»¹.

В *twere* «дверь» = др.-болг. *двьрь* «дверь».

А *wās*, В *yasā*, *ysā* «золото», литов. *auksas*, др.-литов. *áusas*, др.-прус. *ausis*, лат. *aurum* «золото».

А *yāl*, *yem* «гавелла»: литов. *ėlnis*, др.-болг. *ѣлень* «олень» и много других.

Заключение

В балто-славянском и тохарском выявляется ряд характерных фонетических, морфологических, словообразовательных и лексических общностей, ясно показывающих, что тохарский язык является близко родственным балто-славянскому.

Основываясь на ряде соображений, в частности на том факте, что в тохарском можно различить известный финно-угорский субстрат, В. Краузе пришел к выводу, что прародиной тохарцев была область, расположенная приблизительно между Днепром и Уралом, в непосредственном соседстве с финно-уграми².

В другой своей работе мы уже указывали на теснейшую связь, существующую между балто-славянским и германским³.

На основании всех рассмотренных данных можно утверждать, что в довольно отдаленную эпоху предки германцев, балто-славян и тохарцев образовали особую северную индоевропейскую диалектную группу, довольно рано выделившуюся из индоевропейского праязыка и позже (вероятно, в IV или IV/III тысячелетии до нашей эры) распавшуюся на германский, балто-славянский и тохарский языки.

Итак, балто-славянский граничил со следующими близкими к нему языками, объединявшимися ранее в одну диалектную группу: с германским с запада и тохарским с востока. К этой диалектной группе следует причислить, по всей вероятности, и дако-мизийский, граничивший с балто-славянским с южной стороны. Позднее, когда предки тохарцев переселились далеко на восток и когда балто-славянская общность распалась, славянский язык распространился на юго-восток и вошел в продолжительное общение с иранским.

¹ Ср. E. Benveniste, там же, стр. 236.

² Ср. W. Krause, «Zeitschrift...», стр. 200.

³ См. нашу статью «Балто-славянский, германский и индо-иранский», посвященную IV Международному съезду славистов, в сб. «Славянская филология», I, М., 1958.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. КРЕЙНОВИЧ

ОБ ИНКОРПОРИРОВАНИИ В НИВХСКОМ ЯЗЫКЕ

Инкорпорирование относится к числу мало исследованных языковых явлений. Одни языковеды рассматривают его в плане морфологическом, другие — в плане синтаксическом, третьи отрицают его наличие.

Инкорпорирование как особое языковое явление свойственно языкам некоторых народов, населяющих Северную и Центральную Америку. Особенно ярко оно выражено в ирокезском языке. Инкорпорирование было обнаружено также и в палеоазиатских языках: чукотском, корякском и нивхском¹.

Инкорпорирование, в нашем понимании, представляет собой особое развитие словосложения, своеобразие которого состоит в следующем. Языкам, в которых развито инкорпорирование, кроме обычного для индоевропейских языков сложения различных определительных компонентов с определяемым именем существительным, свойственно также сложение слова, обозначающего прямой объект действия, с переходным глаголом. По мнению Ф. Боаса, включение именного или местоименного обозначения объекта в глагольное высказывание составляет характерную особенность инкорпорирования². При образовании инкорпорированных словокомплексов известные разряды слов опускают свои морфологические показатели, другие же группы слов претерпевают фонетические изменения. По своей структуре словокомплексы не всегда совпадают со сложными словами — компоненты, образующие словокомплексы, подвижны, компоненты же, образующие сложные слова, неподвижны. Примечательная особенность инкорпорирования состоит еще в том, что оно используется в некоторых языках в качестве синтаксического средства. Эта особенность очень отчетливо выражена в нивхском языке.

Словосложение в нивхском языке является одним из древних способов образования новых слов. Однако своеобразие сложения слов в нивхском

¹ Поскольку в последнее время стали высказываться мнения о том, что инкорпорирование в палеоазиатских языках не существует, Ученый совет Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР организовал диспут об инкорпорировании в этих языках; к участию в нем были привлечены также сотрудники ЛГУ (С. Е. Яхонтов), ЛГПИ им. А. И. Герцена (Е. П. Лебедева, Т. А. Молл, В. Н. Савельева) и Института этнографии АН СССР (Ю. В. Кнорозов). 18 апреля и 9 мая сего года на расширенных заседаниях Ученого совета Института языкознания были заслушаны доклады Е. А. Крейновича и В. З. Панфилова об инкорпорировании в нивхском языке; с докладом об инкорпорировании в чукотском языке выступил П. Я. Скорик; первый и последний докладчики доказывали наличие инкорпорирования, второй отрицал его, отождествляя инкорпорирование с примыканием.

Доклады вызвали оживленные прения. Некоторые из участников диспута высказали мнение, что так называемые инкорпорированные комплексы соответствуют устойчивым сложным словам, в связи с чем нет надобности в сохранении и употреблении термина «инкорпорирование». Большинство же выступавших в той или иной степени соглашались с тем, что инкорпорирование можно рассматривать как языковое явление, не сводимое полностью ни к словосложению, ни к словосочетанию.

² F. Boas, Handbook of American Indian languages, pt. 1, Washington, 1911, стр. 74.

языке заключается не в том, что путем сложения образуются новые слова, но в том, что при помощи его главным образом передаются некоторые синтаксические отношения. Своеобразие порядка слов в нивхском языке состоит в том, что прямое дополнение и определение, стоящие непосредственно перед своими сказуемыми и определением (такой порядок слов является обычным для нивхского языка), соединяются друг с другом в словокомплексы: прямое дополнение соединяется со сказуемым в глагольный словокомплекс¹, а определение с определяемым словом — в именной словокомплекс. Указанный способ выражения объектных и атрибутивных отношений является основным.

О случаях образования свободного сочетания прямого дополнения с переходным глаголом и определения с определяемым словом будет сказано ниже.

*

Переходим к краткому описанию глагольного словокомплекса.

Стержнем глагольного словокомплекса является переходный глагол, с которым соединяется непосредственно стоящее перед ним прямое дополнение, выраженное именем существительным, местоимением, числительным или именем действия².

Переходные глаголы нивхского языка разделяются нами на две группы: группу глаголов, имеющих местоименные показатели объекта, и группу глаголов, не имеющих таких показателей. Вторая группа, вероятно, является результатом более позднего развития³.

Приступая к краткому обзору словокомплексов, образованных при участии переходных глаголов с местоименными показателями объекта, обратим внимание прежде всего на фонетические изменения местоимения 3-го лица ед. числа *иѳ* «он»⁴. По своему составу это местоимение сложное. К именам существительным с начальным согласным присоединяется лишь первый компонент этого местоимения *и*, а к существительным с начальным гласным — второй компонент *ѳ*: *идыѳ* «его дом» (*тыѳ* «дом»), *вымык* «его мать» (*ымык* «мать»). При склонении местоимения *иѳ* первый компонент местоимения *и* под влиянием окончания дательного-направительного падежа чередуется с *э* (*эрх* «к нему»), а под влиянием окончания местного падежа переходит в *ј* (*јујн* «у него»). Таким образом, определяются три фонетических варианта первого компонента анализируемого местоимения — *ј*, *и*, *э*. Указанные варианты встречаются в составе целого ряда переходных глаголов в качестве местоименных префиксов⁵.

¹ Об этом слиянии в свое время писал еще Л. Я. Штернберг (L. Sternberg, Bemerkungen über die Beziehungen zwischen der Morphologie der giljakischen und amerikanischen Sprachen, «Internationaler Amerikanisten-Kongress. 14-te Tagung, Stuttgart, 1904», 1-е Hälfte, 1906). Термин «словокомплекс» в отношении результата подобного слияния мы употребляем условно.

² Образование имени действия от глаголов происходит не морфологическим, а синтаксическим путем: *Выксин прыд'* «Выксин пришел», *н'и Выксин-прыд'нишд'* «я приход (прихождение) Выксина видел».

³ См. об этом также: R. Jakobson, Notes on Gilyak, «The bull. of the Institute of history and philology [of the Academia sinica]», vol. XXIX, 1958. С работой Р. Якобсона автор имел возможность ознакомиться только после того, как настоящая статья была в наборе.

⁴ В основу настоящей статьи положены материалы амурского диалекта нивхского языка. Условные обозначения: (а. д.) — амурский диалект, (с. д.) — сахалинский диалект. Знаками *q*, *χ*, *ɕ*, *ʃ* обозначается увулярный ряд согласных; знаком *ш* — глухой *p(p)*; знаком *h* — фарингальный щелевой; *j* — среднеязычный сонант; знаками *m'*, *ɖ'*, *n'* — среднеязычные согласные; знаками *n'*, *m'*, *ɕ'*, *k'*, *q'* — придыхательные согласные.

⁵ Л. Я. Штернберг, впервые отметивший эти префиксы, называл их плеонастическими местоимениями (см. Л. Я. Штернберг, Образцы материалов по изучению гилияцкого языка и фольклора, собранных на острове Сахалине и в низовьях Амура, «Известия Имп. Академии наук», Serie V, т. XIII, № 4, 1900, стр. 417—418).

Местоименные префиксы *j*, *и*, *э* при переходных глаголах выражают неопределенное обобщенное представление об объекте, на который направлено данное действие. Когда в предложение вводится наименование определенного конкретного объекта, надобность в местоименном показателе его отпадает, и показатель уступает свое место конкретному обозначению объекта — имени существительному, которое соединяется с переходным глаголом¹.

При соединении прямого дополнения с переходным глаголом в последнем происходят следующие изменения:

1. Префикс *j* опускается: *н'и jард'* «я кормил», *н'и qан-ард'* «я собаку кормил» (*qан* «собака»)².

2. Префикс *j* чередуется с *h*: *н'и jэд'* «я варил», *н'и ч'о-хэд'* «я рыбу варил» (*ч'о* «рыба»).

3. Префикс *и* опускается, а следующий за ним согласный может подвергаться чередованиям: *н'и ирлыд'* «я тянул», *н'и к'э-шлыд'* «я невод тянул» (*к'э* «невод»); *н'и индыд'* «я увидел (нашел)», *н'и т'адо-ншыд'* «я нож нашел» (*т'адо* «нож»).

4. Префикс *и* опускается, в корневой основе восстанавливается исторически существовавший в ней гласный *у*, а согласный, следующий за префиксом, подвергается чередованиям: *н'и иүд'* «я убил», *н'и ч'о-хүд'* «я рыбу убил», *н'и qан-к'үд'*³ «я собаку убил»; *н'и ифкт'* «я запряг», *н'и qан-бүкт'* «я собаку запряг».

5. Префикс *и* опускается, в корневой основе восстанавливается гласный *и* (возможно, что здесь имеет место метатезис), а согласный, следующий за префиксом, может подвергаться чередованиям: *н'и ин'д'* «я ел», *н'и ч'о-н'ид'* «я рыбу ел»; *н'и изд'* «я освеживал», *н'и qан-ч'ид'* «я собаку освеживал».

6. Префикс *э* опускается, а следующий за ним согласный может подвергаться чередованиям: *н'и энад'* «я мазал», *н'и ки-хнад'* «я обувь смазал» (например, жиром; *ки* «обувь»); *н'и мэут'у-к'над'* «я ружье смазал» (*мэут'у* «ружье»).

7. Префикс *э* опускается, в корневой основе восстанавливается гласный *о*, а согласный, следующий за префиксом, может подвергаться чередованиям: *н'и эвд'* «я держал», *н'и т'адо-вод'* «я нож держал», *н'и тух-под'* «я топор держал» (*тух* «топор»), *н'и qан-бод'* «я собаку держал (поймал)».

¹ В мексиканском (ацтекском) языке местоименный показатель объекта и объект, выраженный именем существительным, также замещают друг друга в глагольном комплексе: *нитлаqua* «я ем нечто», *нинакаqua* «я ем мясо» (*ни* — префикс 1-го лица ед. числа, *тла* — местоименный показатель объекта, *накатл* «мясо», *qua* — основа переходного глагола «есть»); см. В. фон-Гумбольдт, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во всеобщее языкознание, СПб., 1859, стр. 157—158.

² Сливающиеся компоненты словокомплекса разделяются нами дефисом.

³ Глаголу *иүд'* «убить» амурского диалекта соответствует *изд* в сахалинском диалекте, чем объясняется восстановление глухого щелевого *x* в основе глагола при сплинии с ним прямого дополнения. Одна из фонетических закономерностей развития амурского диалекта состоит в том, что в середине слов глухие щелевые *ф*, *с*, *ш*, *х* сахалинского диалекта в амурском перешли в звонкие *в*, *з*, *р*, *г*, *б*: *офан* (с. д.) — *ова* (а. д.) «мука», *хасан* (с. д.) — *хаза* (а. д.) «ножницы», *jишд* (с. д.) — *jард'* (а. д.) «кормить», *ухмуд* (с. д.) — *уүмуд'* (а. д.) «воевать», *эхан* (с. д.) — *эва* (а. д.) «корова». Эта закономерность позволяет понять причину восстановления глухих смычных звуков в глагольных основах амурского диалекта. В дальнейшем в некоторых говорах амурского диалекта началось выпадение звонких щелевых *г* и *б*, вследствие чего предшествующий им гласный стал долгим: *аБс*, *ас* «разновидность лопуха» (ср. *ас* «обод бубна»), *оБр*, *бр* «кишечник лососевых рыб» (ср. *ор* «пола») и др. Возникшее вследствие этого смысловозначительное противопоставление вновь образовавшихся долгих гласных нормальным гласным свидетельствует, по-видимому, о начале формирования новой фонологической категории долгих гласных в амурском диалекте нивхского языка.

8. Префикс *э* опускается, а в корневой основе восстанавливается гласный *о*, согласный же, следующий за префиксом, может подвергаться чередованиям: *эмуд'* «любить, радоваться», *н'и ч'о-сmod'* «я рыбу люблю», *н'и т'ус-ч'mod'* «я люблю мясо».

9. Префикс *э* опускается, в корневой основе восстанавливается гласный *э* (возможно, что здесь имеет место метатезис), а согласный, следующий за префиксом, может подвергаться чередованиям: *н'и эспт'* «я уколол», *н'и ч'о-сэвд'* «я рыбу уколол (острогой)», *н'и ланр-ч'эвд'* «я нерпу уколол» (*ланр* «нерпа»).

10. Префикс *э* опускается, гласный *и* в корневой основе глагола чередуется с *э*, а согласный, следующий за префиксом, в свою очередь подвергается чередованиям: *н'аВр эВрид'* «крыса грызла», *н'аВр ма-хрэд'* «крыса юколу грызла» (*ма* «юкола, пласты вяленой рыбы»), *н'аВр нын'-ф-г'рэд'* «крыса кость грызла» (*нын'-ф* «кость»).

Приведенные факты дают основание предполагать наличие системы слияния прямых дополнений с переходными глаголами в нивхском языке.

Во всех указанных случаях прямое дополнение замещает местоименный префикс и соединяется с основой глагола. Но если каждый переходный глагол с местоименным префиксом (например, *јард'* «кормить») представляет собой законченное слово, то, следовательно, в результате соединения прямого дополнения с основой глагола также должно получиться своеобразное сложное слово, поскольку и здесь второй компонент (например, *-ард'* «кормить») не существует как отдельное законченное слово без первого компонента, который может быть или самостоятельным словом (например, *дан* «собака»), или местоименным префиксом¹. Такие своеобразные сложения основ имен существительных (внешне совпадающих с отдельными законченными словами) и основ переходных глаголов (часто не совпадающих в этом случае с отдельными законченными словами) мы условно называем словокомплексами.

Лексикализация словокомплексов, образованных путем соединения прямого дополнения с переходным глаголом, представляет собой очень редкое явление. В качестве примера подобной лексикализации можно привести сложное слово *кинзнышд'* «болеть туберкулезом легких». Первый компонент этого сложного слова совпадает с отдельным законченным словом *кинс* «злой дух», «черт», а второй образован от переходного глагола *индыд'* «увидеть», «найти». Дословное значение *кинзнышд'* «увидеть злого духа».

Внешне это сложное слово ничем не отличается от словокомплекса *даннышд'* (*дан-нышд'*) «увидеть собаку». Однако его первый компонент не может быть заменен без полного разрушения значения этого сложного слова. В словокомплексах же первый компонент может быть заменен любым словом без разрушения значения, выражаемого его вторым компонентом *-нышд'* (*индыд'* «увидеть», «найти»): *г'отр-нышд'* «увидеть медведя» (*г'отр* «медведь»), *к'эq-нышд'* «увидеть лису» (*к'эq* «лиса»), *хыјк-нышд'* «увидеть зайца» (*хыјк* «заяц») и т. д.

Если компоненты сложных слов монолитны и неподвижны, то компоненты глагольного словокомплекса подвижны и могут быть распростра-

¹ В корякском языке, в отличие от нивхского, большинство имен существительных при слиянии с переходным глаголом опускают свои окончания и подчиняются гармонии гласных. Так, от *Вэуланн* «волк» и корневой основы переходного глагола *лВу* «видеть (кого-либо, что-либо)» могут быть, например, образованы такие словокомплексы: *ВишлВуј* «(он) видел волка» (*Вэу > Виу > Виш* — корневая основа слова *Вэуланн* «волк», *ј* — окончание 3-го лица ед. числа); *куВишлВун* «(он) видит волка» (*ку-...-н* — форма настоящего времени); *ЈэВишлВун* «он увидит волка» (*јэ-...-н* — форма будущего времени). Компоненты глагольных словокомплексов в корякском языке сливаются прочнее, чем в нивхском языке. (Примеры по корякскому языку приводятся из материалов, собранных автором. Знаком *к* обозначен верхний звонкий фарингальный щелевой.)

нены другими словами и морфологическими показателями, например: *н'и индыд'* «я увидел», *н'и дан-ншыд'* «я собаку увидел» (*дан* «собака»), *н'и дан-н'ын'-ншыд'* «я одну собаку увидел» (*н'ын'* «один»), *н'и дангу-ншыд'* «я собак увидел» (*гу* — окончание мн. числа), *н'и дан-н'ын'-барк-ншыд'* «я только одну собаку увидел» и т. д.

Если можно говорить о совпадении структуры простых глагольных словокомплексов и единичных сложных слов, образованных сложением имени и глагола, то о совпадении сложных глагольных словокомплексов, в состав которых входит прямое дополнение, распространенное другими знаменательными компонентами и аффиксами, и сложных слов не может быть и речи. Следовательно, словокомплексы и сложные слова в нивхском языке не могут быть отождествлены полностью.

Рассматривая переходные глаголы с местоименными префиксами, можно заметить, во-первых, что в преобладающем большинстве случаев префикс предшествует корневой основе с двумя начальными согласными и, во-вторых, что согласный, следующий за префиксом *и* или *э*, является щелевым. Изучая процесс образования переходных глаголов, можно увидеть, что от корневой основы, начинающейся двумя согласными, переходный глагол образуется посредством местоименного префикса *и* или *э*: *пхынд* (с. д.) «возвращаться» — *ивгыунд* (с. д.) «повернуть назад нарту с запряженными в нее собаками», *пхагнд* (с. д.), *пхагт'* (а. д.) «короткий» — *эвВагунд* (с. д.), *эмВагуд'* (а. д.) «укоротить». В тех же случаях, когда в корневой основе имеется один глухой смычный согласный, он чередуется со щелевым: *пилд'* «большой» — *вилуд'* «увеличить».

Примечательно, что все переходные глаголы без местоименных префиксов начинаются в нивхском языке с щелевых согласных: *в*, *з*, *р*, *γ*, *В*, *ф*, *с*, *ш*, *х*, *χ*. Объяснить это явление трудно, но можно предположить, что перед этими глаголами также был местоименный префикс, который был затем утрачен. Сохранился же он только при переходных глаголах, основы которых обычно начинаются с двух согласных. При глаголах же, основы которых начинаются с одного согласного (*и γд'* «убить», *эвд'* «держать», *изд'* «свежевать» и др.), местоименный префикс сохранился, возможно, потому, что эти глаголы утратили корневой гласный, восстанавливающийся при присоединении прямого дополнения¹.

Утрата глаголами местоименных показателей объекта создала известные условия для разрушения инкорпорирования². Тем не менее фонетические процессы, происходящие на стыке прямого дополнения с переходным глаголом, свидетельствуют о соединении их в словокомплекс. Так, когда с переходными глаголами без местоименных префиксов соединяются прямые дополнения, начальные щелевые этих глаголов чередуются так же, как чередуются щелевые, следующие за местоименными префиксами, в чем, несомненно, проявляется действие одной и той же системы соединения прямого дополнения с переходным глаголом в словокомплекс.

Так как закономерности этих чередований уже изложены³, приведем здесь только несколько примеров, доказывающих фонологический характер этих чередований: *ан зад'*? «кто бил?», *н'оУла зад'*? «мой ребенок бил?» — *иф ан -д'ад'*? «он кого бил?», *иф н'оУла-д'ад'* «он моего ребенка бил»; *нивх волуд'* «человек свалил» — *нивх нивγ-болуд'* «человек человека свалил»; *н'и хад'* «я стрелял» — *н'и эВа-q'ад'* «я в корову стрелял» (*эВа* «корова»), *н'и на-хад'* «я в зверя стрелял» (*на* «зверь»).

¹ Это предположение подтверждается тем фактом, что в говоре селения Чайво на Сахалине глаголу *иγд'* «убить» амурского диалекта соответствует глагол *иγуд* «убить».

² Возможно, что в отдаленном прошлом в нивхском языке переходный глагол как отдельное слово не мог быть выражен без местоименного показателя объекта.

³ См. Е. А. Крейнович, Фонетика нивхского (гиляцкого) языка, М.—Л., 1937, гл. III.

Примеры показывают, что слово, стоящее в позиции подлежащего, не вызывает изменения начального согласного глагола. Будучи же передвинутым в позицию прямого дополнения, это же самое слово может вызвать чередование начального согласного глагола. Это обстоятельство является убедительнейшим доказательством слияния прямого дополнения с переходным глаголом, не имеющим местоименного показателя объекта. Если бы здесь не было слияния, то не было бы и чередования.

В конце приведены два прямых дополнения, оканчивающиеся на *а*: *эуа* «корова» и *на* «зверь». Однако в первом случае присоединение *а* вызвало чередование начального согласного глагола, а во втором случае чередования не произошло. Это различие объясняется тем, что слово *эуа* некогда оканчивалось на *н* (ср. *эхан* «корова» в сахалинском диалекте) и поэтому здесь сохранилось историческое чередование. Этот факт также показывает, что прямое дополнение в нивхском языке действительно соединяется с переходным глаголом в словокомплекс. При этом соединение не обязательно должно сопровождаться чередованием. Поясним это следующими примерами. Присоединяясь к основе с конечным гласным, аффикс, начинающийся со смычного звука, обычно изменяет в возникающем интервокальном положении свой смычный на щелевой; в соответствии с этим фонетическим правилом нивхского языка в переходных глаголах после местоименных префиксов *и*, *э* также следует щелевой согласный: *иχд'* «убить», *эвд'* «держать» и т. д. Следовательно, можно предположить, что в предложении *н'и на-χад'* «я стрелял в зверя» имеет место такое же соединение прямого дополнения с глаголом, как и в предложении *н'и на-хуδ'* «я убил зверя». Только во втором случае это соединение связано с тем, что имя существительное заместило префикс *и* (ср.: *н'и иχд'* «я убил»), а в первом примере слово *на* «зверь» не заместило префикса, но в обоих случаях после гласного следует щелевой.

Соединение прямого дополнения с переходным глаголом в нивхском языке доказывается еще следующим фактом.

Местоименные префиксы *ј*, *и*, *э* могут быть замещены в нивхском глаголе префиксами *е*, *у*, *о*, но в этом случае глаголами выражается уже значение не действительного залога, а залога совместного действия: *јорд'* «встретить (кого-либо)», *ворд'* «встретить друг друга», *индыд'* «увидеть (кого-либо)», *ундыд'* «увидеть друг друга», *эзмуд'* «любить (кого-либо)», *озмуд'* «любить друг друга» и т. д.

Примечательно, что между префиксом возвратного залога *у* и основой глагола, как в своеобразную морфологическую рамку, может быть включено прямое дополнение: *оулагу у-дымк-рымк-вот лэрд'* «дети играют, взяв друг друга за руки» (*оула* «ребенок», *гу* — суффикс множественного числа, *у* — префикс, *-тымк/-дымк/-рымк* «кисть руки», *эвд'/-во* «держать», *т* — окончание деепричастия, *лэрд'* «играть»).

Таким образом, все вышеприведенные факты доказывают, что инкорпорирование, т. е. соединение прямого дополнения с переходным глаголом в нивхском языке в один словокомплекс, есть реальное явление.

Теперь уместно поставить вопрос: существует ли в нивхском языке прямое дополнение как член предложения? Если подходить к нивхскому языку с нормами синтаксиса индоевропейских языков, то на этот вопрос надо ответить отрицательно, что и сделал в свое время И. И. Мещанинов¹. Однако мы воздерживаемся от такого заключения, так как в определенных условиях прямое дополнение в нивхском языке может выступать и в качестве самостоятельного члена предложения.

Прямой объект действия в нивхском языке выступает в качестве самостоятельного члена предложения в трех случаях: 1) когда с переходным

¹ И. И. Мещанинов, Общее языкознание, Л., 1940, стр. 86.

глаголом соединяется название косвенного объекта действия; 2) когда к одному переходному глаголу относится несколько однородных прямых дополнений; 3) когда прямое дополнение усиленно подчеркивается.

Рассмотрим эти случаи.

В нивхском языке есть группа переходных глаголов, инкорпорирующая такой объект действия, который в грамматике русского языка рассматривается как косвенный, но в грамматике нивхского языка должен рассматриваться, по-видимому, как прямой. Примеры: *ишпт'* «сидеть», *н'и т'ифт'-шид'* «я на скамье сидел» (*т'ифт'* «скамья», «табурет»); *ирмыд'* «переходить через гору», *н'и пал-шмыд'* «я перешел через гору» (*пал* «гора»); *йылмд'* «перешагнуть», *н'и ныт'γ-ылмд'* «я перешагнул через ногу» (*ныт'х* «нога»).

Если же по своей семантике аналогичный переходный глагол управляет не только косвенным (с точки зрения русского синтаксиса), но и прямым дополнением, то косвенное дополнение сливается с глаголом, а прямое дополнение выступает в качестве отдельного члена предложения: *эүрод'* «повесить на что-либо», *н'и эүрод'* «я повесил», *н'и тақи-хрод'* «я на вешалку повесил» (*тақи* «вешалка»); *н'и хухт хурхрод'* «я халат там повесил» (слово *хухт* «халат маньчжурского покроя» выделено в этом предложении в качестве отдельного члена предложения; *хур* «там», «тут» — наречное местоимение, которое во втором предложении заменило предметное имя существительное *тақи* «вешалка», это наречное местоимение обычно выполняет функцию, сходную с функцией местоименных показателей объекта *j*, *и*, *э*: первое указывает на место действия, известное уже из контекста, а последние — на прямой объект действия).

Рассмотрим еще один пример, где в роли косвенного дополнения (с точки зрения русского синтаксиса) выступает не место, а лицо, в отношении которого косвенно направлено действие: *имүд'* «дать кому-либо», *н'и имүд'* «я дал», *н'и п'ыкын-к'имд'* «я своему старшему брату дал» (*н'и* «себя», *ыкын* «старший брат»), *н'и т'адо п'ыкын-к'имд'* «я дал нож своему старшему брату». В этом примере слово *т'адо* «нож» представляет собой прямое дополнение — отдельный член предложения. В случае же, когда надо указать, что лицу даны два единичных разнородных предмета, название каждого из этих предметов оформляется раздельно-соединительным окончанием *кэ ~ үэ ~ гэ ~ хэ*¹: *н'и т'адоүэ тухкэ п'ыкын-к'имд'* «я нож и топор дал своему старшему брату» (*тух* «топор»). Если же нужно указать, что лицу даны разнородные единичные предметы в количестве более двух, то каждое название предмета оформляется окончанием *һара*: *н'и т'адоһара, тухһара, мэут'уһара п'ыкын-к'имд'* «я нож, топор и ружье дал своему старшему брату» (*мэут'у* «ружье»). Когда же указывается, что лицу было дано не по одному предмету, а большее количество однородных предметов, то к их обозначениям присоединяется соединительное окончание *ко ~ үо ~ го ~ хо*: *н'и туужо мэут'уго п'ыкын-к'имд'* «я дал старшему брату топоры и ружья». Имя существительное, оформленное этим раздельно-соединительным окончанием, также может соединяться с переходным глаголом: *н'и индыд'* «я увидел», «нашел», *н'и тух-ныдыд'* «я нашел топор», *н'и т'адоүэ тухкэ-ныдыд'* «я нашел нож и топор». Так как корневая основа глагола *-ныдыд'* «увидеть», «находить» не употребляется в нивхском языке в качестве отдельного слова, то помещение между именем существительным и основой глагола окончания

¹ Посредством этого окончания образуется также форма совместности двойственного числа: *н'и п'ыкынүэ* «я со своим старшим братом». Форма повелительно-пожелательного наклонения двойственного числа образуется посредством суффикса *ныта*: *һала, выныта* «пу, пойдем (мы оба)». Личное местоимение *мэги* имеет значение «мы оба». Эти факты, возможно, указывают на то, что двойственное число в прошлом было живой категорией нивхского языка.

кэ показывает, что основа глагола управляет не только тем именем существительным, которое соединилось с ним, но и еще одним именем существительным, которое обособилось в отдельный член предложения. Отметим, кстати, что приведенный пример свидетельствует также о том, что словокомплекс в нивхском языке не может быть отождествлен со сложным словом, так как знаменательный (глагольный) компонент его, представленный не отдельным законченным словом, но корневой основой, как в вышеприведенном примере *-ншы-δ'*, может вступать в синтаксические связи с отдельными законченными словами в предложении.

В заключение нашего краткого обзора способов выражения прямого объекта действия остановимся на третьем случае выделения прямого дополнения в качестве самостоятельного члена предложения в нивхском языке. Когда говорящий хочет сосредоточить на прямом дополнении основное внимание собеседников, он может отделить прямое дополнение от переходного глагола и поместить его в предложении на первое место — впереди подлежащего: *шактох јанђајло! һы-умгу ншак ч'и эвнан, эвгир* «что поделаешь! Раз уже ты эту женщину взял, то возьми ее» (*шактох јанђајло!* — фразеологическое сращение со значением «что поделаешь!», *һыδ'* «этот», *умгу* «женщина», *ншак* «раз», *ч'и* «ты», *эвδ'* «брат»). В указанном примере, взятом из фольклорных записей, переходный глагол сохранил при себе местоименный префикс *э(эвδ')* и не принял формы, которую он приобретает при инкорпорировании прямого объекта (*-вод'*, *-под'*, *-бод'*), поскольку прямое дополнение не стоит непосредственно перед ним.

Свободное сочетание прямого дополнения со сказуемым в нивхском языке развилось, возможно, из инкорпорированного словокомплекса.

Возвращаясь к вышеприведенным предложениям *н'и на-хуδ'* «я убил зверя» и *н'и на-хад'* «я стрелял в зверя», мы в первом случае имеем словокомплекс, поскольку компонент *-ху(δ')* представляет собой несамостоятельную модифицированную основу отдельного законченного слова *иχδ'* «убить», во втором же случае *на* «зверь» и *хад'* «стрелять» представляют собой отдельные законченные слова. Хотя система нивхского языка позволяет усматривать и в этом случае словокомплекс (о чем было сказано выше), нельзя не видеть того, что здесь уже в языке имеются все условия для развития из словокомплекса (ср. *н'и эВа-q'ад'* «я в корову стрелял») свободного словосочетания.

В нивхском языке имеется небольшая группа переходных глаголов, начинающихся с сонантов, которые не подвергаются фонетическим изменениям: *н'и ч'о-нынδ'* «я ловил рыбу» (*ч'о* «рыба», *нынδ'* «охотиться», «промышлять», «ловить»). Можно предполагать, что в подобных случаях процесс формирования словокомплексов на основе словосложения уступил место формированию свободного словосочетания.

При дальнейшем изучении вопросов формирования свободного сочетания прямого дополнения с переходным глаголом необходимо также учесть то влияние, которое оказал синтаксис русского языка на синтаксис нивхского языка.

*

Перейдем теперь к краткой характеристике именных словокомплексов.

Стержнем именного словокомплекса является имя существительное, с которым соединяются непосредственно стоящие перед ним определения, представляемые основами качественных, непереходных и переходных глаголов, основами местоимений различных разрядов и основами имен существительных.

С морфологической точки зрения все слова, выступающие в определительной части словокомплексов, могут быть разделены на две группы: слова, в роли определения опускающие свои окончания, и слова, не подвергающиеся в этой роли никаким изменениям. Слова, выступающие в качестве определяемой части словокомплексов, также могут быть разделены на две группы: слова, изменяющие в роли определяемого свой начальный согласный, и слова, не изменяющие в этой роли своих начальных звуков. Во всех случаях, несмотря на указанные различия, происходит соединение определения с определяемым словом в один словокомплекс.

Исходной и наиболее употребительной формой глаголов в амурском диалекте является форма на *д'* (в сахалинском диалекте она имеет показатели *нт*, *нд*, *д*). Кроме глаголов, окончания *-д'* имеют также указательные, определительные, некоторые вопросительные местоимения и некоторые имена существительные; в силу этого можно предполагать, что генетически *-д'* был именным показателем и впоследствии частично вербализовался¹. Если бы это окончание было присуще только глаголам, оно не сохранилось бы при единичных отглагольных именах существительных: *ханд* (с. д.) «подпирать» — *д'анд* (с. д.) «посох».

Значение окончания *-д'* выявляется путем сопоставления вопросительно-местоименных наречий и вопросительных местоимений, образованных при помощи вопросительной основы *ша*: *шатх?* «куда?», *шајн?* «где?», *шад?* «который?» — падежные окончания *тх*, *јн* выражают здесь пространственные представления, а окончание *д'* можно сопоставить со значением «он»².

Следовательно, можно полагать, что во всех словах, оканчивающихся на *д'*, это окончание некогда выражало значение «он», «некто», «нечто», т. е. являлось обобщенным показателем лица и предмета: *хыд'* «этот (некто)», «это (нечто)», *кылд'* «длинное (нечто)», *прыд'* «пришел (некто)», *зад'* «ударил (кто-то)» и т. д. В тех случаях, когда эти слова выступали в роли определений, надобность в обобщенном показателе отпадала, в связи с чем он опускался, замещаясь конкретным именем существительным³. Так, основа указательного местоимения *хыд'* «этот (некто)», «это (нечто)» и *тыф* «дом» при слиянии дали словокомплекс *хы-дыф* «этот дом»; из основы качественного глагола *кылд'* «длинное (нечто)» и существительного *кылмр* «доска» образовался словокомплекс *кыла-гылмр* «длинная доска»; из основ непереходного глагола *прыд'* «пришел (некто)», переходного гла-

¹ В плане выяснения истории возникновения инкорпорирования важно указать, что глагол в нивхском языке не освободился еще полностью от черт, присущих имени. Так, глагол и имена существительные оформляются едиными аффиксами творительного падежа (*γир*) и множественного числа (*γу*), аффиксом утверждения (*ра*), усилительными частицами (*ат*, *а* *ур*), могут сочетаться с послелогом *эришд* «сторона» (в этом случае глагольное слово на *д'* выступает в роли подлежащего, указывая на действующее лицо). Единицы и некоторые формы отрицания имени и глагола (*д'ауд'* *дзэришт* [с. д.]). Примечательно, что каждая корневая глагольная основа может оформляться окончанием направительного падежа (*дох*). Значения причины и цели действия выражаются посредством присоединения к глагольной основе сложных именных аффиксов (*фтох*, *чыфтох*, образованных посредством суффикса *-ф* со значением местонахождения и окончания направительного падежа *тох*). Окончания некоторых деепричастий (*фкә||кә*, *на||нан*) образовались, по-видимому, из пространственных показателей. Личных окончаний глагол не имеет. Слабые признаки формирования грамматической категории лица прослеживаются только в повелительном наклонении и в некоторых формах деепричастий.

² Доказательством того, что слияние вопросительной основы *ша* с другими компонентами действительно имело место, может служить вопросительное местоимение сахалинского диалекта *т'ауд?* «кто?». Это местоимение образовалось из вопросительной основы *ша* ~ *т'а* и указательного местоимения *хыд* «этот». Дословное значение этого местоимения «кто этот?».

³ Замещение в глаголе местоименных префиксов *ј*, *и*, *э* прямым дополнением и окончания *д'* конкретным предметным именем существительным, возможно, связано также с выражением элементов неопределенности и определенности в нивхском языке.

гола *зад'* «ударил (кто-то)» и имени существительного *нивх* «человек» соответственно образовались словокомплексы *пры-нивх* «пришедший человек», *за-нивх* «ударивший человек»¹.

Определительные компоненты указанных словокомплексов *ны-*, *кыла-*, *пры-*, *за-* не являются отдельными словами, так как не имеют окончания *д'*, придающего им форму законченных слов. Следовательно, в указанных и подобных им случаях имеет место слияние корневой основы с определяемым словом в один словокомплекс, что дает основание предполагать наличие в нивхском языке системы слияния определения с определяемым словом в одно целое.

В один словокомплекс с именами существительными сливаются также личные и возвратные местоимения: *н'и* «я», *ч'и* «ты», *иф* «он», *н'ын* «мы», *ч'ын* «вы», *имн* «они», *п'и* «себя». Местоимения *н'и* «я», *ч'и* «ты», *п'и* «себя» опускают в этих случаях свой гласный *и*, а местоимение *иф* «он» обычно выступает перед гласным в форме *в*. Образующиеся словокомплексы выражают значение принадлежности: *ымык* «мать», *н'ымык* «моя мать», *ч'ымык* «твоя мать», *вымык* «его мать», *н'ын-ымык* «наша мать», *ч'ын-ымык* «ваша мать», *имн-ымык* «их мать», *п'ымык* «своя мать»; *һақ* «шапка», *н'ақ* «моя шапка», *ч'ақ* «твоя шапка», *јақ* «его шапка», *н'ын-һақ* «наша шапка», *р'ын-һақ* «ваша шапка», *имн-һақ* «их шапка», *п'ақ* «своя шапка»; *пaх* «камень», *н'вах* «мой камень», *ч'вах* «твой камень», *ибах* «его камень», *н'ын-бах* «наш камень», *р'ын-бах* «ваш камень», *имн-бах* «их камень», *п'фах* «свой камень».

Поскольку в примере *н'ымык* «моя мать» имеется явное слияние основ, у нас нет никаких оснований отрицать факт слияния в случае *н'ын-ымык* «наша мать», хотя компоненты этого словокомплекса внешне имеют облик отдельных слов. В обоих случаях здесь проявляется действие одной системы соединения основ и слов в синтаксические словокомплексы. Проявление той же системы имеет место и при соединении имени существительного (точнее — основы имени существительного) с другим именем существительным; например, от слова *т'иф* «след», «тропа», «дорога», образуются словокомплексы: *к'эд-зиф* «след лисы» (*к'эд* «лиса»), *дан-д'иф* «след собаки» (*дан* «собака»), *қ'отр-т'иф* «след медведя» (*қ'отр* «медведь») и т. д.

Образование словокомплексов в этих случаях также подтверждается чередованиями начальных согласных. Правда, в последнем случае изменения слова *т'иф* «след» не произошло. Однако сочетание смычного с щелевым или щелевого со смычным в нивхском языке свидетельствует о соединении компонентов в одно целое. Доказательством этому может служить также и тот факт, что при слиянии основы с аффиксами имеют место чередования согласных, аналогичные чередованиям начальных звуков именных и глагольных основ при соединении их в словокомплекс. Сопоставим эти явления, не разделяя компоненты словокомплексов дефисом:

рох — окончание дательного-направительного падежа

тыф «дом»

род' «помогать»

н'ытыкрох
«к моему отцу»

н'ытыкрыф

«дом моего отца»

н'ытыкрод'

«помог моему отцу»

н'нанхтох
«к моей старшей сестре»

н'нанхтыф

«дом моей старшей сестры»

н'нанхтод'

«помог моей старшей сестре»

н'оҮладох
«к моему ребенку»

н'оҮладыф

«дом моего ребенка»

н'оҮладод'

«помог моему ребенку»

¹ Комплекс типа *за-нивх* возможен только в том случае, если из контекста известно, о чем шла речь. Обычно основа переходного глагола в роли определения выступает вместе с инкорпорированным прямым дополнением.

Приведенные факты не оставляют никаких сомнений в том, что наличие фонетических чередований свидетельствует не только о слиянии основ имен существительных с падежными окончаниями, но также и о соединении основ имен существительных с именами существительными и переходными глаголами в один словокомплекс.

Сравним теперь сложное слово *выт'зиф* «железная дорога» и словокомплекс *к'эq-зиф* «след лисы» (*выт'* «железо», *к'эq* «лиса»), *кылана* «змея» (дословно: «длинное животное») и *кыла-гылмр* «длинная доска» (*кылд'*, *кылад'* «длинный», *на* «животное, зверь», *кылмр* «доска»); *зат'уур* «кресало» (дословно: «ударный огонь») и *за-нивх* «ударивший человек» (*заδ'* «ударить», *т'уур* «огонь», *нивх* «человек»).

Как сложные слова, так и словокомплексы могут получать одинаковые окончания числа и падежа: *выт'зифку* «железные дороги», *к'эq-зифку* «лисий следы», *кыланауир* «змеей», *кыла-гылмркир* «длинной доской», *зат'ууртох* «к кресалу», *за-нивхдох* «к человеку, который ударил» и т. д. Создается впечатление, что сложные слова и именные словокомплексы представляют собой явления одного порядка. Однако, как только мы станем присоединять к сложным словам и словокомплексам определения принадлежности, то сразу станет очевидным различие между ними. Так, можно сказать *н'выт'зиф* «моя железная дорога», *н'хэq-зиф* «след моей лисы», *н'кылана* «моя змея», *н'кыла-гылмр* «моя длинная доска», *н'зат'уур* «мое кресало», но в *н'за-нивх* усеченное местоимение *н'~н'и* «я» будет уже указывать не на принадлежность, а на прямой объект действия «меня ударивший человек», «человек, который меня ударил». Это объясняется тем, что корневая основа *за* «ударить» в сложном слове *зат'уур* «кресало» полностью субстантивировалась, а в словокомплексе *за-нивх* «ударивший человек» сохранила семантику переходного глагола. Поэтому же к *зат'уур* может быть присоединено определение, например, *пила-зат'уур* «большое кресало», но к *за-нивх* оно уже не может быть присоединено. Сказать *пила-за-нивх* невозможно, так как к основе глагола *за(δ')* «ударить» может быть присоединено только прямое дополнение.

Отличие словокомплексов от сложных слов состоит еще и в том, что определительный компонент словокомплекса может быть заменен любым определением, дающим ту или иную характеристику его определяемому. Так, например, можно сказать *к'эq-зиф* «след лисы», *qан-δ'иф* «след собаки», *вэс-т'иф* «след вороны»; *к'ыла-гылмр* «длинная доска», *пила-гылмр* «большая доска», *вэгла-гылмр* «широкая доска»; *пры-нивх* «пришедший человек», *за-нивх* «ударивший человек» и т. д.

В сложных же словах заменить определительный компонент невозможно, так как это сразу же приведет к разрушению значения, выражаемого сложным словом. Так, если в сложном слове *кылана* «змея» заменить определительный компонент *кыла* (от *кылд'* «длинный») другим определением, например, *пила* (от *пилд'* «большой»), то *пила-на* будет уже обозначать не «большая змея», а какое-то «большое животное».

Структура простых определительных словокомплексов, образованных соединением двух или трех основ, может быть сопоставлена со структурой сложных слов, тогда как структура сложных определительных словокомплексов не может быть сопоставлена со структурой сложных слов, например *ны-эри-зырун ч'хызыла-тола-хэунизир панд'* «на берегу этой реки удивительная толстая ольха росла» (*хыд'* «этот», *эри* «река», *т'ыр* «край», *ун* — окончание местного падежа, *ч'хызылад'* «удивительный», *толад'* «толстый», *хэуни* «ольха», *т'иур* «дереву», *панд'* «расти»).

Не имея возможности остановиться здесь на других особенностях сложных определительных словокомплексов, отметим только следующее.

Переходный глагол с инкорпорированным прямым дополнением может выступать в нивхском языке в качестве определения: *нивх јыүд'* «человек поил», *нивх мур-ыүд'* «человек лошадь поил», *мур-ыү-нивх* «человек, на-

поивший лошадь»¹. Этот словокомплекс, имеющий форму сложного слова, можно распространить, присоединив к нему другое прямое дополнение: *эВага мурга-ыҫ-нивх* «человек, напоивший корову и лошадь». В последнем случае прямое дополнение *эВа* «корова», оформленное разделительно-соединительным окончанием *га*, вступило в синтаксические отношения с *ыҫ* — корневой основой глагола *йыҫ* «поить».

Посредством разделительно-соединительных суффиксов, присоединяемых к каждому из однородных определяемых существительных, определение или даже падежное окончание, соответственно слившееся или присоединившееся к одному из этих определяемых, могут быть отнесены к каждому из них: *пила-эВаго мурго* «большие коровы и лошади», *н'и колхоз-эВаго мургодох вид'* «я пошел к колхозным коровам и лошадям».

Таким образом, одна из характерных особенностей нивхского языка состоит в том, что корневые и производные основы слов в этом языке служат строительным материалом не только для образования слов, но и для формирования словокомплексов. Примечательно, что корни и основы слов, входящие в состав словокомплексов, не будучи законченными словами, могут все же вступать со словами в синтаксические отношения.

Исходя из этого, В. З. Панфилов отрицает наличие в нивхском языке инкорпорирования; по его мнению, «определение и определяемое, прямое дополнение и сказуемое образуют в нивхском языке не инкорпорированные комплексы, а словосочетания, построенные на примыкании»². Пытаясь доказать, что в нивхском языке нет инкорпорирования, а есть примыкание, В. З. Панфилов выделяет в действительности не существующую там категорию причастий, усматривая ее даже в составе сложных слов; усеченные корневые основы личных местоимений он называет префиксами; чередования начальных согласных звуков, носящие в нивхском языке фонологический характер, определяются им как фонетические сандхи, а корневые и производные основы рассматриваются как отдельные слова.

Вместо инкорпорирования в нивхском языке, заявляет В. З. Панфилов, «мы имеем в самом деле синтаксические сочетания отдельных слов, употребляемых в качестве одного из членов предложения (определения, определяемого, прямого дополнения, сказуемого)»³.

Каждый компонент инкорпорированного комплекса, по В. З. Панфилову, — это отдельное слово. Но отдельное слово должно иметь реальное бытие не только в комплексе, не только в предложении, но и вне его. Однако, если мы извлечем из вышеприведенного словокомплекса *мур-ыҫ-нивх* «человек, напоивший лошадь» компонент *ыҫ*, то он уже будет означать не «поить», но «конец» (*ых*); соответственно компонент *к'эд'* из словокомплекса *наҫс-к'эд'* «одел одежду» будет означать не *хэд'* «одевать», но «тощий» (*к'эд'*). Эти примеры (а число их можно значительно увеличить) говорят о том, что корень или основу слова, лишенных своих морфологических показателей, равно и фонетически измененную основу нельзя извлекать из словокомплекса и отождествлять со словом, поскольку при этом они утрачивают свое действительное значение и либо приобретают омонимичное значение, либо ничего не означают⁴.

¹ В ряде случаев в словокомплексах такого типа наличие или отсутствие чередования начального согласного глагола используется для выражения значения действительного или страдательного залога: *н'ын-д'а-нивх* «нас бивший человек», *н'ын-аа-нивх* «нами битый человек» (*аад'* «бить»). Во втором случае местоимение *н'ын*, по-видимому, только примкнуло к глаголу, так как нивхи, с которыми мы изучали это явление, говорят, что слово *н'ын* в этом случае произносится как бы отдельно, а во втором случае все произносится слитно.

² В. З. П а н ф и л о в, К вопросу об инкорпорировании, ВЯ, 1954, № 6, стр. 25.

³ Там же, стр. 26.

⁴ Отождествление компонентов словокомплексов и сложных слов с отдельными словами позволяет В. З. Панфилову выделять в нивхском языке такие слова, как, например: *улан'* «гора», *паг'лан'* «солнце», *иг'рыд'* «служить», *пин* ~ *фин* «житель» и т. д. (см. стр. 17—18 цитируемой работы). Между тем «гора» по-нивхски *пал*, «солн-

Отождествление словокомплексов нивхского языка типа *дан-ард'* «собаку кормил», *дан-к'уд'* «собаку убил», *дан-нишид'* «собаку увидел» и т. п. со словосочетаниями, построенными на примыкании, абсолютно невозможно, так как вторые компоненты этих словокомплексов представляют собой корневые основы глаголов, которые никогда не употребляются в нивхском языке как отдельные слова без слитого с ними прямого дополнения или местоименного префикса. Точно так же словокомплексы типа *рыу-нивх* «учащий человек», «учитель», *ниш-нивх* «пришедший человек», *пила-нивх* «большой человек» и т. п. не могут быть названы словосочетаниями, поскольку их первые компоненты, представляющие собой основы переходных, непереходных и качественных глаголов, никогда не употребляются в нивхском языке как отдельные слова без определяемого слова или без суффикса *д'*. Поскольку от основ качественных глаголов посредством суффикса *лкар*, *кар* образуются отдельные слова со значением превосходной степени, следует полагать, что они образуют с определяемым словом словосочетания, а не словокомплексы. Так, *пила нивх* «большой человек» — словокомплекс, а *пилкар нивх* «большущий человек» — словосочетание.

Примыкать друг к другу могут только отдельные законченные слова (*урсир нумја* «хорошо живи»), основы же слов, лишенные своих морфологических показателей, могут лишь сливаться с другими основами или аффиксами, которые придают им форму сложного или отдельного слова.

По нашей инициативе в Лаборатории экспериментальной фонетики имени Л. В. Щербя, уже после диспута, начались при участии Л. Р. Зиндера и М. И. Матусевич первые пробы экспериментального исследования инкорпорирования. Об итогах этого исследования будет сообщено особо.

В нивхском языке, как и в других языках, имеются синтаксические способы управления, согласования и примыкания. Кроме того, в нем есть еще и инкорпорирование, выступающее как явление синтаксического использования процесса осново- и словосложения: объектное отношение может выражаться посредством сложения имени с глаголом, в результате которого основные изменения претерпевает корневая основа глагола, а имя остается неизменным. Этот примечательный способ выражения объектных отношений в нивхском языке подлежит специальному изучению. Исследователь обязан тщательно и объективно изучить это своеобразное явление, чтобы рассказать о нем другим языковедам, ищущим новые и точные факты, которые позволили бы им идти в глубь истории языков.

це» — *к'эн*, *иг'рид'* «ходить вместе с ним (с нею)», в слове же *вофин* (а не *во-фин*) «житель деревни» (*во* «деревня») компонент *фин* не есть слово «житель», а два аффикса: 1) *фи* ~ *п'и*, посредством которого от имен существительных образуются производные основы, означающие «находиться в месте, выраженном именем существительным», и 2) непродуктивный *н*, посредством которого от глагольных и качественных основ образуются немногие имена существительные. От производной основы *вофи*- могут образовываться также и слова с глагольным значением: *вофинан* «когда находился в деревне» и т. д. Следовательно, отождествлять компонент *фин* с отдельным словом «житель» невозможно.

Я. Б. КРУПАТКИН

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ

Живой интерес к исторической фонетике всегда был традиционным для отечественной науки. Однако в последние десятилетия изучение звуковых изменений стало у нас отсталой областью. Вот почему в дискуссии о структурализме представляется уместным остановиться на двух первостепенных теоретических вопросах: проблеме «синхрония — диахрония» и вопросе о причинах звуковых изменений.

*

Ф. де Соссюр не был первым, кто выступил за четкое разграничение описательного и исторического изучения языка. Еще за 45 лет до появления «Курса общей лингвистики» Соссюра И. А. Бодуэн де Куртенэ видел отличия «законов и условий жизни звуков в состоянии языка в один данный момент (статика звуков)» от «законов и условий развития звуков во времени (динамика звуков)»¹. Развивая эти мысли, Н. В. Крушевский также писал о возможностях рассмотрения «системы в порядке сосуществования или в порядке последовательности»². Особенностью точки зрения Соссюра было то, что противопоставление описательного и исторического изучения языка, по его мнению, «совершенно абсолютно и не терпит компромисса»³: он полагал, что изучение замкнутой в себе системы языка, которое, по его мнению, является центральной задачей лингвистики, возможно лишь в плане синхроническом; диахроническая же точка зрения на язык разрушает систему, превращает ее в собрание разрозненных фактов. Эта соссюровская антиномия была полностью принята структуралистами женеvской школы⁴, тогда как создатели пражского структурализма с самого начала видели ее ошибочность. Уже в своем манифесте, с которым они выступили в 1928 г. на I Международном лингвистическом конгрессе в Гааге, пражские структуралисты, признавая важным разграничение между синхронией и диахронией, указывали на недопустимость разделения двух методов непреодолимыми преградами и на необходимость признания системного характера диахронических явлений. Ни одна часть синхронной системы не может измениться безотносительно к другой. Диахроническое изучение не только не исключает понятия системы и функций, но, напротив, без учета этих понятий является неполным. С другой стороны, и синхроническое описание не может целиком исключить понятия эволюции⁵.

Хотя это новое понимание диахронии и ее взаимоотношений с синхронией получило признание и явилось основой для многих исторических

¹ И. А. Бодуэн де Куртенэ, Некоторые общие замечания о языковедении и языке, «Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX веков» (сост. В. А. Звегинцев), М., 1956, стр. 233.

² Н. В. Крушевский, Очерк науки о языке, «Хрестоматия...», стр. 247.

³ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 90.

⁴ См., например, Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 32—33.

⁵ «Тезисы Пражского лингвистического кружка», «Хрестоматия...», стр. 427—428.

исследований, однако и сегодня проблема в целом не утратила своей актуальности. И дело здесь не только в том, что некоторые историки языка все еще противопоставляют структурную и историческую лингвистику, а иные видные дескриптивисты в Америке даже утверждают, что преимущество их метода состоит в полной изоляции от исторического метода¹. Неослабевающий интерес к проблеме «синхрония — диахрония», как показала недавняя дискуссия о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка², объясняется прежде всего потребностями языковедческой практики в ее дальнейшей разработке и уточнении. Трудность заключается в том, что понятие синхронии — научная абстракция, такая же, как понятие фонемы или системы фонем, хотя и фонема, и система фонем, и синхронный разрез реально существуют в языке и осознаются говорящими. Надо учитывать также, что взаимоотношения между синхронией и диахронией носят двусторонний характер; и если место синхронного анализа в историческом исследовании может считаться более или менее выясненным³, то место диахронических фактов в описательном исследовании остается не вполне ясным.

В некоторых докладах и выступлениях на упомянутой дискуссии были выдвинуты возражения против сосюрковского разграничения синхронии и диахронии на том основании, что синхроническое описание дает статическое и плоскостное изображение системы. Такая позиция представляется нам неправильной, поскольку она по сути дела бесплодна. Ведь то, что во всякой синхронии присутствуют элементы диахронии, подчеркивается самими структуралистами. Поэтому было бы ошибкой, писал Р. Якобсон почти 30 лет назад, рассматривать статику и синхронию в качестве синонимов. Статический разрез — лишь научный прием, но не реальность⁴. Плоскость синхронии Б. Трнка сравнивает с поверхностью сферы, горизонт которой отступает, по мере того как наш взор удаляется от точки во времени, принятой за основу в нашем рассмотрении. Поэтому лингвистическую непрерывность во времени нельзя расщепить на отдельные сравнимые отрезки и выбранная нами линия не является абсолютной синхронией, включающей, например, синхронные различия в речи отдельных поколений, «функциональные диалекты» общественных классов и т. д.⁵

Это обстоятельство не мешает, однако, фонологам изучать синхронно живые языки и использовать синхронные срезы при анализе языковой эволюции. Известно, что ни один исследовательский прием сам по себе не даст возможности охватить всю многообразную действительность. Важно, однако, помнить, что рассмотрение системы «двухмерной» побуждает к выяснению закономерностей языка как средства общения, чего пока нельзя сказать о выдвигавшемся в ходе дискуссии понятии «трехмерной» системы. Показательно, что ни один из оппонентов синхронного анализа даже не попытался отклонить какого-либо конкретного результата, полученного благодаря последовательному разграничению синхронии и диахронии.

¹ См. R. A. F o w k e s [пец. на кн.:] A. Martinet, Économie des changements phonétiques, «Word», vol. 12, № 2, 1956, стр. 280—281.

² См. об этом ВЯ, 1957, № 4, стр. 124—129.

³ Б. Т р н к а пишет об этом так: «Структуралист должен всегда стремиться к синхронизации данных изменений с другими особенностями языка, так как об их функции в системе и в структуре языка можно судить лишь на основании сосуществующих фактов» (B. T r n k a, From Germanic to English. A chapter from historical English phonology, «Recueil linguistique de Bratislava», vol. I, 1948, стр. 146).

⁴ R. J a k o b s o n, Prinzipien der historischen Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, 1931, стр. 264; см. также изложение высказываний по данному вопросу Р. Якобсона, И. Вахка и Б. Гавранка в отчетах К. Горалка «Otázky strukturální jazykovědy na slavistické konferenci» (журн. «Slovo a slovesnost», ročn. XVIII, číslo 2, 1957), К. Хаузенбласа (K. Hausenblas) и М. Хелцла (M. Helcl) «Zpráva o konferenci věnované vědeckému studiu soudobých jazyků» (там же).

⁵ B. T r n k a, Obecné otázky strukturální jazykovědy, «Slovo a slovesnost», ročn. IX, Praha, 1943, стр. 58.

Известные преимущества синхронного анализа, помогающего изучать языковые явления во всей их комплексной сложности, вовсе не означают, что диахрония должна занять в лингвистической методологии второстепенное место по отношению к синхронии, как думают некоторые авторы¹. Вряд ли прав и А. А. Реформатский, полностью принимающий тезис Соссюра о том, что «...синхронический аспект важнее диахронического, так как для говорящей массы только он — подлинная и единственная реальность»². По-видимому, нельзя понять до конца не только законы развития, но и сущность языка, изучая его вне времени: сущность языка — не только в том, что он является системой знаков, но также и в том, что эта система, не переставая служить целям общения, способна постоянно изменяться, причем для лингвиста-теоретика обе стороны одинаково важны. В этой связи стоит приглядеться к некоторым результатам языковедческой практики. Так, если на примере современной исторической фонологии видно, какими уместными оказываются закономерности синхронии в историческом исследовании, между тем как фактам диахроническим надлежащее место в синхронном анализе найти нелегко, — то не говорит ли это в пользу большей универсальности исторического подхода, которая в том и проявляется, что «синхрония исчерпывается собой и ни в чем не нуждается», «а история языка отнюдь не исчерпывается диахронией»?³ Конечно, эту «универсальность» мы понимаем отлично от младограмматиков. Стоит вспомнить, что Бодеуэн выступал против проповедуемого младограмматиками универсально-исторического подхода к изучению фактов языка и в то же время «истинно научным»⁴ считал историческое направление. В такой позиции нет никакого противоречия.

*

У И. А. Бодеуэна де Куртенэ находим и указание, что последовательные синхронные срезы должны стать первым этапом диахронного исследования⁵. Много лет спустя эта мысль появляется у пражских структуралистов, но уже обогащенная соссюровским функциональным пониманием системы в языке. «Если мы рассматриваем со структурной точки зрения диахронические изменения, которые предстают перед нами при сравнении двух исторических стадий того же языка, мы должны...излагать функциональное изменение составных частей старшей стадии телеологически, в связи со структурными потребностями младшей стадии»⁶. Что же это за потребности, каковы могут быть цели развития? Вопреки Соссюру, усматривавшему в языке «сложное равновесие взаимно обуславливающих себя элементов»⁷, и в соответствии с признанием динамического характера синхронии, структуралисты полагают, что это равновесие никогда не бывает полным; отсюда возможная цель — восстановить нарушенное равновесие, улучшить систему функционально противопоставленных элементов.

В нашей литературе теории структуралистов о движущих силах звуковой эволюции еще по существу не рассматривались. Сказалось длительное господство аракчеевского режима, установленного в языкознании

¹ См., например, B. M a l m b e r g, *Système et méthode. Trois études de linguistique générale*, «Årsbok 1945. Year-book of the New society of letters at Lund», 1945, стр. 22—32.

² Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 95.

³ А. А. Реформатский, Принципы синхронного описания языка, «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета [Ин-та языкознания АН СССР], посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка», М., 1957, стр. 12.

⁴ И. А. Бодеуэн де Куртенэ, указ. соч., стр. 223.

⁵ Там же, стр. 234—235.

⁶ B. T r n k a, *Hláskoslovné zákony v strukturálním jazykozpytu*, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXIII, číslo 4, 1937, стр. 385—386.

⁷ Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 120.

сторонниками «нового учения» о языке, неправильное отношение к достижениям науки за рубежом. В то время как в решении конкретных проблем истории языка некоторые наши лингвисты успешно применяют структурные методы¹, в работах теоретиков эти методы бездоказательно отрицаются. Так, П. С. Кузнецов в одном из своих недавних выступлений по сути перечеркивает всю историческую фонологию, когда пишет, что «фонологические отношения, имеющиеся в языке, представляют собой достигнутый результат, но не движущую силу изменений»². И далее: «В основе фонетических изменений лежат определенные чисто фонетические причины.., а не тенденции к восстановлению равновесия в фонологической системе или тенденция вообще преобразования этой системы в определенном направлении (как это неоднократно утверждал Р. Якобсон)»³. Но закономерности исторической фонологии объективны, они подкреплены множеством фактов, число и достоверность которых возрастают.

Еще задолго до структуралистов исследователи были вынуждены признать, что звуковая эволюция управляется не одними чисто фонетическими причинами: указывалось, например, на стремление избежать омонимии как на причину ряда звуковых переходов, не укладывавшихся в традиционные звуковые законы⁴; при изучении германского передвижения согласных отмечался такой фактор, как стремление сохранить различие между рядами согласных звуков⁵. Структуралисты лишь показали закономерность подобных явлений (ср. соответственно «функция» и «структура» в терминологии А. Мартине), и в этом их заслуга. Недавно чешский англист И. Вахек на конкретных примерах из истории английского и чешского языков очень убедительно показал, каким образом факторы структурные могут взаимодействовать с факторами чисто фонетического, физиологического, а также грамматического и лексического порядка⁶. Что же касается телеологического объяснения звуковой эволюции, то оно возникло в противовес сословскому пониманию лингвистических изменений как случайных ударов, разнородных с точки зрения системы, и первоначально речь шла лишь о том, что «лингвистические изменения часто имеют своим объектом систему, ее упрочение, перестройку и т. д.»⁷. (разрядка наша. — Я. К.). В дальнейшем делались попытки объяснить таким образом всю эволюцию⁸. Однако практика языкознания не подтвердила подобного взгляда, и в годы второй мировой войны и после нее от телеологической трактовки отказались сами структуралисты⁹, в том числе и один из ее авторов Р. Якобсон¹⁰, на которого П. С. Кузнецов ссылается.

Но если развитие языка в целом нельзя объяснять стремлением к одной определенной цели, это все же не означает отсутствия в нем факторов структурного порядка. Историческая фонология обнаруживает их дей-

¹ См., например, А. И. Смирницкий, Вопросы фонологии в истории английского языка, «Вестник МГУ», 1946, № 2; М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, М.—Л., 1953; с его же, Исландское передвижение согласных, «Скандинавский сборник», II, Таллин, 1957; И. М. Тронский. Очерки из истории латинского языка, М.—Л., 1953, и др. работы.

² См. П. С. Кузнецов, [рец. на кн.:] F. Liewehr, Slawische Sprachwissenschaft in Einzeldarstellungen, ВЯ, 1957, № 2, стр. 109.

³ Там же.

⁴ См., например: Th. Frings, Germania romana, Halle, 1932, стр. 210.

⁵ W. Wilmanns, Deutsche Grammatik, I Abt., 3 Aufl., Strassburg, 1911, стр. 265.

⁶ J. Vachek, On the interplay of quantitative and qualitative aspects in phonemic development, «Zeitschr. für Anglistik und Amerikanistik», 5 Jg., Hf. 1, 1957.

⁷ «Тезисы Пражского лингвистического кружка», стр. 428.

⁸ См. N. Trubetzkoy, La phonologie actuelle, «Journal de psychologie normale et pathologique», XXX-e année, № 1—4, Paris, 1933, стр. 245; R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, стр. 265.

⁹ См., например, A. Martinet, Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne, 1955, стр. 97.

¹⁰ См. об этом в указанном выше отчете К. Горалка о славистической конференции.

ствие в истории каждого языка, вместе с тем последовательный учет их уже не раз помогал в объяснении явлений, казавшихся загадочными¹. Если мы согласны с тем положением, что фонемы языка образуют систему, противопоставляющиеся элементы которой способны участвовать в смысло-различении слов и форм; если, далее, изменения в этих системах не могут совершаться безотносительно к основной функции языка, то разве не естественно, что всякие изменения, угрожающие самостоятельному существованию двух противопоставленных фонем и одновременно равновесию («integrity», по терминологии Мартине) системы, вызывают противодействие. Но тенденция к равновесию в свою очередь наталкивается на препятствия физиологического и акустического порядка (см. ниже), так что восстановление равновесия далеко не всегда следует сразу за его нарушением. Само «равновесие» понимается теперь пачного конкретней, чем в эпоху зарождения исторической фонологии. Устойчивой, по Мартине, будет такая система, в которой неизбежные артикуляторные отклонения не способны нарушить границы целостности между фонемами. Таким образом, пражская школа, отказавшись от первоначального телеологического подхода, считает, что «цель» на каждом историческом этапе определяется конкретными условиями развития² с учетом не только структурных потребностей рассматриваемой фонологической системы, но и нужд практически всех аспектов и всех подгрупп языка³.

Существенным недостатком телеологической трактовки звуковых изменений (кажется, еще не отмечавшимся критикой) была неясность в отношении источников нарушения равновесия системы. Правда, говорилось, что «восстанавливая равновесие в одном пункте системы, мутация может при этом нарушить равновесие в других пунктах...»⁴, что равновесие может быть нарушено иноязычным влиянием⁵; но так как эти факторы в принципе не являются обязательными, то нарушения по сути принимались от противного: раз есть развитие к равновесию, значит ему предшествовало нарушение. Устранить этот недостаток во многом помогают работы А. Мартине, где впервые в фонологической литературе было обращено внимание на постоянный конфликт между выразительными потребностями, предполагающими стремление к симметричной, уравновешенной системе фонем, и асимметрией органов речи, благодаря которой выразительные потребности никогда не могут быть реализованы полностью. Этот конфликт и является, по Мартине, главной движущей силой фонетической эволюции (хотя не исключаются и другие источники нарушения равновесия — цепочки мутаций, иноязычные и инодиалектные влия-

¹ Из области английского языка мы могли бы назвать следующие работы: J. V a c h e k, Prof. Karl Luick and the problems of historical phonology, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XIX, číslo 3—4, 1933; ег о ж е, Foném h/x ve vývoji angličtiny, «Sborník prací filosofické fakulty brněnské university», ročn. I, Rady jazykovědné (A), číslo 1, Brno, 1952; ег о ж е, On the phonetic and phonemic problems of the Southern English WH-sounds, «Zeitschr. für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», 8 Jg., Hf. 3—4, 1954; B. T r n k a, On the phonological development of spirants in English, «The proceedings of the Second International congress of phonetic sciences», Cambridge, 1936; ег о ж е, Fonologická poznámka k posunutí dlouhých samohlásek v pozdní střední angličtině, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXIX, číslo 2, Praha, 1945—1946; ег о ж е, From Germanic to English; А. И. С м и р н и ц к и й, Вопросы фонологии в истории английского языка, «Вестник МГУ», 1946, № 2; Н. P e n z l, A phonemic change in early old English, «Language», vol. 20, № 2, 1944; ег о ж е, The phonemic split of Germanic k in old English, «Language», vol. 23, № 1, 1947; М. J o o s, The medieval sibilants, «Language», vol. 28, № 2 (pt. 1), 1952; Я. Б. К р у п а т к и н, К вопросу о стяжении германских ai, au, в Я, 1957, № 4, стр. 83—85.

² См. изложение доклада Р. Якобсона на славистической конференции в указанном отчете К. Горалка (стр. 100).

³ J. V a c h e k, On the interplay of quantitative and qualitative aspects..., стр. 20—21.

⁴ R. J a k o b s o n, Prinzipien der historischen Phonologie, стр. 265.

⁵ B. T r n k a, Hlásokoslovné zákony v strukturálním jazykozpytu, стр. 385.

ния и др.); при этом факторам структурного порядка оказывают противодействие особенности физиологического строения речевого аппарата человека. Видимо, это является проявлением более общей тенденции сведения к минимуму психической и физической деятельности человека (так называемый принцип «наименьшего усилия»)¹.

В работах пражских фонологов нас не может не привлечь важная особенность: концепции единой причины звуковой эволюции, господствовавшей на протяжении всего XIX в. (например, «лености» у Г. Курциуса, распространению ошибочного произношения отдельных личностей у Э. Зиверса и т. п.) в наше время противопоставляется концепция многообразных и перекрещивающихся факторов². Такой подход надо признать плодотворным, диалектическим, и поэтому непонятна критика Р. А. Будагова взглядов женевской школы, во многом сходных с рассматриваемыми. Не нужно быть структуралистом, чтобы ответить на вопросы: «Если история любого языка определяется универсальными для всех языков „потребностями“, то почему разные языки развиваются по-разному? Почему в одном и том же языке действуют взаимно исключают друг друга „потребности“?»³. Достаточно вспомнить, что это понимание языковой эволюции как результата борьбы различных факторов структуралисты взяли у Бодуэна де Куртенэ, который в числе таких факторов называл «привычку», «стремление к удобству», «бессознательное забвение», «обобщение», «абстракцию»⁴. Бодуэн довольно подробно раскрывает содержание этих сил, и при этом становится ясным, что стоит сбросить с них одеяние психологизма, как перед нами предстанут многие из «тенденций», «потребностей» и пр., знакомые по работам современных структуралистов.

По мнению Р. А. Будагова, развитие языка не может определяться, например, «потребностью в экономии речевых усилий», поскольку оно обусловлено постепенным совершенствованием языка в связи с ростом и совершенствованием самого мышления, в связи с постоянно расширяющимися и усложняющимися запросами нашей мысли. Надо, однако, признать, что сказанное относится главным образом к лексике и синтаксису; в меньшей степени совершенствование такого рода можно проследить на развитии морфологического строя и в еще меньшей — на фонетической эволюции. Между тем в развитии любой сферы языка мы найдем стремление к сокращенным формам (эллипсы, опускание звуков и пр.), которому, конечно, противостоит обратная тенденция к дифференциации форм, обусловленная, в частности, потребностями общения. Вслед за Бодуэном проблема эта разрабатывалась Л. В. Щербой⁵, Е. Д. Поливановым⁶, З. Штибером⁷ и другими, она находит свое объяснение в современной тео-

¹ См. развитие этих идей в работах: A. Martinet, La phonologie, «Le français moderne», 6-e année, № 1, 1938; его же, Rôle de la corrélation dans la phonologie diachronique, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 8, 1939; его же, Function, structure, and sound change, «Word», vol. 8, № 1, 1952; его же, Économie des changements phonétiques, chap. IV.

² См. об этом N. van Wijk, L'étude diachronique des phénomènes phonologiques et extra-phonologiques, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 8, 1939, стр. 303. Многообразие тенденций развития отмечалось у нас Б. А. Серебрянниковым (см. «Дискуссия о внутренних законах развития языка в Ученом совете Института языкознания АН СССР», ВЯ, 1952, № 3, стр. 141).

³ Р. А. Будагов, Из истории языкознания (Соссюр и соссюрианство), М., 1954, стр. 30—31.

⁴ И. А. Бодуэн де Куртенэ, указ. соч., стр. 225—226.

⁵ См. Л. В. Щерба, О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, «Хрестоматия...», стр. 257.

⁶ См. об этом Вяч. В. Иванов, Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова, ВЯ, 1957, № 3, стр. 71—72.

⁷ Z. Stieber, Uwagi o przyczynach zmian fonologicznych, «Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności», t. XLVII, № 6, 1946.

рии информации¹. Ссылка на ленинскую критику махистов² — досадное недоразумение, ибо критикуемые В. И. Лениным энергетика Оствальда и проповедь махистами более «экономного» мышления без материи³ не имеют никакого отношения к рассматриваемому вопросу. Приложение оствальдовских «теорий» к языку можно найти у О. Есперсена, но его взглядов не принимают ни женеvские, ни пражские лингвисты⁴.

*

Нет ничего удивительного в том, что в ходе дискуссии на первом плане оказались вопросы фонетики: здесь применение структурных методов явилось пока особенно плодотворным. Возрождая прерванную историко-фонетическую традицию отечественной науки, не надо забывать, что именно пражскими структуралистами были развиты многие идеи И. А. Бодуэна де Куртене, Н. В. Крушевского, Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова, что сама «пражская» фонология своим появлением и развитием обязана прежде всего ученикам Бодуэна — Н. Трубецкому и Р. Якобсону⁵. В рамках настоящей статьи мы не имели в виду дать исчерпывающий обзор затронутых вопросов. Стремясь определить вклад ученых этого направления, мы сознательно избегали еще не решенных вопросов и будем считать свою задачу выполненной, если удалось прибавить несколько доводов в пользу того мнения, что нельзя отбрасывать все созданное структуралистами.

¹ См. об этом: О. С. А х м а н о в а, О психолингвистике, [М.], 1957, стр. 45—48, 60 и др.

² См. Р. А. Б у д а г о в, указ. соч., стр. 31; его же, Вступительная статья и примечания к кн. Ш. Балли «Общая лингвистика и вопросы французского языка», стр. 19, 413.

³ В. И. Л е п и н, Соч., 4-е изд., т. 14, стр. 257—260.

⁴ См. В. Т р н к а, [рец. на кн.:] О. Jespersen, Efficiency in linguistic change, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXVII, číslo 3, 1941, стр. 284—285.

⁵ См. об этом V. M a t h e s i u s, Deset let Pražského lingvistického kroužku, «Slovo a slovesnost», ročn. II, číslo 3, 1936, стр. 141.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЛЮСЬЕН ТЕНЬЕР

О РУССКО-ФРАНЦУЗСКОМ СЛОВАРЕ Л. В. ЩЕРБЫ*

В бытность мою в Ленинграде я имел случай довольно близко ознакомиться с десятью первыми листами русско-французского словаря проф. Л. В. Щербы. Кроме того, я сейчас просматриваю листы 28—41 того же труда. Знакомство мое с последним, хотя и не полное, позволяет, однако, уже сейчас дать о нем наилучший отзыв.

Словарь Л. В. Щербы представляет собой лишь частный случай применения его общей лексикологической теории — теории настолько же правильной, насколько оригинальной и, очевидно, призванной перевернуть до основания словарную технику. Мысль Щербы мне не приходила в голову — признаюсь в этом откровенно, — но с того момента, как он мне ее изложил, я безоговорочно к ней присоединился и удивляюсь, что об этом не подумали раньше, ибо в лексикологии это настоящее «яйцо Колумба».

До сих пор мы, и лингвисты и лексикографы, придерживались традиционного взгляда, согласно которому для установления лексикологического контакта между двумя языками, в данном случае между русским и французским, достаточно иметь два словаря: русско-французский и французско-русский. Щерба справедливо разрушает этот необоснованный предассудок, требуя четырех словарей: 1) русско-французского для русских, 2) русско-французского для французов, 3) французско-русского для русских и 4) французско-русского для французов. Прежде чем идти дальше, отметим, что эта идея соответствует тому, что есть лучшего в нововведениях русской революции. Как в области театра можно лишь поздравить советских художественных критиков с тем, что наряду с автором и актером они отвели подобающее место публике, которую до того совершенно игнорировали, так же — и это поразительный параллелизм — надо поздравить Щербу с тем, что он в своей теории, наряду с автором (словарем) и актерами (словами его), предоставил надлежащее место и публике (пользующейся словарем) — той публике, неоднородности которой до сих пор никто не догадался признать, чтобы сделать необходимые выводы относительно существующего разнообразия требований, подлежащих удовлетворению.

Рассмотрим теперь ближе постулат Щербы в его применении к конкретному случаю, а именно — русско-французскому словарю. Очевидно, что такой словарь должен отвечать совершенно различным требованиям в зависимости от того, кто им будет пользоваться — русский или француз. Словарь — это то же, что билет туда и обратно: француз нужен билет Париж — Москва и обратно Москва — Париж, а русскому наоборот:

* Публикуемый нами отзыв о словаре Л. В. Щербы видного французского сла-
виста и русиста Люсьена Теньера (ум. в 1954 г.) был написан им во время его пребыва-
ния в Москве 4 апреля 1936 г. Отзыв печатается в переводе с французского языка. —
Ред.

Москва — Париж и обратно Париж — Москва. Французу, которому полагается отлично знать французский язык, тогда как он лишь более или менее владеет русским, в области словарной прежде всего нужно, чтобы ему растолковали точный смысл подлежащего переводу русского слова, после чего достаточно предложить ему на выбор небольшое число слов, из которых он лучше, чем кто-нибудь другой, сумеет избрать наиболее пригодное, а быть может, даже и сам подыщет еще более подходящее соответствие. С другой стороны, не к чему терять время и место, чтобы объяснять русскому значение слов и выражений, которые ему должны быть отлично известны. Русскому необходимо знать точный смысл предлагаемых ему для перевода слов, дабы быть в состоянии сделать выбор, т. е. он должен иметь краткое объяснение их значения — если и без обратного перевода их на русский язык, то по крайней мере с указанием точного применения слова.

Это две совершенно отдельные операции, требующие двух книг, коренным образом отличающихся друг от друга. Помимо того, что словарь, составленный одновременно для русских и для французов, будет вдвое толще, в нем не будет никакого единства и потому от него не будет никакой пользы. В каждом случае речь идет о разных вещах. Объединение этих работ в одном томе имело бы столько же смысла, как выдача пассажиру, едущему из Парижа в Москву, двойного билета туда и обратно в одном и том же направлении — при этом он вынужден был бы оплатить оба билета, используя только один.

Понятно, что при таком понимании вопроса самый выбор подлежащих переводу идиоматических выражений вовсе не одинаков для француза и для русского. В словарной статье французу нужно объяснение оборотов, которые могут затруднить его в русском тексте. Русскому же, наоборот, нужны русские выражения, которые, будучи понятными даже и для француза, требуют на французском языке такой передачи, какой русский не ожидал, в связи с чем может возникнуть ошибка.

Незачем доказывать, что применение на практике столь заманчивой теории Л. В. Щербы требует полной перестройки лексикологии. Если принять во внимание тот факт, что большинство словарей на всех языках, как и грамматики, являются безнадёжными копиями друг друга, то станет понятным, какую огромную и кропотливую работу проделал Щерба для практического применения своей теории. Я сам был свидетелем постоянного стремления Щербы к достижению наилучших результатов. Нет ни одного слова, ни одного выражения, значение и употребление которых не было бы им тщательно проверено.

Таким образом, под скромной внешностью карманного словаря скрывается настоящее лексикологическое событие, которое следовало бы отметить в должном месте. Широкая публика так привыкла, что лучшие учебные записки в своей скорлупе, что, если ее не предупредить как следует, она рискует смешать эту маленькую драгоценность с более или менее анонимной массой словарей, фабрикуемых в коммерческих количествах и с промышленными скоростями.

Полная перестройка, осуществленная в словаре Щербы, имеет еще и другое значение. Словарь совершенно освободился от влияния традиции. Лексикографы всех стран привыкли бессовестно обирать своих предшественников, думая при этом, что они делают оригинальную работу. На самом же деле они ограничиваются спешной подборкой различных переводов, предложенных до них, оставляя в своих словарях из поколения в поколение склад старых слов и оборотов, которые больше не употребляет ни одна живая душа. В этом отношении словарь Щербы просматриваешь действительно со вздохом облегчения. В нем чувствуется свежая струя. Автор сумел произвести в нем настоящую «чистку». Устаревшие бесполезные слова тщательно изгнаны. Можно быть уверенным, что французский язык тех русских, которые станут пользоваться слова-

рем Щербы, не будет иметь легкого привкуса плесени XVII и XVIII вв., являющегося достоянием говорящих по-французски иностранцев. Одним словом, в то время как большинство словарей являются настоящими «музеями древностей», словарь Щербы заслуживает названия «современного». Эта маленькая революция, как бы необходима она ни была, тем не менее многих удивит. Тот, кто изучает французский язык в пыли традиционных словарей, подумает, что уличил Щербу, тогда как он сам отстал. Вместо ненужных устарелых выражений введено множество новых слов, которые мы напрасно искали бы в других словарях. Руководствуясь в основном тем, что современному французу может понадобиться сказать его современнику, Щерба искусно подбирает все лексические элементы, пригодные для этой цели. Освободившееся место с пользой заполнено нововведениями.

Резюмируя вышесказанное, я должен сказать, что нахожу работу Щербы во всех отношениях превосходной. Разумеется, совершенств на свете нет, и как всякий серьезный труд она встретит серьезную критику, которая в деталях может оказаться справедливой. Однако нельзя подходить с общей меркой и к частным недостаткам, которые можно было бы найти в работе Щербы, и к ее теоретической и практической значимости. Что касается меня, то после моего знакомства с нею я решил защищать ее в случае надобности всем своим научным авторитетом.

Насколько я знаю, словарь Щербы будет выпущен в количестве всего 15 тыс. экземпляров. Имея некоторый опыт в предварительном учете потребления книги и зная, с другой стороны, необычайное стремление современных русских к знанию, я считаю эту цифру определенно недостаточной¹.

¹ Первое издание русско-французского словаря Л. В. Щербы вышло в 1936 г. тиражом 22 тыс. экземпляров. С тех пор словарь неоднократно переиздавался. Последнее, шестое, издание словаря вышло в 1957 г. (Л. В. Щ е р б а и М. И. М а т у с е в и ч, Русско-французский словарь, 6-е изд., М., 1957).— *Ред.*

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ В НЕМЕЦКИХ ДИАЛЕКТАХ

1. «Потенцированными» (усиленными) мы будем называть грамматические формы, которые подверглись фонетическому расширению или укреплению, противодействующему их ослаблению или редукции. Такое расширение и укрепление вызывается необходимостью поддержать, иногда усилить грамматическую или семантическую дифференциацию, которая нивелируется в результате ослабления. Таким образом, в результате потенцирования уточняются и совершенствуются грамматические средства языка.

В немецком литературном языке отмечены в небольшом числе такие потенцированные формы. Так, указательные местоимения в функции служебных слов (артиклей) подвергаются акцентному ослаблению; в сильном положении как местоимения они расширяются окончаниями *-en*, *-er* (по аналогии прилагательных); ср. артикли *des*, *den*, *der* — местоимения *dessen*, *denen*, *deren*, *derer*. Сходным образом потенцированное окончание имеет и вопросительное местоимение *wessen*, вытеснившее односложное срвнем. *wes*. Грамматической дифференциации служит потенцированная форма дат. падежа мн. числа 3-го лица *ihnen* (срвнем. *in*) в отличие от вин. падежа ед. числа муж. рода *ihn* (также срвнем. *in*) и жен. рода ед. и мн. числа 3-го лица *ihrer* (срвнем. *ir*) в отличие от жен. рода дат. падежа ед. числа *ihr* (также срвнем. *ir*).

Реже грамматические формы потенцируются при помощи префиксальных элементов. Так, акцентно-ослабленным предлогам противопоставляются расширенные наречия места, в прошлом тождественные с ними по форме; ср. предлоги *aus*, *auf*, *an*, *in* и др. — наречия *heraus* или *hinaus*, *herauf* или *hinauf*, *heran*, *hinein* (срвнем. наречие *in* — предлог *in*) и т. п.

Потенцированным является окончание 2-го лица ед. числа глаголов *-st*, распространившееся из настоящего времени на все глагольные формы. Оно образовалось в древневерхненемецком в результате переразложения из суффиксированного личного местоимения *-du*; ср. *nimis + du > nimist-du* «*du nimst*». В юго-западной группе немецких диалектов (швабско-алеманском, южнофранкском и пфальцском), где *-st > -št* (ср. *mišt* «*Mist*», *brušt* «*Brust*», *bišt* «*bist*»), конечное *-t* в окончании 2-го лица ед. числа в некоторых говорах снова отпадает, поскольку окончание *-š* является достаточно дифференцированной формой. Ср., например, эльз.: *nemš* «*nimst*», *maxš* «*machst*», *beš* «*bist*» и т. п. Явление это не фонетическое, а грамматическое и основано на таком же переразложении: ср. *bišt + du > biš-du* (тогда как по общему фонетическому закону *-št* на конце слова сохраняется: ср. эльз. *mešt* «*Mist*», *brušt* «*Brust*» и т. п.).

В результате такого же переразложения часто укрепляются суффиксы, которым угрожает в условиях редукции потеря смысловозначительного значения. Ср., например, в прилагательных *-ern* (из *-r + in*): *stei-*

ner, *gläsern* вместо срвнем. *steinin*, *glesin*; в существительных *-ner*, *-ler* (из *-n + er*, *-l + er*): *Schuldner*, *Häusler* и многие другие.

Лексически ограниченный случай потенцированной формы представляет *immer — immer mehr*. Слово *immer* «всегда», из срвнем. *ie + mēr*, само состоит из двух элементов: дрвнем. *io* > срвнем. *ie* «всегда» (ср. нвнем. *je*), расширенного усиливающим срвнем. *mēr* «mehr» («больше»). Редукция второго элемента сложного слова, потерявшего самостоятельное значение (срвнем. *iemer* > *immer* «всегда»), подсказала потенцированную форму *immer mehr* с вторичным добавлением того же *mehr*. В этом случае существенное значение имела тенденция к эмоциональной выразительности, эмфатическое усиление, связанное со значением этого слова.

С потенцированными формами соприкасаются отмеченные Жильероном примеры фонетического укрепления укороченных в результате редукции односложных слов, обозначенные самим Жильероном образным выражением — «терапевтика слов» (*thérapeutique verbale*)¹. Так, вместо «чрезмерно укороченного» *es* (*ep*, *ef*) «пчела» (из лат. *apis*) входит в употребление расширенное уменьшительным суффиксом — *abeille* (из *apicula*). С другой стороны, в словах подобного типа может сохраниться конечный согласный, обычно отпадающий по фонетическому закону: ср. франц. *coq* «петух», *cinq* «пять», *sept* «семь» и др. Грамматическая аналогия, наличие полных вариантов перед гласным следующего слова (так называемое «связывание» — *liaison*), наконец, влияние литературного языка, ориентирующегося на написание или на латинскую этимологию слова, в отдельных случаях объясняют это явление. Реже подобное расширение происходит за счет препозиции, например в мн. числе *zuo* «глаза» вместо *yö*, из сочетаний типа *les yeux*².

Общим для всех перечисленных примеров является влияние значения слова или значения грамматической формы слова на сохранение или укрепление его фонетического состава. Вопрос этот был поставлен в теоретической форме в известных трудах В. Горна, который обнаружил в общих условиях редукции более значительную сопротивляемость функционально значимых элементов слова³. Менее убедительной представляется новейшая теория П. Даль, которая пыталась объяснить некоторые из рассматриваемых ниже диалектных явлений как результат «тенденций к сохранению системы» (*systemerhaltende Tendenzen*)⁴. На самом деле в этих случаях речь идет не о сохранении «системы», тем менее о сохранении абстрактного структурного принципа системы (так называемого «синтетического» строя в отличие от «аналитического»), а о сохранении и фонетическом укреплении отдельных языковых форм, когда они являются носителями грамматического значения, иными словами об устранении «омонимизма» (или «нейтрализации») грамматических элементов в тех случаях, когда они способствуют дифференциации важных для языкового общения смысловых различий.

2. Общей тенденцией склонения существительных в немецком языке и его диалектах является унификация флективных различий между падежами и на этой основе более или менее систематическое формальное противопоставление множественного числа единственному. Функция различения падежей переходит в основном к местоименным показателям при существительных или, при отсутствии таковых, к местоименному

¹ См. J. Gilliéron, *Pathologie et thérapeutique verbales*: 1—2, Neuveville, 1915; 3—4, Paris, 1921.

² См. A. Dauzat, *La géographie linguistique*, 2-me partie, ch. 2, Paris, 1922.

³ См. W. Horn, *Sprachkörper und Sprachfunktion*, Berlin, 1921 («Palaestra», № 135); ср. его же, *Laut und Leben*, bearb. von M. Lehnert, Bd. II, Berlin, 1954, стр. 1170—1193.

⁴ I. Dal, *Systemerhaltende Tendenzen in den deutschen Mundarten*, «Wirkendes Wort», Jg. 6, Hf. 3, 1956, стр. 138—144.

(«сильному») склонению прилагательных. Кроме того, широкое развитие получила система предлогов, служащих основными показателями синтаксических связей имени существительного. Тенденция к унификации наличествует во многих диалектах и в местоименном склонении¹. Однако дат. падеж ед. и мн. числа, который может употребляться без предлогов как падеж косвенного дополнения, сохраняет довольно широко в сильном склонении дифференцирующие его окончания (ед. число муж. и ср. рода *-e*, мн. число муж. и ср. рода *-en*). В зависимости от фонетических особенностей диалекта эти окончания, в особенности в верхненемецком, могут подвергнуться дальнейшей редукции (отпадение конечного *-e*, отпадение *-n*).

В баварском и австрийском наречии, где дат. и вин. падежи ед. числа фонетически совпали в местоименном склонении в общей форме на *-n* (*den*, *den* > *den*), смешение дат. и вин. падежей наблюдается и во мн. числе в предложных конструкциях типа *mit di šuv* «mit die Schuhe» вместо «mit den Schuhen». Реакцией против такого смешения является так называемый «усиленный дательный» (*Kraftdativ*), имеющий форму *-nā* или *-vn* в зависимости от диалекта (из *-en* + *en*). В сильном склонении обычно сохраняется простое *-n*; ср. им. падеж ед. числа *fiṣ* «Fisch» — мн. числа *fiš* «Fische», дат. падеж мн. числа *fišn*; им. падеж ед. числа *blīg* «Blick» — мн. числа *blik* «Blicke», дат. падеж мн. числа *blikn* (с ассимиляцией *-n*). При наличии слабого мн. числа *-en*, имеющего в баварско-австрийском чрезвычайно широкое употребление (нередко с распространением окончания *-en* и на им. падеж ед. числа), в дат. падеже мн. числа обычно наличествует потенцированная форма. Ср. им. падеж ед. числа *bušn* «Busch» — мн. числа *bušn* «Busche» (*-en*), дат. падеж мн. числа *bušvn* (из *buš* + *en* + *en*); им. падеж ед. числа *krouxn* «Knochen» — мн. числа *krouxn* (*-en*), дат. падеж мн. числа *krouxvn* (из *knoche* + *en* + *en*). В случае ассимиляции *-en* предшествующему согласному потенцированное окончание *-n* присоединяется к ассимилированному *-n*, так что окончание *-en* оказывается утроенным. Ср. им. падеж ед. и мн. числа *haufm* «Haufen» (*-en*) — дат. падеж мн. числа *haufmvn* (*-en* + *en* + *en*); им. падеж ед. числа *berx* «Berg» — мн. числа *beru* «Berge» (*-en*), дат. падеж мн. числа *beruvn* (*-en* + *en* + *en*)².

Потенцированный дат. падеж мн. числа встречается и в некоторых восточнореннемецких диалектах, где также наблюдается смешение дат. и вин. падежей ед. числа в местоименном склонении. Он употребляется в особенности в предложных оборотах, которым более всего угрожало такое смешение. Ср. в западнотюрингенском (Зальцунген): *an dn hārna* «an den Haaren», *an dn ornā* «an den Ohren» и т. п. (*-en* + *en* > *-nā*)³.

3. При отпадении окончания *-e* в дат. падеже ед. числа муж. и ср. рода в качестве усиленной формы в южнонемецких диалектах (в эльзасском, швейцарском, в некоторых баварских и австрийских говорах) получило распространение префигированное *in* (или *an*), представляющее по своему происхождению предлог, полностью утративший свое лексическое значение. Ср. в эльзасском дат. падеж ед. числа муж. рода *em frent* «im-Freund» (= «dem Freunde»), ср. рода *em dorf* «im Dorf» (= «dem Dorfe»); также жен. рода *en dər brušt* «in der Brust» (= «der Brust»); мн. число мужского, среднего и женского рода *en dā frenda* «in den Freunden» (= «den Freunden»), *en dā dərferā* «in den Dörfern» (= «den Dörfern»), *en dā breštā* (= «in den Brüsten»).

¹ См. С. А. Миرون, Некоторые вопросы сравнительной морфологии немецких диалектов (Система склонения), ВЯ, 1957, № 3, стр. 20—30.

² См. F. W. Nagl, Grammatische Analyse des Niederösterreichischen Dialekts, Wien, 1886, стр. 175—176, 395 (говор Нойенкирхена в Нижней Австрии). Ср.: A. Gebhardt, Grammatik der Nürnberger Mundart, Leipzig, 1907, стр. 249; L. Sütterlin, Neuhochdeutsche Grammatik, München, 1924, стр. 342; G. Weitzenböck, Die Mundart des Innviertels..., Halle, 1942, стр. 25 и сл.

³ L. Hertel, Die Salzunger Mundart, Leipzig, 1888, стр. 92.

Соответственно этому в диалектно окрашенной литературной речи эльзасец склонен говорить: *ich hab'es im Vater gegeben, ich hab' es in der Mutter gesagt, er hat es in den Leuten gesagt*¹.

Этот оборот развился в результате фонетического совпадения редуцированной формы дат. падежа ед. числа муж. и ср. рода определенного артикля *em* «den» и *e-m* «in dem» (из срвнем. *inme*), а также дат. падежа ед. числа муж. и ср. рода неопределенного артикля *eme* «einem» (из срвнем. *eineme*) и *e-me* «in einem», дат. падежа ед. числа жен. рода *enre* «einer» (из срвнем. *einere*) и *en-re* «in einer». В соответствии с этим формы *em frent* «dem Freunde», *em dorpf* «dem Dorfe» были переосмыслены как «in dem Freund», «in dem Dorf» с дальнейшим распространением на формы женского рода и множественного числа; формы *eme mǎn* «einem Manne» — как *e-me mǎn* «in einem Manne»; формы *enre fr̥i* «einer Frau» — как *en-re fr̥i* «in einer Frau». Ср. в диалекте Кольмар: *i hā-s eme-n ārmə mǎn gā* «ich habe es (in) einem armen Mann gegeben», *i hā-s enre-n ārme fr̥i gā* «ich habe es (in) einer armen Frau gegeben».

Как четко дифференцированная форма, этот новый аналитический оборот употребляется во всех случаях, когда дат. падеж не имеет при себе другого предлога, т. е. лишен формальной характеристики (в швейцарских диалектах в особенности рядом с числительным, артиклем, личным, указательным, вопросительным местоимением), содействуя, в частности, дифференциации дат. и вин. падежа в случаях их морфологического совпадения (в личных местоимениях). Ср. в диалекте Фрейбурга: дат. падеж *i-m̃ər* «mir» — вин. падеж *m̃ər*, дат. падеж *i-d̃ər* «dir» — вин. падеж *d̃ər*, дат. падеж *in-im* «ihm» — вин. падеж *im*, дат. падеж *i-ñs* «uns» — вин. падеж *ñs*, дат. падеж *i-ñx* «euch» — вин. падеж *ñx*².

Наличие сходных тенденций развития аналитического дат. падежа ед. числа в территориально не связанных между собою южнонемецких диалектах подтверждает закономерный характер этих тенденций к укреплению падежной формы дат. падежа в тех случаях, когда она употребляется как косвенное дополнение без предлогов и вместе с тем утратила свои старые морфологические признаки.

4. Существенное значение для развития местоимений имеет различие сильных и слабых форм, из которых последние, в особенности в южнонемецком, подвергаются гораздо более значительной редукции, чем в литературном языке. Сильные формы, в отличие от слабых, могут быть расширены, как и в литературном языке, окончаниями *-en*, реже *-er*, которые в разных диалектах имеют различное распространение. Ср., например, в пфальцском: *ēnə* «ihnen», *dänə* «denen»; в швейцарском (Керенцен): *inā* «ihnen», *denā* «denen», *irā* «ihren», *dērā* «deren» и т. п.

Фонетическому укреплению «чрезмерно укороченных» местоименных форм способствует в некоторых швейцарских диалектах перераспределение, в результате которого от аналитического дат. падежа с предлогом *in (an)* образовались расширенные формы местоимений с добавочным элементом *n-* перед гласными; ср. в говоре Фрейбурга: *ñs* «uns» (из *in + ũs*), *ñx* «euch» (из *in + ōx*); в слабом положении также *ñm* «ihm» (из *in + im*), *ñə* «ihn», «ihnen» (из *in + inen*)³.

К расширенным формам указательных местоимений относится *dieser* «этот», которое было образовано в древнемецком из старого указательного местоимения *der* с добавочной (усилительной) указательной частицей *-se*. Ср. дрвнем. *dese* (из *der + se*), позднее *deser* «dieser». В диалектах

¹ H. Lienhart, Laut- und Flexionslehre der Mundart des mittleren Zornales im Elsass, Strassburg, 1891, стр. 43; V. Henry, Le dialecte alaman de Colmar (Haute Alsace) en 1870, Paris, 1900, стр. 70.

² W. Henzen, Die deutsche Freiburger Mundart, Frauenfeld, 1927, стр. 196—197.

³ Там же, стр. 197.

употребление *dieser* в настоящем времени ограничено главным образом нижненемецким и восточносредненемецким; в большинстве других верхненемецких диалектов в значении «этот» сохранилась сильная форма старого указательного местоимения *der*, расширенная в случаях смыслового выделения добавочными указательными наречиями или частицами. Ср. в говоре Оттвейлера (южнотюрингский диалект): *dēä hei* «der hier», *dēä dō* «der da», *dēä dāt* «der dort»¹; в южноавстрийском (Пернегг, Каринтия): *dər dō* «der da» (*dr pūä dō* «dieser Bube da»); при усилении — иногда с удвоением: *der dādō* «der da-da» и даже с утроением: *dōstədō dō* «das-da da-da»². В сфере культурного влияния французского языка (например, в Лотарингии) в качестве усилительной частицы употребляется франц. *là* (ср. *celui-là* «этот»). Ср. в говоре Фалькенберга: *dər lā* «der da» или с удвоением *dər lā-la* «dieser»; *dər dōrt* «der dort» («jener») или *dər lōrt* (контаминация *lā + dort*)³.

5. Употребление личных местоимений при глаголе становится обязательным в новонемецком языке с конца древневерхненемецкого периода в связи с редукцией и фонетическим смещением первоначально дифференцированных глагольных окончаний. Ср. в современном языке: *wir lieben* — *sie lieben*, *wir liebten* — *sie liebten*, *ich gab* — *er gab*, *ich gäbe* — *er gäbe* и др. При этом для дальнейшего развития глагольных окончаний, как и самих местоимений, существенное значение получает широко распространенное (в особенности в разговорной речи, в частности и в диалектах) инверсивное энклитическое употребление личных местоимений, связанное не только с ослаблением, но нередко и с фонетической ассимиляцией. Например, в гессенском диалекте: *nem-ic* «nehme ich», *gēsīä* «gehst du», *gewēm* «geben wir», *hodr* «habt ihr» и т. п. В результате подобной ассимиляции с последующим переразложением местоимение мн. числа 1-го лица *wir* повсеместно в верхненемецких диалектах приняло форму *mir*; ср. *gēn + wir* «gehen wir» > *gēm* > *gē(n) + mir* > *mir gēn* «wir gehen». Сходным образом на более ограниченной территории мн. число 2-го лица *ihr* получает форму *dir*; ср. *gēt + ir* «geht ihr» > *gēdr* > *gēd + dir*, *dir gēd* «ihr geht». В обоих случаях этому развитию содействовала тенденция к грамматической унификации супплетивных форм мн. числа по типу ед. числа *mir*, *mich* — *dir*, *dich*.

В приведенных выше энклитических формах *gēm* «gehen wir», *hodr* «habt ihr» и др. ослабленное в фонетическом и в лексическом отношении личное местоимение в сущности по своему грамматическому характеру приближается к морфологическому показателю лица при глаголе, к глагольной морфеме. Мы могли бы рассматривать его как потенцированное личное окончание, фонетически расширенное и более дифференцированное в грамматическом отношении, чем старые ослабленные и обобщенные глагольные окончания *-(e)*, *-(e)(n)*, которые подверглись в диалектах еще большей редукции, чем в литературном языке. Однако существование соотносительных форм того же значения без суффиксированных местоименных окончаний в случаях постановки личного местоимения перед глаголом, т. е. *šraibste* и *du šraibst*, *gēm* и *mir gē(n)*, *hodr* и *ir(dir) hot* (а не *du šraibstə*, *mir gēm*, *ir hodr* и т. п.), свидетельствует о том, что процесс грамматизации энклитических местоимений еще не завершился полностью и что для говорящего на диалекте они продолжают оставаться ослабленными местоимениями, а не являются простыми глагольными окончаниями.

¹ K. Scholl, Die Mundarten des Kreises Ottweiler, Strassburg, 1913, стр. 74.

² P. Lessiak, Die Mundart von Pernegg in Kärnten, «Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXVIII, Hf. 1, 1903, стр. 197.

³ N. Tarral, Laut- und Formenlehre des Mundart des Kantons Falkenberg in Lothringen, Strassburg, 1903, стр. 102.

Иначе обстоит дело в баварских и австрийских диалектах в отношении глагольного окончания 2-го лица мн. числа, которое имеет здесь потенцированную форму *-ts(-ds)*, образовавшуюся через присоединение к обычному окончанию 2-го лица мн. числа *-t* энклитического местоимения *es* в ослабленной форме *-s*. Местоимение *es* представляет двойственное число 2-го лица (срвнем. *ēz*), заменившее в баварско-австрийском наречии мн. число *ihr* (срвнем. *ir*). Ср. 2-е лицо мн. числа *šraits* «(ihr) schreit», *drōkts* «(ihr) traget», *gēds* «(ihr) geht» и др. На полную грамматизацию потенцированного окончания *-ts* указывает его обязательный характер; хотя форма эта может употребляться и без личного местоимения, однако в процессе ее развития в личное окончание возникает потребность во вторичном присоединении личного местоимения; так в особенности в препозиции: *es gepts*, но также иногда и в энклизе: *gepts-es*¹.

Значительно более ограниченное распространение имеет это явление в 1-м лице мн. числа. Оно отмечено, например, в южноавстрийском говоре Пернегга, где энклитическое местоимение превратилось в глагольное окончание *m̄* рядом с самостоятельной формой того же местоимения *wir* в начальном положении: *wir sogm̄* «wir sagen», *wir ɔrwatm̄* «wir arbeiten»; и здесь возможно энклитическое *m̄*, вторично присоединяющееся как личное местоимение к тождественному с ним по происхождению, грамматизованному окончанию мн. числа 1-го лица *m̄*; ср. *kherm̄ m̄* (или *kherm̄m̄*) *aufn* «gehören wir hinauf?». При логическом выделении и эмфазе отмечено даже тройное *wir*: *kherm̄m̄ wir ā aufn* «gehören wir auch hinauf?»².

6. Иным способом укрепляется окончание настоящего времени ед. числа 1-го лица *-e*. В большинстве западносредненемецких и южнонемецких диалектов, в отличие от литературного языка, конечное *-e* по общему фонетическому правилу отпадает. Ср., например, в швабском *sey* «singe», *maχ* «mache», *tzoŋ* «Zunge», *gešd* «Gäste» и др. Однако в значительной части западнонемецких диалектов (среднефранкский, нижнегессенский, верхнегессенский и швейцарский) форма 1-го лица укрепляется аналогичным распространением окончания *-n*, *-en*, свойственного первоначально небольшой группе так называемых атематических глаголов на *-mī*. В древневерхненемецком, кроме 1-го лица наст. времени *stām* (*stēm*) «stehe», *tuom* «tue», *bim* «bin» (ср. гот. *im*), к этой группе принадлежит неясное по своей этимологии *gām* (*gēm*) «gehe»; в конце древневерхненемецкого периода к ним примкнули стяженные формы 1-го лица ед. числа наст. времени *hān* «habe» (из дрвнем. *habēm*) и *lān* «lasse».

Кроме того, в древневерхненемецком языке окончания *-m* имеют все слабые глаголы II и III группы с суффиксами *ō*, *ē*, которые присоединяют к своей основе окончания *-m* в 1-м лице ед. числа наст. времени индикатива в отличие от формы 1-го лица ед. числа наст. времени опатива без *-m*; ср. дрнем. *lobōm* «lobe», *lebēm* «lebe» (опатив наст. времени *lobo*, *lebe*).

В языке позднего древневерхненемецкого периода рейнскофранкские и среднефранкские тексты обнаруживают аналогическое распространение окончания ед. числа наст. времени *-ōn* (с переходом конечного *-m > -n*) и на другие группы глаголов — как сильных, так и слабых: например, *sprehon* «spreche», *behalton* «behalte», *bekennon* «bekenne», *lēron* «lehre» и др.³ В средневерхненемецком в ряде диалектов это окончание прочно

¹ См. A. P f a l z, Suffigierung der Personalpronomina im Donaubairischen, «Beitr. zur Kunde der bayerisch-österreichischen Mundarten» («Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, Bd. 190»), 1918, стр. 4—5.

² P. L e s s i a k, указ. соч., стр. 204; A. P f a l z, указ. соч., стр. 5.

³ См. W. B r a u n e, Althochdeutsche Grammatik, 8-e Aufl., bearb. von W. Mitzka, Halle, 1955, § 305, примеч. 4.

закрепилось, как о том свидетельствуют рифмы. Ср. *lesen* «lese»: *gewesen*; *niederfallen* «falle»: *allen*; *kennen* «kenne»: *genennen*; *sagen* «sage»: *belagen* и др.¹

В современных верхненемецких диалектах в окончании наст. времени 1-го лица ед. числа *-en* конечное *-n* сохраняется или отпадает по общим фонетическим правилам данного диалекта. Ср. в лотарингском (Фалькенберг): *werfən* «werfe», *bruxən* «brauche»; *dūn* «tue», *geu* «gebe» и др.; в гессенском: *drinkə* «trinke», *khāfə* «kaufe»; *fōrn* «fahre», *šbīrn* «spüre» (с сохранением *-n* после *r* по общему правилу: ср. *hōrn* «Haare» и т. п.); *hon*, *hun* «habe»; *gēn* «gehe», *dun* «tue» (*-n* сохраняется после гласного в односложных формах)²; в швейцарском (Керенцен): *gibā* «gebe», *hassā* «hasse», *gū* «gehe», *lū* «lasse» и т. п.³

Следовательно, в таких формах, как наст. время 1-го лица гессенск. *drinkə* «trinke», *khāfə* «kaufe» и т. п., по видимости сохранилось окончание *-e*, как в литературном языке, несмотря на фонетически закономерное отпадение конечного *-e* в прочих случаях, характерное для тех же диалектов (ср. гессенск. *juy* «Junge», *gens* «Gänse» и др.). Однако генетически эти формы между собой не связаны: скорее можно говорить здесь о своеобразном восстановлении («регенерации») грамматического признака, укрепленного аналогическим распространением форм на *-en*.

В среднефранкском окончание 1-го лица ед. числа *-en* распространилось и на прошедшее. В севернонемецких говорах (Эйфель) оно встречается в глаголах всех типов; ср. *līfən* «liefe», *lāgən* «lag», *kōntən* «konnte», *woarən* «war», *hadn* «hatte» и др.⁴ В рипуарском (Берг) формы прошедшего с *-en* ограничены слабыми глаголами, притом лишь в случаях отсутствия или устранения чередования гласных (так называемого обратного умлаута), когда по фонетическим особенностям этого диалекта (редукция конечного *-e* и отпадение *-t* на конце слова после шумного согласного) прошедшее в 1-м лице должно было совпасть с настоящим. Ср. *kraxdən* «krachte», *höptən* «hüpfte» (прошедшее *kraxt'*, *höpt'* > *krax*, *höp* имело бы одинаковую форму с настоящим); *špoltən* «spülte» (или *špölt* с обратным умлаутом), *zōkdən* «suchte» (или *zōk*), *jlōfdən* «glaubte» (или *jlōf*) и др.⁵ Таким образом, грамматическая аналогия и здесь подчиняется общей тенденции развития морфологически дифференцированной формы.

Как известно, окончание *-mi* во многих индоевропейских языках получило более или менее широкое распространение за первоначальные границы небольшой группы атематических глаголов (в индо-иранском, в греческих диалектах, в армянском, в древнеирландском, в некоторых славянских языках). Распространение это было вызвано, однако, не механическим воздействием небольшой группы слов, хотя бы и очень употребительных, как думал К. Бругман⁶, а внутренней целесообразностью процесса формообразования: большей фонетической стойкостью этого окончания по сравнению с «незащищенным» индоевропейским гласным *o*, а следовательно, его значением для функциональной дифференциации формы, как своего рода «потенцированного окончания»⁷.

¹ См.: K. Weinhold, *Mittelhochdeutsche Grammatik*, 2-te Ausg., Paderborn, 1883, стр. 388, 426; V. Michels, *Mittelhochdeutsches Elementarbuch*, Heidelberg, 1921, стр. 328.

² H. Reiss, *Die Mundarten des Grossherzogtums Hessen*, «Zeitschr. für deutsche Mundarten», Jg. 1909, III. 4, стр. 115.

³ J. Winteler, *Die Kerenzler Mundart des Kantons Glarus...*, Leipzig und Heidelberg, 1876, стр. 159.

⁴ H. Reiss, *Die deutsche Mundartdichtung*, Leipzig, 1915, стр. 48.

⁵ R. H. Buber, *Untersuchungen zur Dialektgeographie des Bergischen Landes zwischen Agger und Dhünn*, Marburg, 1935, стр. 118.

⁶ H. Osthoff, K. Brugmann, *Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen*, Tl. I, Leipzig, 1878, стр. 82.

⁷ Ср. В. М. Жирмунский, *Внутренние законы развития языка и проблема грамматической аналогии*, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, 1954.

7. С «регенерацией» формообразующего признака на основе грамматической аналогии мы имеем дело в южнонемецких формах опатива прошедшего времени. Признаком этой формы в древневерхненемецком был суффикс *-ī*, который в сильных глаголах II—VI ряда вызывал умлаут (ср. *würfe* < дрвнем. *wurfi*, *gäbe* < дрвнем. *gābi* и т. п.). Редукция неударного *i* > *e* в средневерхненемецком, а в дальнейшем отпадение конечного *-e* в большинстве западносредненемецких и южнонемецких диалектов лишили эту глагольную форму ее дифференцирующего показателя. В слабых глаголах формы прошедшего опатива и индикатива полностью совпали (ср. *suchte* из дрвнем. индикатива прошедшего *suohtha* и из опатива прошедшего *suohiti*) и вышли из употребления; в сильных — только формы с умлаутом сохранили четкую морфологическую характеристику и потому оказались более устойчивыми. В связи с разрушением флексии широкое распространение в диалектах получила аналитическая форма опатива прошедшего с глаголом *tun*: *ich täte singen*, *ich täte schreiben* и т. п. Обычно она может быть образована от всех глаголов, даже при наличии остатков сильного опатива, который вытесняется вследствие противоречивости и неустойчивости своего образования. Наиболее прочными и употребительными из флексивных опативов остаются повсюду отчетливо выраженные формы вспомогательных и служебных глаголов: *wäre*, *täte*, *hätte*, *würde* и модальные *dürfte*, *möchte*, *könnte*, *müsste* и др. Последние, образованные по претеритопрезентному типу, обычно объединяют умлаут с суффиксом прошедшего времени *-t* (ср. *dürfte* < дрвнем. *durfti*).

Однако в южнонемецких и территориально прилегающих к ним средневерхненемецких диалектах, полностью утративших простое прошедшее, форма слабого опатива прошедшего частично сохранилась и даже распространилась на сильные глаголы, в результате чего эта модальная категория получила новый, четко дифференцированный морфологический признак *-t*. Проводниками этого аналогического процесса явились широко употребительные флексивные опативы модальных глаголов, издавна объединявшие суффикс прошедшего с чередованием гласного и умлаутом. По типу *dürft* и *müsst* могли образоваться *gäbt*, *nämt* и т. п. Ср. в восточнопфальцском (окрестности Гейдельберга): *dēpft* «dürfte», *mēst* «müsste», *mēkt* «möchte» — *gēbt* «gäbe», *khēmt* «kāme», *gēnt* «ginge», *lēkt* «läge» и др.¹

Слабые опативы прошедшего от сильных глаголов встречаются двух родов: первые образуются от основы презенса без чередования гласных, представляя как бы особый случай перехода сильных глаголов в слабые в прошедшем времени; вторые присоединяют суффикс *-t* к сильной форме старого опатива прошедшего с обычным аблаутом и умлаутом и являются, таким образом (подобно претеритопрезентным глаголам), своеобразной контаминацией способов образования сильного и слабого прошедшего («смешанные» формы). Ср. в баварском: 1) *gāb* «gäbe» — опатив сильного спряжения (из срвнем. *gabe*, с переходом срвнем. *a* > бав. *ā*); 2) *gēbat* — опатив слабого спряжения (из срвнем. **gebe-te* от *geben* с суффиксом слабого спряжения *-t*); 3) *gābat* — опатив смешанного спряжения (из срвнем. **ga be-te* с суффиксом слабого спряжения *-t*). Для баварско-австрийских диалектов характерна вторая форма, которая может быть образована почти от всех сильных глаголов по типу слабых и вытесняет лексически более ограниченную группу сильных и смешанных опативов. Прочность суффикса в баварско-австрийском обусловлена наличием гласного элемента перед *-t* (*-vd*, *-et*), который восходит к дрвнем. *-ōt*, *-ēt* слабых глаголов II—III группы (дрвнем. опатив прош. времени *lobōti* «lobte», *lebēti* «lebte»). Ср. в нижнеавстрийском (Нейенкирхен): опатив прош.

¹ Ср. Ph. Lenz, Die Flexion des Verbums im Handschuhsheimer Dialekt, «Zeitschr. für hochdeutsche Mundarten», Bd. I, Hf. 1—2, Heidelberg, 1900, стр. 17 и сл.

времени *lēiwd* «lebte» (= «würde leben»); *šikvd* «schickte» (= «würde schicken») и т. п.¹. В некоторых севернобаварских говорах это окончание опитатива еще расширено обычным для фонетики этого диалекта неорганическим *r* перед *-t*; ср. *diürfart* «dürfte», *maisart* «müsste» — также *nāmart* «nähme» (срвнем. *æ* > бав. *ā*), *gābart* «gäbe» и т. д.

Другой тип потенцированного опитатива прошедшего на *-t* обнаруживают эльзасские говоры. Здесь рядом с обычным *-t* отмечены расширенные окончания *-tit*, *-tik*, *-tik*: *wertit* (*wertikt*) «würde», *dərftit* (*dərftikt*) «dürfte»; так же от слабых глаголов: *wenštit* «wünschte», *maintik* «meinte», *hērtit* «hörte». Происхождение этой формы неясно. Ее пытались объяснить как суффиговое *täte*, что представляется мало вероятным. Скорее можно видеть в этом окончании результат переразложения в слабых глаголах, оканчивающихся на *t(d)*, типа *rettete* (**reddidi*), *richtete* (**richtiti*)². Существенной во всяком случае является тенденция создать дифференцированный, прочный в фонетическом отношении показатель модальной формы, «регенерация» морфологического признака при помощи потенцированного окончания.

8. Потенцированные словообразовательные суффиксы имеют широкое распространение при образовании уменьшительных в связи с эмоционально-экспрессивным характером этой грамматической категории (по типу *immer mehr*).

В древних германских языках, судя по письменным памятникам, уменьшительные употреблялись редко. В областях немецкого языка в этой функции встречались германские суффиксы *-in* (ср. дрвнем. *magat-in* «Mädchen»), *-ilo* (в собственных именах типа *Hunilo* — жен. род. *Hildila*), *-iko* (дрннем. *manniko*) — с верхненемецким передвижением *-icho* (дрвнем. *Gibicho*). Согласно теории Ф. Вреде³, источником для развития уменьшительных, получивших в дальнейшем в немецком языке характер почти универсальной грамматической формы существительных, послужили встречающиеся во всех германских языках уменьшительно-ласкательные образования от личных имен типа гот. *Attila* (буквально «бабушка»), *Wulfila* (буквально «волчонок»), дрвнем. *Ezzilo*, *Hunilo*, дрннем. *Attiko*, *Huniko* и т. п. Ближайшим образом уменьшительно-ласкательный суффикс переносится на имена нарицательные с личным значением, в особенности — в обращении: гот. *barnilo* «Kindchen» («дитяtko»), *magula* «Knäblein»; дрвнем. *scalhilo* «Knechtlein», *chizzilla* «Zicklein»; *annihho* «Grossvaterlein», *annihha* «Grossmütterlein» и т. п. Дальнейшее распространение этого суффикса на неодушевленные предметы Ф. Вреде представляет себе как результат своего рода эмоциональной персонификации. Однако скорее следует предполагать обратный процесс: потерю эмоциональной выразительности первоначально ласкательными формами и тем самым — возможность их более широкой грамматизации в абстрактном значении уменьшительных. Существенную роль в этом процессе сыграли новые, специфические для немецкого языка потенцированные уменьшительные суффиксы *il + in* (срвнем. *-lin* «-lein»), *ik + in* (срвнем. *-ichen* «-chen»), которые и становятся в дальнейшем продуктивным средством выражения грамматической категории уменьшительных. Изолированные формы со старыми простыми суффиксами в большинстве случаев потеряли свое уменьшительное значение; ср. *Stengel* (дрвнем. *stengil* от *stanga*), *Säckel* (дрвнем.

¹ См.: A. Schönbach, Ueber den Conjunktiv Praeteriti im Bairisch-Oesterreichischen, «Beitr. zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXIV, Hf. 1, 1899; K. J. Acki, Das starke Praeteritum in den Mundarten des hochdeutschen Sprachgebiets, «Beitr. zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXXIV, Hf. 3, 1909.

² K. J. Acki, указ. соч., стр. 222; V. Henry, указ. соч., стр. 101.

³ F. Wrede, Die Diminutiva im Deutschen, «Deutsche Dialektgeographie», Hf. I, Marburg, 1908.

seckil), *Knöchel* (срвнем. *knöchel* от *knoche* «Кноchen»); ннем. *swölk* «Schwalbe», *bäseke* «Beere» и мн. др.¹

В диалектах, однако, встречаются следы старого употребления. Ср., например, в швейцарском (Фрейбург): уменьшительные на *-l* — *jäckl* (от *Jakob*), *tönl* (от *Anton*), *büäbl* (от *buab* «Bube») рядом с господствующей формой *-li* (из срвнем. *-lin*) — *bümlī* «Bäumlein», *blätli* «Blättlein» и т. п.; уменьшительные на *-i* — *näsi* «Näschen», *hüsi* «Häuschen», *atti* «Vater» («Väterchen»), *jäkki* (от *Jakob*), *anī* (от *Anne*) и мн. др.

Особенно богаты уменьшительными южнонемецкие диалекты. Универсальная употребительность уменьшительных форм вместо основной формы существительного связана здесь во многих случаях с утратой ими эмоционально-экспрессивного значения и с образованием новых потенцированных суффиксов, которые становятся преимущественным средством выражения этого значения. Так, в австрийских диалектах рядом со старым суффиксом *-l* (срвнем. *-lin*), утратившим свою первоначальную выразительность, а в ряде слов и само уменьшительное значение, широкую продуктивность получил расширенный суффикс *-erl* (с вокализацией *-r*), возникший в результате переразложения от слов, оканчивавшихся на *-er* (типа *Wasserl*). Как сообщает исследователь говора Мархфельда (около Вены) проф. А. Пфальц, слово *wāygl* (т. е. *Wagen* + *lein*) вовсе не обозначает «маленькую повозку» («Wägelchen»), но «возок для людей и легкого багажа» («leichter Wagen»); маленькую повозку обозначают *wāygl* (т. е. *wagen* + *erl*). Колеса любой повозки, в частности колеса локомотива, обозначаются во мн. числе *rāln* (т. е. *rädlein*); уменьшительным служит новая расширенная форма *rādrl* (т. е. *räderl*). Новая уменьшительная форма обозначает предметы «маленькие, изящные, миловидные», старая — «не слишком большие, часто с побочным уничижительным значением». Ср. *būv* «Bube», *büwü* «Büblein» — с уничижительным значением («verächtlicher kleiner Bube»), *büwul* «Büberl» «милый мальчуган» («herziger kleiner Kerl»); *wāi* «Weib», *wāiwü* «Weiblein» («самка животного»), *waiwul* «Weiberl» («женушка») и т. п.²

Сходным образом в алеманских диалектах носителем экспрессивного значения становится новый потенцированный суффикс *-äle*, швейц. *-äli* (из *-el* + *lin*), возникший в результате переразложения от слов, оканчивающихся на *-el* (тип срвнем. *vogel-lin*)³. При этом в швейцарском старые уменьшительные, получившие чрезвычайно широкое распространение, в ряде случаев вытеснили основные формы слова, утратив при этом не только эмоциональную выразительность, но и свое специфическое значение. Так, в говоре Керенцен *hämmpli* («Hemdlein») означает то же, что *hämmp* («Hemd»), *büäxli* «Büchlein» — то же, что *büäx* «Buch» и т. д. Уменьшительными являются *hämmpäli*, *büäxäli* и т. п. (срвнем. *-el*, *-lin*)⁴. Поэтому в известном стихотворении Гете, представляющем стилизованное подражание швейцарской народной песне:

Uf'm Bergli bin i g'sässe,
Ia de Vögle zugeschaut,
Hänt gesunge, hänt gesprunge,
Hänt's Nestli gebaut...

слова *Bergli*, *Vögle*, *Nestli*, с точки зрения швейцарского народного языка, по своему значению эквивалентны *Berg*, *Vogel*, *Nest*. Как эмоционально-выразительные ласкательные формы народный язык в настоящее время употребляет в таких случаях новообразования с чрезвычайно продуктивным расширенным суффиксом *-äli*: *neštali*, *bergäli* и т. п.

¹ W. H e n z e n, Deutsche Wortbildung, 2-e Aufl., Tübingen, 1957, стр. 140—152.

² A. P f a l z, Die Mundart des Marchfelds, Wien, 1903, стр. 10.

³ См. F. V e i t, Zur Diminutivbildung im Schwäbischen, «Beitr. zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXV, Hf. 1, 1909.

⁴ J. W i n t e l e r, указ. соч., стр. 213.

Сходную эмоциональную окраску сохранили в разговорной форме литературного языка (преимущественно в средненемецкой области) уменьшительные с двойным (потенцированным) суффиксом *-elchen*, появившиеся в результате перераспределения от слов типа *Vögelchen*; ср. *Küchelchen*, *Bröckelchen*, *Wägelchen*, *Mädelchen* и т. п. (в особенности в «детском языке»)¹.

9. Мы объединили под названием «потенцированные формы» очень широкий и разнообразный круг явлений морфологии немецкого языка и его местных диалектов. Флективные формы слова могут быть расширены и укреплены в результате удвоения («усиленный дательный» *-en + en*), переразложения (2-е лицо ед. числа *-st*), суффиксации энклитических частиц (*der + se*, *der da*, *der la*), служебных слов (личные окончания глагола в баварско-австрийском), грамматической аналогии различного типа. Аналогический характер имеют присоединение дополнительного окончания (*-en*, *-er* в местоимениях), распространение более стойкого окончания (паст. время ед. числа 1-го лица *-mi*, нем. *-en*, *-n*), создание новых окончаний из старых элементов (различные типы оптатива II на *-t*). Возможно также использование аналитической предложной конструкции (префиксация предлогов *in*, *an* в дат. падеже), которое может сопровождаться переразложением, укрепляющим фонетический состав «укороченного» слова (швейцарские личные местоимения с префигированным *n*).

В большинстве перечисленных случаев потенцированные формы служат укреплению или восстановлению («регенерации») дифференцирующих морфологических признаков, которым угрожала фонетическая редукция, т. е. совершенствованию языка как средства общения, улучшению его грамматических правил. Явления эти не имеют механического характера, они подчинены общему принципу внутренней целесообразности процессов формообразования в системе данного языка. Подобно явлениям грамматической аналогии, открытым младограмматиками, они не нарушают общей закономерности звуковых изменений, так называемых «звуковых законов», но, подчиняясь этим законам, творчески используют звуковой материал языка для выражения грамматических значений.

Приведенные примеры показывают также, что флективные формы не только в немецком литературном языке, но и в его диалектах, не связанных устойчивой письменной традицией, не всегда подвергаются разрушению под влиянием фонетической редукции. Наряду с новыми аналитическими формами немецкий язык сохраняет, укрепляет, а иногда даже развивает морфологические признаки флективного характера там, где они являются выражением стойких и существенных грамматических значений. В этом смысле особенно показательно склонение существительных, в котором на основе разрушения и унификации падежных окончаний образуются новые обобщенные показатели множественного числа, отсутствовавшие в древненемецком (окончания *-e*, *-er*, *-en* с различными чередованиями ударного гласного и конечных согласных); показательно также сохранение и дальнейшее развитие суффиксации (сильные словообразовательные суффиксы с побочным ударением, частично также «потенцированные», т. е. фонетически расширенные и укрепленные перераспределением или присоединением дополнительных суффиксальных элементов).

В некоторых специальных случаях потенцированные окончания служат для выделения сильной формы слова, на которой лежит логическое ударение (указательные местоимения типа *dieser*, *der da* и т. п.), или для усиления эмоциональной выразительности слов, утраченной в процессе грамматизации (уменьшительные, тип *immer mehr*).

¹ См. L. S ü t t e r l i n, Die deutsche Sprache der Gegenwart, Leipzig, 1910, стр. 144.

В. А. ДЫБО

О ДРЕВНЕЙШЕЙ МЕТАТОНИИ В СЛАВЯНСКОМ ГЛАГОЛЕ

В 1902 г. в статье «О некоторых аномалиях ударения в славянских именах» А. Мейе сделал попытку объяснить те случаи, когда вместо аку-та, наличествующего в балтийских языках, в славянском появляется циркумфлекс¹. Эти примеры древнейшей славянской метатонии он истолковал как результат выравнивания славянской подвижной парадигмы. Например:

серб. *sîn*: литов. *sûnùs* (вин. п. *sûnu*), др.-прус. *soûns*;
серб. *gláva* (вин. п. *glâvu*), русск. *головá* (вин. п. *гóлову*): латыш. *galva* (литов. *galvà*, вин. п. *gálvą*);
словен. *zvěr* (род. п. ед. ч. *zverî*): литов. *žvėris* (вин. п. *žvėrį*), латыш. *žvērs* (род. п. ед. ч. *zvēra*);
серб. *živ* (жен. р. *živa*), русск. *жив*, *живá*, *жýво*: литов. *gyvas*, латыш. *dzīvs*.

Это правило в 1923 г. было принято Ван-Бейком в работе «Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme». Ввиду небольшого количества балто-славянских соответствий, приведенных Мейе, и того, что основной упор Мейе делает на объяснении многочисленных акцентологических аномалий в славянских именах на *-u-* и *-i-*, правило Мейе — Ван-Бейка не было использовано как орудие изучения балто-славянской акцентологической системы, а было воспринято как имеющее значение лишь для сравнительной грамматики славянских языков. Между тем это не так. Основные точные балто-славянские соответствия довольно последовательно проводят различие между баритонированной и подвижной (первоначально, возможно, окситонированной) парадигмами. Список этих соответствий мы здесь приводим.

Подвижная (окситонированная) парадигма

Основы на -ǫ-

- 1) серб. *lûb* (род. п. *lûba*): литов. *lûobas* (мн. ч. *luobaĩ*), латыш. *luobs*, ср. латыш. *luõbi*, *luõbit*;
- 2) серб. *živ* (жен. р. *živa*), *жив*, *живá*, *жýво*: литов. *gyvas*, латыш. *dzīvs*;
- 3) серб. *nâg*, *nâga*, *nâgo*, литов. *niogas*, латыш. (диал.) *niõgs*;
- 4) русск. *юн*, *юнá*, *ýно*, др.-чеш. *junoš*: литов. *jâunas*, латыш. *jaûns*;
- 5) серб. *mûdar*, *mûdra*, *mûdro* (наречие *môdro*), словен. *môdar*; литов. *mandrùs*, латыш. *miõdr̃s*;
- 6) серб. *râz*, русск. *образ*: литов. *rûožas*, *-aĩ*;
- 7) серб. *mîr* (род. п. *mîra*), серб. обл. *mîjer*: литов. *mieras* (XVI в.), латыш. *miẽrs*;
- 8) серб. *slîjed* (род. п. *slîjeda*): латыш. *slaid̃s*;
- 9) серб. *smrâd*: латыш. *smârd̃s*;
- 10) словен. *rêz*: литов. *rêžas*, *atrêžai*;
- 11) русск. диал. *нóром*: литов. *nártas*, вост.-латыш. *noŕts* (= латыш. **naŕts*).

Основы на -ā-

- 1) серб. *gláva* (вин. п. *glâvu*), русск. *головá*, *гóлову*: литов. *galvà* (вин. п. *gálvą*), латыш. *galva*;
- 2) серб. *srijeda* (вин. п. *srijedu*), русск. *середá*, *сéреду*: латыш. *seŕde* (вероятно, вторичная *-ē*-основа);

¹ РФВ, т. XLVIII, № 3—4, 1902.

3) серб. (диал.) *žlná* «черный дятел», чакав. *žūnà*, русск. диал. *желна́*: литов. *gilna*, латыш. *dziļna*;

4) серб. *kūna* (чакав. *kūnà*), укр. *кунá*: литов. *kiūnė*, латыш. *caūna*, *caūne*. Ср. также литов. *Kiaunà* — название реки.

Основы на -ǫ-

1) серб. *sʹn*: литов. *sūnūs* (вин. п. *sūnu*), др.-прус. *soūns*;

2) словен. *slād* (род. п. *slāda*, *sladiū*), русск. *солод*: литов. *saldūs* (вост.-литов. вин. п. *saldū*), латыш. *saīds*;

Основы на -ǝ-

1) словен. *zvēr* (род. п. ед. ч. *zverī*): литов. *žvėris* (вин. п. *žvėrī*), латыш. *zvērs* (род. п. ед. ч. *zvēra*).

Баритонированная парадигма

Основы на -ō-

1) серб. *pūn*: литов. *pilnas*, латыш. *pīlns*;

2) серб. *dūg* (жен. р. *dūga*): литов. *ilgas*, латыш. *ilgs* (жен. р. *ilga*);

3) серб. *sīr* (род. п. *sīra*), чеш. *sýr*: литов. *sūras*, латыш. *sūrs*;

4) серб. *dīm* (род. п. *dīma*), чеш. *dým*: литов. *dumai*, латыш. *dūmi*;

5) серб. *čist* (жен. р. *čista*): литов. *skýstas*, латыш. *skīsts* (но также *sk'ists*, ср. с русск. *чиста́*);

6) серб. *īstī*, русск. *истый*: латыш. *īsts*;

7) серб. *mīlo* (жен. р. *mīla*): литов. *mīelas*, *mýlas*, латыш. *mīļš* (древняя *и*-основа), вост.-латыш. *mīls* (< *mielas*);

8) русск. диал. *воро́д*, белорусск. *азаро́д*: литов. *žárdas* (мн. ч. *žárdai*), латыш. *zārdas*.

Основы на -ā-

1) серб. *līpa*, чеш. *lípa*: литов. *liepa*, латыш. *liēpa*;

2) серб. *srāka*, *svrāka*, русск. *соро́ка*: литов. *šárka*;

3) серб. *īva*, русск. *і́ва*, чеш. *jíva*: латыш. *iēva* (но литов. *ievà*, вин. п. *iėvą*);

4) серб. *vāna*, русск. *воро́на*: литов. *vārna*, латыш. *vārna*;

5) серб. *vūna*, болг. *вѣлна*, русск. диал. *вѣлна*: литов. *vilna*, латыш. *vīlņa*;

6) болг. *жу́на* (жен. р.): литов. *židunos* (жен. р. мн. ч.), латыш. *žaiņas* (жен. р. мн. ч.);

7) серб. *grīva*, русск. *гри́ва*: латыш. *grīva*;

8) серб. *kūpa*, русск. *ку́па*: литов. *kūpa*, латыш. *kuōpa*;

9) серб. *sīla*, чеш. *síla*, русск. *су́ла*: литов. *siela*;

10) русск. диал. *глу́ва*, серб. *glīva*: литов. *glėivos*, -ц- (мн. ч.);

11) русск. диал. *ря́да*, серб. *rēda*: латыш. (куршск.) *rīnda*.

Основы на -ǣ-

1) серб. *nīt* (род. п. *nīti*): литов. *nūtis* (обычно мн. ч. *nūtys*), латыш. *nīts* (вин. п. *nīti*);

2) чеш. *lín*, русск. *ли́нь*: др.-прус. *linis*, литов. *lýnas*, латыш. *līnis*;

3) серб. *djēvēr* (род. п. *djēvera*): латыш. *diēveris* (литов. показывает подвижную парадигму: *diēveris*, род. п. *dieveriēs* и *dievers*, им. п. мн. ч. *dievers*).

Отход от правила Мейе — Ван-Вейка наблюдается в славянских основах на -ō- среднего рода: серб. *rālo*, чеш. *rādlo*, русск. *ра́ло*: литов. *árklas* (мн. ч. *arklai*), латыш. *aŗklis* (род. п. *-la*); серб. *līko*, чеш. *lýko*, русск. *лы́ко*: латыш. *lūks*, др.-прус. *lunkan*, но литов. *lūnkas* (мн. ч. *lūnkai*); серб. *sīto*, чеш. *sīto*: латыш. *siēts*, но литов. *sietas* (мн. ч. *sietai*). Это расхождение между славянскими и балтийскими языками легко объясняется особым развитием балтийских языков, где переход древних имен среднего рода в морфологическую категорию мужского рода и связанное с ним изменение форм могли повлечь за собой смену акцентной парадигмы (ср. несоответствие между литовским и латышским языками в двух последних примерах).

Четкое противопоставление баритонированных и окситонированных парадигм имен в балто-славянском языке позволяет применить правило

Мейе — Ван-Вейка для выявления различных по ударению парадигм в балто-славянском глаголе¹.

Наличие баритонированной и подвижной парадигм в балтийском глаголе доказывается проведением в латышском глаголе двоякого рода интонации на бывших акутированных корневых гласных: латышская восходящая интонация отражает балтийский акут в баритонированной парадигме, а латышская прерывистая интонация — балтийский акут в подвижной парадигме. Характерно, что литовский глагол почти не сохранил этого противопоставления. Ср.: литов. *malù, maliaũ, mál̃ti* (в форме 1-го лица наст. и прош. времени перенос ударения по закону Фортунатова — де Соссюра), латыш. *mal' u, malu, māl̃t*: литов. *klóju, klójaũ, klóti*, латыш. *klāju, klāt*.

В латышском глаголе прерывистая интонация проходит во всех формах с коренным долгим гласным, поэтому нельзя с уверенностью судить о том, имеем ли мы дело с окситонированной или уже с подвижной парадигмой и какие формы имели конечное ударение. Некоторые данные для установления окситонированных форм могли бы дать литовские говоры, но они еще недостаточно изучены. Во всяком случае остатки окситонезы сохраняются в действительном причастии настоящего времени, в диалектных формах перфекта типа *sedās, stajās, kelēs* и т. п. и, вероятно, в сослагательном наклонении типа *būtų* в двукающих говорах юга Литвы, а также в ряде говоров средней и восточной Литвы.

*

Наличие конечного ударения в сослагательном наклонении свидетельствует, вероятно, о конечном ударении супина, с которым это наклонение тесно связано. Попытки объяснить окситонезу сослагательного наклонения ритмическими причинами явно неудачны. Уже диалектографические основания говорят о большей древности окситонированных форм: в южной Литве говоры, проводящие тип *būtų*, представляют собой замкнутый островок, ограниченный полосой говоров, проводящих тип *būtų*, который, очевидно, является компромиссным между типом *būtų* и типом *būtų* в соседних говорах и в литературном языке. Проявление типа *būtų* в виде спорадических островков по территории восточной Литвы тоже подтверждает большую древность конечного ударения. В пользу этого как будто бы свидетельствует тенденция унифицировать ударение глагола по типу инфинитива, явственно проявляющаяся в говорах, которые легли в основу литературного языка. Исходя из вышеизложенного, можно предположить следующее развитие ударения в литовском сослагательном наклонении: *būtų > bŭtų > bŭtų* (по типу инфинитива).

¹ Следует заметить, что отказ от закона Фортунатова — де Соссюра как методологического правила заставляет Станга (см. Chr. Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957) восстанавливать для протославянского языка три акцентные парадигмы в системе глагола, в результате чего баритонированные глаголы распределяются между собственно баритонированными и рецессивными. Но глаголы этих парадигм объединены морфологически и противопоставлены глаголам окситонированной парадигмы. Эта связь отразилась не только в акцентно-морфологическом правиле Ван-Вейка (ср. ст.-слав. аорист *би, кля*, но *литъ*), но и в факте образования от баритонированных (первые две парадигмы по Стангу) глаголов на *-e-* с корнем, оканчивающимся на согласный, форм простого аориста (ст.-слав. аорист *лѣж, легж, идж, мож* и др.), а от окситонированных глаголов — форм сигматического аориста: ст.-слав. аорист *нѣсѧ, тѣшиѧ, басѧ, сѣшиѧ* и др. Это акцентно-морфологическое правило должно было сложиться до возникновения новоакута и, следовательно, до предполагаемой Стангом рецессии ударения в формах глаголов второй парадигмы. Но данное правило не могло бы сложиться, если бы в этот период не существовало единой баритонированной парадигмы, включавшей и глаголы, в которых Станг предполагает рецессию ударения. Эти соображения заставляют нас отклонить предложенное Стангом первоначальное «триделение» акцентных парадигм славянского глагола и настаивать на большей древности дихотомии с естественно вытекающим отсюда признанием закона Фортунатова — де Соссюра.

Рассмотрим славянские факты. Сербские глаголы, имеющие в инфинитиве рефлекс акута, делятся по акцентуации своей парадигмы на две группы: 1) инфинитив *sjěsti*, 1-е лицо ед. ч. наст. вр. *sjědēm*, аорист, 1-е лицо ед. ч. *sjěдох*, 2-е и 3-е лицо аориста *sjěде*, *l*-причастие *sjěо*, *sjěла*; 2) инфинитив *prěsti*, 1-е лицо ед. ч. наст. вр. *prědēm*, аорист, 1-е лицо ед. ч. *prěдох*, 2-е и 3-е лицо аориста *prěде*, *l*-причастие *prěо*, *prěла*. В русском языке имеются соответствия этим двум типам сербского глагола: 1) инфинитив *сестъ*, 1-е лицо ед. ч. наст. вр. *сѣду*, прош. вр. *сел*, *сѣла*; 2) инфинитив *прѣстъ*, 1-лицо ед. ч. наст. вр. *прѣдѹ*, прош. вр. *прѣл*, *прѣлѹ*.

Второй тип отличается от первого, таким образом, формами настоящего времени, в которых наблюдается конечное ударение, формами аориста (во 2-м и 3-м лицах), где акут заменяется циркумфлексом, формами *l*-причастия, где акут также заменяется циркумфлексом. (Сербские формы *prěо*, *prěла* являются вторичными, в отличие от русских. В литературном сербском языке глаголы с основами на согласный проводят сплошную баритонезу в *l*-причастии; ср. серб. *păsti*, аорист *păse*, *l*-причастие *păsla*, но русск. *наслѹ*; серб. *sjě'и*, аорист *sìječe*, *l*-причастие *sjěhla*, но русск. *секлѹ*; серб. *krăsti*, аорист *krăde*, *l*-причастие *krăla*, но русск. диал. *кралѹ* и т. п. Ср. также такие глаголы, как *pîti*, аорист *pî*, *l*-причастие *pîla*; *vîti*, аорист *vî*, *l*-причастие *vîla* и т. п., где совпадение между 2-м и 3-м лицом ед. числа аориста и *l*-причастием проводится довольно строго.)

Аналогичное деление проходит и в формах супина. В словенском языке супин окситонированных в настоящем времени глаголов (с долгой восходящей интонацией в инфинитиве) показывает долгую нисходящую интонацию: *pâsti*: *pâst*, *pîti*: *pît* и т. д. Этой мене интонации соответствует мена долготы и краткости в чешском языке: *brâti*: *brât*; *ptâti*: *ptat*; *spâti*: *spât*; *slouti*: *slut*; *pîti*: *pit* и т. д. Возможно, некоторые следы подобной метатонии сохранились в полабском языке (ср. дублетные формы инфинитива *sâpat*: *sapôt*).

Параллелизм балтийских и славянских фактов позволяет предположить, что метатония в славянских глаголах связана с их древнейшей окситонезой (или подвижностью ударения)¹. Постараемся показать правильность предположения о балто-славянском характере окситонезы ряда форм глагола. Выяснив, что балтийским окситонированным глаголам соответствуют славянские глаголы, проводящие метатонию, а балтийским баритонированным глаголам — славянские глаголы без метатонии, постараемся дать объяснение метатонии в аористе. Ниже дается обзор соответствующего материала.

Примеры соответствия балтийских глаголов подвижной (окситонированной) парадигмы славянским глаголам с метатонией

Индоевропейские основы с *-i-*, *-ēi-*

- 1) русск. *вить*, *вѹ*, *вилѹ*; серб. *vîti*, аорист *vî*, *l*-причастие *vîо*, *vîla*, *vîlo*: литов. (диал. *vijù*), *vujai*, *vûti*; латыш. *viju*, *vît*;
- 2) русск. *лѣть*, *лѹ*, *лѣлѹ*; серб. *lîti*, аорист *lî*, *l*-причастие *lîо*, *lîla*, *lîlo* (литер. *lîla*, *lîlo*): литов. *lieju*, *liejau*, *lieti*; латыш. *leju*, *lêju*, *liêt*;
- 3) русск. *жить*, *живѹ*, *живѣшь*, *жилѹ*: литов. *gûti*, латыш. *dzît*.

¹ Ср. L. B u l a c h o v s k i j, Die Intonation des slavischen Supinums, «Zeitschr. für slav. Philologie», Bd. IV, 1927. Иное объяснение см.: N. v a n W i j k, Zu den slavischen und baltischen Präteritalstämmen auf *-ā-*, *-ē-*, «Tauta ir Žodis», kn. IV, Kaunas, 1926; е г о ж е, L'accentuation de l'aoriste slave, «Revue des études slaves», t. III, fasc. 1—2, 1923; е г о ж е, Die slavischen Partizipia auf *-to-* und die Aoristformen auf *-tъ*, «Indogerm. Forsch.», Bd. XLIII, Hf. 3—4, Berlin — Leipzig, 1926.

Индоевропейские основы с -ēu-

1) русск. *быть, был, была, буду* (укр. диал. *буду*); серб. *bīti*, аорист *bī̃*, *l*-причастие *bīo*, *bīla*; литов. *būvo*, будущ. вр. *būsiu*, инфинитив *būti*; латыш. инфинитив *būt*, будущ. вр. *būsū*; др.-прусс. *boūt*;

2) серб. *kōvati, kūjem* (русск. *куб, кубешь*), аорист *kōvā*, *l*-причастие *kōvāla* (перемещение акцента по закону Шахматова): литов. *kāuju, kāuti*; латыш. *kāuji, kaūt*;

3) русск. *рвать, рву, рвешь, рвал*; серб. *rvati se*, аорист *rvā se*, *l*-причастие *rvao se, rvāla se*; чеш. *routi*; литов. *rūti, rūna, rōvė*; латыш. *raūt, raāju*;

4) серб. *bljivati*, аорист *bljivā*, *l*-причастие *bljivālo*; литов. *bliāuju, bliōviau, bliāuti, bliuū, bliuū, bliuū, bliūti*; латыш. *bl'āuju, bl'āvu, bl'āūt*.

5) Для слав. *plūti, plovō, plylá* интересно сопоставление с латышским *plūstu, plūdu, plūst*, где при обычной баритонезе презенса глаголов на *-st*- прерывистая интонация выглядит как рефлекс очень старого состояния.

Индоевропейские основы с долгим монофтонгом

1) серб. *dāti*, аорист *dā*, *l*-причастие *dāo, dāla*; литов. *dūomi (dūodu, dūomu), daviāu*; латыш. *duōmu (duōdu), duōt*;

2) серб. *smējati se*, аорист *smījā se*, *l*-причастие *smījalo se*; латыш. *smēju, smēju, smiēt*;

3) серб. *klāsti*, аорист *klāde*, *l*-причастие *klāla* (русск. *клать, кладу, клал* — диал.); литов. *klō u, klōju, klōti*; латыш. *klāu, klāt*;

4) серб. *krāsti*, аорист *krāde*, *l*-причастие *krāla* (русск. диал. *крал*); латыш. *krāju, krāt*.

Индоевропейские основы с плавным и носовым

1) серб. *ūprieti*, аорист *ūprije*; русск. *запереть, заперу, запер, заперла*; литов. *spiriū, spýriau, spirti*; латыш. *spēr'u, spēru, spērt*;

2) русск. *жрать, жрет, жрал*; литов. *geriū, gėriau, gėrti*; латыш. *dzer'u, dzēru, dzeŗt*;

3) серб. *ārati*, аорист *ārā*, *l*-причастие *ārāla*; литов. *ariū, ariau (вост.-литов. óriau), ārti*; латыш. *ar'u, aru, ārt*;

4) серб. *nāpēti*, аорист *nāpē*, *l*-причастие *nāpeo, nāpēla*; литов. *pinū, pýniau, pinti*; латыш. *pinu, pin'u, pīt*;

5) серб. *pōčēti*, аорист *pōčē*, *l*-причастие *pōčeō*; русск. *начать, начал, начал*; латыш. *cities, cistuos* (форма претерита *cijuos*, вероятно, вторична).

6) для русск. *принять, принял* интересно сравнение с латыш. *jētu, jētu, jēmt*. Интонация *jēmt*, вероятно, под влиянием йотированной формы. Литовский язык показывает циркумфлексовую интонацию: *imū, ėmiau, iūti*.

Основы на согласный

1) серб. *prēsti*, аорист *prēde*, *l*-причастие *prēla* (русск. *прал*); литов. *sprēndziū, sprēndžiau, sprēsti*; латыш. *sprēžu, sprēst*;

2) русск. диал. *бечь, бегу, убежал*; литов. *bėgu, bėgau, bėgti*; латыш. *bėgu, bėgt*;

3) серб. *mūsti*, аорист *mūze*, *l*-причастие *mūzao, mūzla*; литов. *mėlžu, mīlžau, mīlžti*; латыш. *mīlzt*;

4) серб. *grīsti*, аорист *grīze*, *l*-причастие *grīzao, grīzla*; литов. *grāužti*; латыш. *grāužl*.

Примеры соответствия балтийских глаголов баритонированной парадигмы славянским глаголам без метатонии

Индоевропейские основы с -ēu-

1) серб. *šiti*, аорист *ši*, *l*-причастие *šio, šila*; литов. *siuvū, siuvaū, siūti*; латыш. *šuci (šuju и šūnu), šuvi, šūt* (ср. еще укр. *шито, шую*).

2) серб. *krīti*, аорист *krī*, *l*-причастие *krīo, krīla*; литов. *krāuju, krōviau, krāuti*; латыш. *kr'āju (kr'ānu), kr'āvu, kr'āūt*.

Индоевропейские основы с долгим монофтонгом

1) серб. *djēti*, аорист *djē*, *l*-причастие *djō, djēla*; латыш. *dēju, dēt*. Интонация *dēju, dēt*, вероятно, из нетематического спряжения, ср. литов. *demī, dedū*;

2) русск. *спеть, спел*; словен. *spējem, spēti*; литов. *spēju, spēti*; латыш. *spēju, spēti*;

3) серб. *sējēti, sējati* и т. д.; русск. *сею, сеять, сеял*; литов. *sėju, sėjau, sėti*; латыш. *sēju, sēt*;

4) укр. *мiяти, мiе, мiяла*; словен. *mājem, mājati*; литов. *mōju, mōjau, mōti*; латыш. *māju, māt*.

Основы на носовые и плавные

1) русск. *мять*, *мѣла*; словен. *mānem*, *mēti*; литов. *minù*, *mŷniau*, *minti*; латыш. *mini*, *mīt*;

2) серб. *klāti*, аорист *klà*, *l*-причастие *klào*, *klàla*; русск. *колѣть*, *колѣла*; литов. *kalù*, *kaliaũ* (*kalaũ*), *kàlti*; латыш. *kal'u*, *kalu*, *kalī*;

3) русск. *молѣть*, *l*-причастие *молѣла*; серб. *mljèti*, аорист *mljè*, *l*-причастие *mljo*, *mljèla*; литов. *malù*, *maliaũ* (вост.-литов. диал. *malaũ*), *màlti*; латыш. *mal'u*, *malu*, *mālt*;

4) русск. *борѣть*, *борѣла*; литов. *barù*, *bariaũ*, *bàrti*; латыш. *bar'u*, *bāru*, *bārt*;

5) русск. диал. *заверѣть*, *заверѣ*; болг. *заверѣла* (*впа*) (серб. формы *zàvr'o*, *zàvr'la*, приводимые Ивекевичем, вероятно, вторичны); литов. *veriù*, *vėriau*, *vėrti*; латыш. *ver'u*, *veru*, *vērt*;

6) серб. *tṛti*, аорист *tṛ*, *l*-причастие *tṛ'o*, *tṛ'la*; русск. *терѣть*, *тѣрла*; словен. *trèti*; литов. *tiriù*, *týriau*, *tirti*, *trinù*, *trŷniau*, *trinti*. Отражение старой баритонезы, возможно, представлено в латыш. *trinu*, *trin'u*, *trit*;

7) серб. *pondreti*, о баритонезе свидетельствуют формы страдательного причастия прошедшего времени *pòndrt*, *pòndrta*; литов. *nėrti*, *nėriù*, *nėriau*; латыш. *nērt*, *ner'u*, *nēru*.

8) ст.-слав. глагол *жръти*, *жъретъ* (аорист 3-е лицо ед. числа *пожръ*, *l*-причастие *пожръль*, *-ла*) имел накоренной акут во всех формах, если акцентно-морфологическое правило Ван-Вейка верно (согласно этому правилу, глаголы на циркумфлексированный дифтонг имеют аорист с *-тъ*, глаголы с акутовым дифтонгом образуют корневой аорист без *-тъ*¹). Ему соответствует литовский глагол *girti*, *giria*, *gyrè* и латышский глагол *dzir'uōs*, *dziṛuos*, *dziṛtiēs* с баритонизированной парадигмой.

В нескольких латышских глаголах представлена подвижная парадигма, однако славянские параллели дают формы без метатонии:

1) латыш. *dēju*, *dēt* (наряду с *dēju*, *dēt*): серб. *djèti*; аорист *djè*, *l*-причастие *djèla*;

2) латыш. *ēmu* (*ēdu*), *ēdu* (*ēžu*), *ēst*: серб. *jèsti*, аорист *jède*, *l*-причастие *jèla*;

3) латыш. *sēju*, *sēdu*, *sēst*: серб. *sjèsti*, аорист *sjède*, *l*-причастие *stèla*;

3) латыш. *stāju*, *stāt*: серб. *stāti*, аорист *stà*, *l*-причастие *stàla*.

В латышском глаголе *sēst* Миккола объясняет прерывистую интонацию влиянием *sēdet*, но можно всю эту группу глаголов объяснить первоначальной принадлежностью к атематическому спряжению на *-mi* [ср. древние и диалектные литовские формы: *demì* (1-е лицо ед. ч.), *ēmę* (1-е лицо мн. ч.), *sėdmi*, *stovmi* (1-е лицо ед. ч.)], в котором еще в языке Н. Даукши сохраняются окситонированные формы: 1-е лицо мн. числа *eimė*, наряду с *ėime*, *esmė*; *estė* (2-е лицо мн. ч.), *demì* (1-е лицо ед. ч.), *duomì* (1-е лицо ед. ч.).

Что касается латышских вариантов *jēmt*, *jēm̃t*, то, на наш взгляд, можно исходить из сосуществования двух балтийских (а возможно, и балто-славянских) форм: **imé-* и **jémje-* [ср. латыш. *jēmu* (инфинитив *jimti*) и латыш. *n'ēmju* (диал. *n'ēm'l'u* и 3-е лицо мн. ч. *-jēml'a*), литов. *imù* (инфинитив *imti*) и *jēmù*], которым, вероятно, соответствуют славянские: *jěti*, *jělá* (ср. русск. *понялá*, *пónял*, наст. время окситонированное *поймѣт*) и *ймати*, *эмлю* с баритонезой настоящего времени: *приѣмлю*, *приѣмлет*. При этом глагол *imti* подвергся сильному влиянию форм глагола *jēmu*; отсюда и формы со ступенью *-e-* и в дальнейшем генерализация той или иной интонации (по диалектам).

Для сравнения серб. *mīti*, *mīla*; латыш. *maīt* укажем на сербские формы аориста *mī*, *izmī* (наряду с *mī*), которые могут свидетельствовать о древней подвижности ударения. Под влиянием тенденции к баритонированию йотированных парадигм она заменилась баритонезой. Старую баритонезу латыш. *šāṇu*, *šāvu*, *šāit* отражает, вероятно, русская диалектная (и литературная первой половины XIX в.) форма *сѣю*. Глагол *плѣвѣть*, *плѣю* (серб. *pljŷvālo*) (ср. латыш. *spl'aŷju*) слишком часто ассоциировался с глаголом *блѣвѣть*, *блѣю* (серб. *bljŷvālo*) (ср. латыш. *bl'aŷnu*, *bl'āvu*, *bl'aŷt*), чтобы его ударение имело самостоятельное зна-

¹ См. N. van Wijk, Die slavischen Partizipia..., стр. 286.

чение. Но еще у Пушкина: «...и плѣет на алтарь, где твой огонь горит, И в детской резвости колеблет твой треножник».

Таким образом, если отбросить дублетные формы и глаголы, в которых мы можем предполагать позднейшие акцентологические изменения, то остаются две группы глаголов, в которых наблюдается соответствие между балтийской подвижной парадигмой и метатонией в аористе и *l*-причастии славянских глаголов в одной группе и балтийской баритонированной парадигмой и отсутствием метатонии в славянских глаголах — в другой. С балтийской стороны в это сопоставление входят в большинстве своем глаголы без распространения корня или основы, которую можно предполагать в балто-славянский период; славянские же глаголы можно разделить на три группы: 1) глаголы с неизменной основой, 2) глаголы с детерминативом, которого нет в балтийском, 3) глаголы с аористным *-ā-*, распространившимся на инфинитив и *l*-причастие уже в славянском языке.

Конечно, наибольшую доказательную силу имеет первая группа глаголов:

Окситонированная
парадигма

серб. *vīti, vī, vīla*: латыш. *vīt*
серб. *līti, lī, līla*: латыш. *liēt*
русс. *жѣтъ, жилá*: латыш. *dzīt*
серб. *bīti, bī, bīla*: латыш. *būt*
серб. *dāti, dā, dāla*: латыш. *duōt*

русс. *пѣтъ, пѣял*: латыш. *jeīt*
серб. *nāpēti, nāpe, -o*: латыш. *pīt*
серб. *prōcēti, prōcē*: латыш. *cities*
русс. *запѣтъ, запѣлá*: латыш. *speīt*
серб. *prēsti, prēde (прялá)*: латыш. *sprīēst*;
русс. *бѣчь, убеглá*: латыш. *bēgt*
серб. *mūsti*, аорист *mūze*: латыш. *miłzt*
серб. *grīsti*, аорист *grīze*: латыш. *grāūzt*

Баритонированная
парадигма

серб. *šīti, šī, šīla*: латыш. *šūt*
серб. *krīti, krī, krīla*: латыш. *kr'āūt*
серб. *djēti, djē, djēla*: латыш. *dēt*
русс. *спѣтъ, спѣла*: латыш. *špet*
русс. *мѣтъ, мѣла*: латыш. *mīt*

серб. *klāti, klā, klāla*: латыш. *kālt*
серб. *mljēti, mljē, mljēla*: латыш. *mālt*
русс. *борѣтъ, борѣла*: латыш. *baīt*
русс. *заверѣтъ, заверѣ*: латыш. *veīt*
серб. *pōndreti, pōndrt*: латыш. *neīt*
ст.-слав. *жръти, пожръ*: латыш.
dziŗties, на интонацию ст.-слав.
глагола указывает форма аориста]

В глаголах, структура основы которых изменена присоединением детерминатива или согласного суффикса, присоединение согласного суффикса, не меняющего количества слогов, может не нарушить акцентную парадигму. Ср.: окситонированная парадигма: 1) серб. *klāsti*, аорист *klāde*, русск. диал. *клалá*: латыш. *klāt*; 2) серб. *krāsti*, аорист *krāde*, русск. диал. *кралá*: латыш. *krāt*. Баритонированная парадигма: серб. *tŗti, tŗ, tŗla*; латыш. *ŗit*. Здесь латышский показывает измененную структуру основы.

Метатония в *l*-причастиях у этой группы глаголов в славянских языках, вероятно, отражает рецессию ударения. В аористе в таком случае нужно принять также передвижение ударения к началу слова. Это предположение не встречает препятствий во 2 — 3-м лицах тематического аориста: *prēde, mūze, grīze, klāde, krāde*. Более сложно обстоит дело с аористами: *vī, lī, bī, dā, nāpē*, ст.-слав. *жѣтъ, поѣтъ, ѡприје*. Но характерно, что все эти глаголы в старославянском языке образовывали 2-е и 3-е лица аориста с окончанием *-тъ* (*бытъ, дастъ, повѣтъ, запамъ, поѣтъ, жѣтъ*; не засвидетельствованы формы на *-тъ* от двух других глаголов: *прѣти, лѣти*) в противоположность глаголам без метатонии, у которых формы на *-тъ* крайне редки. Мы не будем входить в подробности гипотез о происхождении этого окончания, но отметим, что пережиточный характер его в старославянском языке говорит о его древности. Возможно, оно входит в круг окончаний дентальных претеритов, засвидетельствованных в германских, кельтских и

оскском языках и до сих пор не получивших удовлетворительного объяснения. В таком случае мы могли бы предполагать первоначальное ударение на окончании; в результате рецессии этого ударения и могла возникнуть метатония¹.

В ряде славянских глаголов произошло распространение форманта *-ā-* с аориста на инфинитив и *l*-причастие:

Окситонированная
парадигма

серб. *kòvati*, *kòva*, *kòvāla*: латыш. *kaût*

серб. *řvati se*, *řvā se*, *řvao se*: латыш. *raût*

серб. *bljivati*, *bljivā*, *bljivālo*: латыш. *bl'aût*

серб. *smějati se*, *smĭjā se*, *smĭjālo se*: латыш. *smiêt*

русс. *жрѣмъ*, *жрѣлѣ*: латыш. *dzeît*

серб. *òrati*, *òrā*, *òrao*: латыш. *aît*

Баритонированная
парадигма

серб. *sějati*, *sějao*: латыш. *set*

укр. *ма́ти*, *ма́е*, *ма́ла*, словен.

májem, *májati*: латыш. *māt*

Метатонизированные формы здесь можно объяснить следующим образом: *l*-причастие имело конечное ударение до распространения *ā*-форманта (**rŭŭl̥* или **rŭl̥*); при распространении *-ā-* в образованных формах сохранялось старое место ударения (**rŭŭal̥*); последующая рецессия ударения на предпоследний слог приводила к метатонии (**rŭŭāl̥ > r̥vāl̥*). По закону Фортунатова — де Соссюра, в форме женского рода происходило передвижение ударения на окончание (*r̥vālā*). Затем в формах мужского и среднего рода по закону Шахматова ударение переходило на первый слог (**r̥vāl̥ > *r̥vāl̥ > серб. řvao, *r̥vāl̥o > *r̥vālo > серб. řvālo*). В сербском языке произошла генерализация начального ударения.

Труднее объяснить метатонию в аористе. Было бы очень заманчивым предположить и в аористе на *-ā-* во 2-м и 3-м лицах наличие в общеславянском языке окончания *-ti*², однако соответствующие факты в славянских и в балтийских языках отсутствуют. Будет более осторожным, если мы предложим следующую гипотезу. На определенном этапе развития общеславянского языка между аористом и формами, закономерно проводящими метатонию, установилось акцентологическое соотношение (такое соотношение возникло под влиянием простых глаголов, в которых метатония в аористе была закономерна): $\frac{viti}{vīl̥} : vī = \frac{r̥vāti}{r̥vāl̥} : x$, откуда $x = r̥vā$. Таким образом произошла генерализация циркумфлексовой интонации в аористе.

¹ Имеется другая возможность разрешения этой проблемы: как конечное ударение, так и просто распространение циркумфлекса на данные аористы могло произойти под влиянием причастий на *-mъ*, которые, как считает Л. А. Булаховский, также проводили эту метатонию. Так как причастия на *-mъ* образовывались лишь от глаголов, которые имели формы *-mъ* аористов, то между этими категориями создалось морфологическое соотношение, которое могло повлечь распространение конечного ударения или накоренного циркумфлекса причастия на аорист.

² В таком предположении нет ничего невероятного; ср. положение в оскском языке, где претерит на дентальный образуется от глаголов на *-ā-*.

Д. Н. ШМЕЛЕВ

**ЭКСПРЕССИВНО-ИРОНИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
ОТРИЦАНИЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

I

Особенности разговорной речи описаны и изучены еще сравнительно мало. Между тем выявление этих особенностей важно и для стилистики, обращающейся обычно к понятию функциональных разновидностей языка, и для синтаксиса. На решении вопроса о так называемых «речевых стилях», их количестве, соотношении и т. д. отрицательно сказывается отсутствие систематического описания тех или иных явлений, присущих разным типам речи. В свою очередь синтаксис, основанный на реальных фактах языка, не может обойтись без изучения тех ситуаций, в которых значения различных грамматических форм подвергаются в какой-либо мере устойчивым, «регулярным» сдвигам. Так, при определенных (требующих определения) условиях значение порядка слов, наклонения, видовых различий и т. д. может становиться одним из средств выражения тех смысловых отношений, которые при более обычных условиях бывают выражены совсем другими, вполне логически однозначными средствами.

Одной из наиболее ощутимых особенностей разговорной речи является разнообразное использование интонационных средств, нередко «сдвигающих» прямую семантику слов и словосочетаний. В разговорной речи, говоря словами В. В. Виноградова, предметные значения слов могут стать средством выражения эмоционального смысла: прямые лексические значения слов перестают формировать и определять внутреннее содержание речи. «Знание и понимание этих свойств разговорной речи чрезвычайно важно для исследования структуры диалога, для изучения стиля драматической речи и стилей речи сценической»¹.

В живой разговорной речи семантика слова может подвергаться разнообразному переосмыслению. Интонация способна придать утвердительному предложению отрицательное значение², словам положительной оценки характер осуждения и т. д.

Поскольку характерные черты разговорной речи достаточно полно воспроизводятся в художественной литературе, они тем самым вовлекаются в сферу речи письменной. Интонация же, способная сама по себе бесконечно варьироваться в живом диалоге и осложняться самыми разнообразными субъективными «наслоениями», обычно при письменной передаче высказывания отчетливо закрепляется в ее основном направлении контекстом — и таким образом выступает как объективно распознаваемый элемент структуры предложения.

¹ В. В. В и н о г р а д о в, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, № 1, стр. 79, 80.

² Ср. О. J e s p e r s e n, The philosophy of grammar, London — New York, 1929, стр. 129—130, где даны примеры на нескольких европейских языках.

2

Особое важное значение имеет разграничение свободных синтаксических построений и конструкций (часто омонимических по отношению к первым), которые получают значение фразеологических схем. Такие конструкции неразрывно связаны с определенными интонациями (а в письменной передаче — с контекстом); в них становится ограниченной или невозможной синонимическая замена опорных слов. Важно уяснить, на какие собственно грамматические средства может опираться та или иная интонация и какое конкретное значение при этом получает, утрачивая свою обычную грамматическую соотносительность, та или иная форма. Так, например, ответ на вопрос *Помог он тебе?* — *Да, помог!* может быть произнесен так, что будет содержать именно отрицание того, что «он помог». Однако здесь все решается только интонацией (в письменной передаче контекстом), иных показателей нет (т. е. сама по себе фраза *Да, помог!* вне контекста будет воспринята только как утверждение). Возьмем вне всякого контекста, без всяких указаний на интонацию две следующие фразы: *Я стану читать* и *Стану я читать*. Первая из них обычно будет воспринята как простое утверждение. Но вторая уже таит в себе возможность двоякого осмысления: за внешним утверждением может скрываться насмешливое отрицание, т. е. «стану я читать, как бы не так!». Конечно, и первая фраза может быть так произнесена, что будет ироническим отрицанием, и, наоборот, вторая может выражать утверждение, но мы чувствуем, что для этого нужно какое-то большее напряжение интонации, какой-то «особый» контекст. И в большинстве случаев «нейтральнее», привычнее именно первое осмысление¹.

Ср. случай типа: «[Лариса] Нет, уехать надо, вырваться отсюда. *Я стану приставать* к Юлию Капитонычу» (Островский, Бесприданница) и т. п. и такие конструкции: «Ермолай никогда ее [собаку] не кормил. „*Стану я пса кормить*“, — рассуждал он, — притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье!» (Тургенев, Ермолай и мельничиха); «*Да, стану я их баловать*, этих уездных аристократов!» (Тургенев, Отцы и дети); «Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо. — Как для чего!.. Коростель — это дичь: его есть можно. — Не для того ты убил его, барин: *станешь ты его есть!* Ты его для потехи своей убил» (Тургенев, Касьян с Красивой Мечи); «...Разве большие учатся чему-нибудь? Слышите, что рассказывает? *Станет надворный советник учиться!*» (Гончаров, Обломов); «...*Стану я с тобой, с лучшим, связываться* после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал! Да ну тебя к черту!» (Чехов, Из огня да в полымя); «[Пепел] *Стану я из-за такой дряни жизнь себе портить...*» (Горький, На дне).

Как видно из примеров, подобное значение возможно не только при форме 1-го лица, но также 2-го («станешь ты его есть!») и 3-го лица («станет надворный советник учиться!»).

Вполне возможны подобные же случаи с *буду я* и т. д. Ср.: «[Жадов] Вы меня нынче совсем измучили. Замолчи, ради бога. [Полина] Как же, дождайся, *буду я молчать!*» (Островский, Доходное место); «*Буду я там из-за каких-то стульев ездить!*» (Макаренко, Педагогическая поэма) и т. п. Однако более «специализируется» для этого форма *стану*. В этом отношении показательны следующие случаи употребления *стану я* в том же значении в «неполном» предложении (без инфинитива): «Но когда один из нас попросил ее починить ему его единственную рубашку, она,

¹ Заметим, что при противопоставлении (с союзом *а*) фраза типа ...*а я стану* (делать что-либо) легко приобретает иронически-отрицательный смысл; ср.: «Есть из-за чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!» (Гоголь, Мертвые души); «Им нужно только оскорбить меня и измучить ребенка, а я стану покоряться им! Ни за что!» (Л. Толстой, Анна Каренина).

презрительно фыркнув, сказала: „Вот еще. *Стану я, как же!*“» (Горький, Двадцать шесть и одна).

В условном предложении может выступать с тем же значением выражение *стал бы*, например: «...*Стал бы я связываться* с таким, если б знал!» (Гончаров, Обломов); «Ду-урной! — перебила женщина. — *Стала бы я из города выезжать* по такой погоде! Да еще на почь глядя!..» (Сергеев-Ценский, Устный счет).

Следовательно, конструкция *стану я (станешь ты, станет он и т. д., реже буду я и т. д.) делать что-либо* в ее свободном, «прямом» значении становится в какой-то мере (в той, насколько мы ощущаем в о з м о ж н о с т ь ее иронически-отрицательного звучания) омонимом ее интонационно связанного варианта. Таким образом, порядок слов как бы «подсказывает» нам определенную интонацию. Он становится одним из элементов, поддерживающих возможность различного восприятия этих предложений.

Возьмем также вне контекста две такие фразы: *Очень нужно посоветоваться с ним* и *Очень нужно советоваться с ним*. Опять мы видим, что утвердительный характер первой из фраз кажется нам вполне естественным и, если нет специальных указаний противоположного характера, не вызывает сомнений. В то же время вторая фраза легко может быть понята как ироническое отрицание того, что формально утверждается в ней. Таким образом, в определенной конструкции (*очень нужно* + инфинитив) определенная экспрессия высказывания может сочетаться со значением видовых различий. Глагол совершенного вида обычен здесь при «прямом», утвердительном значении высказывания, а глагол несовершенного вида чаще выступает при экспрессивно-ироническом выражении отрицания, например: «И я не поеду. *Очень нужно тащиться* за пятьдесят верст киселя есть» (Тургенев, Отцы и дети); «[Варвара] Вздор все. *Очень нужно слушать*, что она городит» (Островский, Гроза); «[Незнамов] Ну, вот еще, *очень нужно мне догадываться*. Говорите прямо, начистоту!» (Островский, Без вины виноватые).

Таким образом, грамматическое значение категории вида может обволакиваться и «сдвигаться» неожиданными экспрессивными оттенками. Форма несовершенного вида как бы «поддерживает» в таком случае ироническое отрицание, создаваемое интонацией и противоречащее логическому содержанию высказывания.

Аналогичным примером могут служить конструкции *есть* + косвенный падеж местоимений *кто* или *что* + инфинитив, где также затемняется собственно грамматическое значение вида. Ср.: «Да чего ж ты рассердился так горячо?.. — *Есть из-за чего сердиться!* Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!» (Гоголь, Мертвые души); «[Юлинька] *Есть об чем жалеть!* и без них тоска смертная!» (Островский, Доходное место); «...Я часто о ней думаю. — *Есть о ком думать!*» (Толстой, Анна Каренина); «*Есть за что любить!* А кроме ехидства, ты от нес ничего не видел» (Чехов, Дипломат). Характерно, что при отрицании в ответной реплике глагол совершенного вида заменяется глаголом несовершенного вида: *Да чего же ты рассердился?* — *Есть из-за чего сердиться* (см. первый пример). Ответ *Есть из-за чего рассердиться!* естественнее связывался бы с утверждением. И действительно, при утверждении обычнее инфинитив совершенного вида или иной порядок слов: «Надо только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего, — думал Левин, — а *работать и трудиться есть из-за чего*» (Толстой, Анна Каренина); «[Кулигин] Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже *есть что послушать!*» (Островский, Гроза); «...Приезжайте к нам, а всего лучше приезжайте ко мне в деревню, в старый мой дедовский замок. *Есть что посмотреть!*» (Соллогуб, Тарантас); «...*О нем есть что рассказать*. Удивишься ты, если узнаешь, как мы живем» (Новиков-Прибой, Капитан 1-го ранга); «*Есть*

чему поучиться у него писателям и в этом смысле» («Лит. газ.» 29 IX 55) и т. п.

Те же отношения и то же экспрессивное значение видовых различий и порядка слов можно отметить в конструкциях «стоит (стоило) + инфинитив», «стоит того, чтоб + инфинитив»: «...Пусть их кричат во все горло, наплевать на них! Сами же будут завидовать. Да и стоит того, чтоб о них заботиться!» (Достоевский, Дядюшкин сон); «...И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него божью погоду мутить!» (Чехов, Ведьма); «Ничего, Шурочка, деньги пустяки! Сегодня нет, завтра будут. Наживем!.. Эка, стоит о деньгах печалиться!» (Вересаев, Два конца); «Вот что, Колосов, поезжайте лучше домой, успокойтесь. Стоит обижаться на этого пьяного зверя!» (там же); ср. : «Есть в ней [повести] и кое-какие литературные достоинства. Прочсть ее стоит...» (Чехов, Драма на охоте).

3

Употребление слова в интонационно обусловленной конструкции в отдельных случаях способствует возникновению у слова нового значения, реализуемого только в пределах данной «фразеологической схемы». Так, слово *охота* (предикативный вариант) имеет в современном языке синтаксически закрепленное значение «хочется, хотелось бы»: *мне охота гулять, погулять*. Между тем на основе этого значения формируется и другое, уже утрачивающее предикативную характеристику: «Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту» (Пушкин, Дубровский); «Охота тебе его держать» — не значит «хочется тебе его держать», а также и не является экспрессивным отрицанием этого, а соответствует «зачем, к чему, с какой стати тебе его держать». Здесь в отличие от предыдущих примеров — не отрицание того, что формально утверждается, а экспрессивное отрицание необходимости или желательности и т. п. того действия, которое выражено инфинитивом. При этом слово *охота* утрачивает определенность своих семантических очертаний, а возможности его синтаксического употребления еще более сужаются: выражение данного значения связывается с закреплением этого слова в начале конструкции и в сочетании с инфинитивом несовершенного вида¹. Неразличение этих значений в словаре ведет к тому, что после определения значения слова пример, который должен был бы иллюстрировать это значение, в свою очередь нуждается в разъяснении. Так, в словаре Ожегова указывается «*Охота*²...2. в знач. сказ., кому с неопр. Есть желание, хочется (разг.). *О. тебе спорить с ним!* (зачем ты споришь с ним)». Ясно, что толкование этого примера, заключенное в скобках, противоречит данному перед этим определению значения.

Ср. еще: «— Гм! А впрочем, *охота вам*, маменька, о таком вздоре рассказывать, — раздражительно и как бы нечаянно проговорил вдруг Раскольников» (Достоевский, Преступление и наказание); «Раскольников засмеялся. — *Охота же так беспокоиться!*» (там же); «[Кулигин] Что у вас, сударь, за дела с ним? Не пойдем мы никак. *Охота вам жить у него да брань переносить*» (Островский, Гроза); «Еще раз предлагаю домой. *Охота мучиться* ради Гамлета» (Федин, Первые радости)².

¹ Вообще отрицание чаще сочетается с формами глаголов несовершенного вида. Ср.: «Я хоть теперь хочу искупить (соверш. вид) свой грех. — Нечего искупать...» (несоверш. вид) (Л. Толстой, Воскресение); «Успокойтесь (соверш. вид), — сказал он. Нечего мне успокаиваться» (несоверш. вид) (там же); «Простите (соверш. вид) меня, Дмитрий Иванович, я много нехорошего говорила третьего дня. — Не мне прощать (несоверш. вид) вас...» (там же).

² Можно заметить, что даже лицо «косвенного субъекта» (*охота кому*) приобретает здесь определенное значение. *Охота тебе ходить туда!* — значит «зачем, с какой стати»; *охота ему ходить туда!* наряду с таким значением может выражать несогласие с мыслью, что «он ходит (или пойдет) туда» (тогда здесь могут быть слова *как же, как бы не так*), т. е. предложение имеет значение «противоположности» тому, что якобы

Ср. то же самое с отнесением к прошедшему времени, т. е. в сочетании с *охота...было*: «То ли дело облегчить сердце полной исповедью! Давно бы так, мой ангел! *Охота же тебе было не сознаваться* в том, что я давно знала...» (Пушкин, Роман в письмах); «[Досужев] Эх! *охота вам было жениться!*» (Островский, Доходное место); «— *Охота вам было связываться?* — примирительно заговорил Веткин...» (Куприн, Поединок) и др. Ср. с согласованием: «— *Охота была!* — отозвался Потап Максимыч. — Наплевала бы да и полно... С дурой чего вязаться?» (Мельников-Печерский, В лесах).

Примерно такие же сомнения вызывает и характеристика в словарях слова *даться*, когда оно употребляется только в форме прошедшего времени, причем также обычно лишь в предложениях, оформленных как вопрос, или при выражении несогласия, возражения, осуждения и т. п. (обыкновенно в начале конструкции). Конечно, такие определения, как «Стать предметом постоянного внимания, интереса, пристрастия» («Толковый словарь» под редакцией Д. Н. Ушакова), «Стать предметом крайнего интереса, внимания» (словарь С. И. Ожегова), не определяют сущности значения слова в приводимых там же примерах: *Далось тебе это кино: только туда и ходишь! Далась тебе эта книга!* поскольку остаются в стороне его экспрессивная направленность, предопределяющая его интонационную «связанность», а также место в предложении и общий «контур» последнего (дательный падеж личного местоимения или имени; чаще всего наличие указательных местоимений *этот, эта...* или притяжательных *ваш, твой...* перед существительным и т. д.)¹; ср.: «— *Дался вам этот Екатеринбург, право!* — с досадой отозвался Обломов» (Гончаров, Обломов); «*Дался вам этот сват!* — досадливо перебил Михаил. — От него пользы было, как от козла молока, а вреда много» (Шолохов, Тихий Дон); «Ну, и упрямый же ты, лейтенант. *Дались тебе эти минные поля!*» (Некрасов, В окопах Сталинграда). В своих определениях составители словарей, видимо, исходили из того значения слова, которое проявляется в предложениях, оформленных как вопрос («*Что это, Илья Ильич, дались вам две гривны.* Я уж вам докладывал, что никаких тут двух гривен не лежало...» (Гончаров, Обломов)).

С определенным порядком слов связывается значение таких фразеологизирующихся сочетаний, как: *Много ты знаешь! Много он знает! Много ты понимаешь!* и т. д. Конечно, и при ином расположении слов эти предложения (как и почти всякое предложение) могут быть произнесены с самыми разнообразными интонациями, но именно данный порядок слов, закрепляя их ироническое значение, как это ни покажется с первого взгляда парадоксальным, в значительной мере освобождает их от иронической (в узком смысле этого слова) интонации. *Много ты знаешь!* становится экспрессивной заменой *Ничего ты не знаешь!* или *Плохо ты знаешь!* Чаще это не насмешка, а просто фамильярное «отрицание» или грубое возражение: «— *Много ты знаешь!* — желая обидеть ее, крикнул я... — *Ты сам ничего не знаешь,* — заговорила она торопливо...» (Горький,

утверждается. Насмешливая интонация здесь более ощутима, она становится подвижнее, порядок слов также более свободный. Ср.:

[Лиза] И Чацкий, как бельмо в глазу;
Вишь, показался он ей где-то, здесь внизу,
(осматривается).

Да! как же? по сеньям бродить ему охота!
Он чай давно уж за ворота,
Любовь на завтра поберег,
Домой, и спать залег.

(Грибоедов, Горе от ума).

¹ Кстати, характеристика грамматического употребления слова в «Словаре» С. И. Ожегова: «1 и 2 л. не употр.» не представляется точной; ср. в «Словаре» под ред. Д. Н. Ушакова: «*Что я им дался!* Нужно было отметить, что употребляется в этом значении только форма прошедшего времени.

В людях); «— *Много ты понимаешь!* — оборвал ее охотник» (Пришвин, Кладовая солнца). Что эти сочетания в известной мере фразеологизируются (именно в указанном значении), видно еще из того, что после *много ты знаешь* может появляться прямое дополнение. В то время как сказать, например, *Ты много знаешь своего отца*, видимо, нельзя, *Много ты знаешь своего отца!* для выражения отрицания становится возможным: «— *Много ты знаешь своего тятеньку!*.. — тяжело вздохнув, молвила ей Аксинья Захаровна. — Тридцать годов с ним живу, получше тебя знаю порового...» (Мельников-Печерский, В лесах).

Такое же экспрессивное значение порядка слов можно видеть в предложениях со словом *нужно* (*нужен*, -а, -ы): «Старая хрычовка так и зашипела. „Вот вздумали чем удивить: *нужны* нам *очень* ваши деньги“..» (Тургенев, Петр Петрович Каратаев); «Вдруг раздался голос Глаши: — Ваше благородие, я неграмотна. — *Нужна* тебе грамота! — одернул ее ротмистр. — Ты скажи, как я велел, и все» (Федин, Первые радости). Значение отрицания усиливается словом *очень*: «—... Дает рубль и месяц попрекает: „Я тебя кормлю! Я тебя содержу!“ *Очень* мне *нужно*! Да плевать я хотела на твои деньги» (Чехов, На гулянье в Сокольниках); «— Что ж они, и мазут весь увезли? — недоверчиво спросил кривой Чумаков. — А ты думал, дед, тебе оставили? *Очень* ты им *нужен*, как и весь трудящийся народ» (Шолохов, Тихий Дон); «[Савельев] Что, заждалась меня? [Греч] *Очень* ты мне *нужен*. Я и не к тебе вовсе в гости пришла» (Симонов, Так и будет). И уже на основе именно данного значения сочетаний типа *очень мне нужно* становятся возможными такие конструкции: *Очень мне нужно, что...*, означающие примерно «какое мне дело, что...»: «[Несчастливцев] *Очень* мне *нужно, что* ты горд. Не тебе чета, сам Мартынов играл лакеев, а ты стыдишься» (Островский, Лес).

Проиллюстрировать, как на основе частого экспрессивно-иронического употребления отдельных слов в определенных синтаксических условиях формируется их особое значение, может также прилагательное *хороший* (в краткой форме). Находясь в препозиции к имени, оно нередко употребляется для отрицательной оценки. При этом, однако, оно получает не только «обратное значение» («плохой, нехороший»), но и служит вообще для отрицания значения последующего существительного (или субстантивированного прилагательного). Если это не столь явно в таких примерах, как: «— *Хорош друг!* — говорил Тарантьев. — Я слышал, он и невесту у тебя поддел; благодетель, нечего сказать!» (Гончаров, Обломов); «— ...Из поповен и прямо в чиновницы. *Хороша чиновница!* Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие» (Чехов, Женское счастье) и т. п., то, например, в ответе на *Добрый вечер!* — *Хорош вечер!* *Уже полночь* и т. п. слово *хорош*, как это очевидно, не предполагает значения «плохой», а значит примерно «какой же (вечер)» и т. п. Ср. еще: «— Свидетельству поверю, а вам нет... *Хорош сумасшедший!*» (Чехов, Жених и папенька); «— Ты теперь высоко летаешь, все больше по городу бьешь. Не мы, бедолаги. — *Хорош бедолага,* — затрясся животом Мартын Лопарев, — что ни месяц, то новая постройка» (Тендряков, Падение Ивана Чупрова).

То же можно сказать о формах прошедшего времени глагола *найти*, используемых в экспрессивно-оценочных предложениях. В определенных конструкциях реализуется особое значение этих форм, уже «оторванное» от значения данного глагола вообще, т. е. данного глагола как системы всех его форм. Здесь возможны двоякого рода конструкции. Во-первых, это сочетание: форма прошедшего времени глагола *найти* + косвенный падеж местоимения *кто, что* + инфинитив (и несовершенного, и совершенного вида), т. е. такие случаи: «— *Нашли* за что *ссориться!* за песенку!.. да как же это случилось?» (Пушкин, Капитанская дочка); «— *Нашли* кого *приглашать!* Пьяница, буян, оборванец!» (Чехов, В номерах); «— Ну, *нашли* о чем *говорить!* Сколько можете, столько и дайте»

(Чехов, Из воспоминаний идеалиста); «— Ах...это! *Нашел кому жаловаться!*» (Чехов, Ниночка); «[Маша] А разве ты умный? Мое письмо вслух прочел? Похвастаться. *Нашел чем хвалиться!*» (Афиногенов, Машенька); «— *Нашел за кого заступиться!* — хрипло бросил Платон» (Седых, Даурия); «Вот невидаль! *Нашел же чем гордиться!* — Кукушка из лесу в ответ» (Михалков, Кукушка и скворец) и под. Любопытно опущение местоимения: «[Дуся] Кто про что, она про Унуса. *Нашла хвастаться.* Цифра какая-то в бумазейных брюках. На этого лунатика только в погреб, ночью, с завязанными глазами и любоваться» (Леонов, Половчанские сады).

Вместо местоимений могут употребляться слова типа *место*, *время* (иногда с *где*, *когда*) с последующим инфинитивом или без него, когда действие определяется предыдущим контекстом: «— Чего бормочешь! — прикрикнули на него некоторые из артельщиков. *Нашел время галдеть!*» (Глеб Успенский, Квтанция); «[Варвара] (про себя) *Нашла место* наставления читать» (Островский, Гроза); «— Эх, Шлема, ты вот умный парень, а дурака сваял. *Нашел время, когда языком молоть*» (Н. Островский, Как закалялась сталь); «[Кудряш] Это? Это — Дикой племянника ругает. [Кулигин] *Нашел место!*» (Островский, Гроза); «— Куда вы пойдете в дождь...и так поздно. *Нашли время!*» (Н. Островский, Рожденные бурей).

Во второго рода конструкциях с формами прошедшего времени глагола *найти* (относимыми также ко всем трем лицам) отрицается оценка кого-то или чего-то, данная собеседником, причем эта оценка приводится в ответной реплике и выражается прямым дополнением при указанных формах глагола. Это может быть и отрицанием «мнимой оценки», т. е. возражением, предполагающим, что согласие с мыслью или требованием и т. д. собеседника оправдывало бы подобную оценку, например: *Сделай мне это. — Нашел дурака!*, т. е. «я не дурак, чтобы это делать». Это особое значение форм *нашел* и т. д. можно видеть в следующих примерах: «— *Вот нашел благодетеля!* — прервал его Тарантьев. — Немец проклятый, шельма продувная...» (Гончаров, Обломов); «— Что ж сидеть? Ешь! Или нешто дать тебе водочки выпить? — Выдумал! — проговорила Агафья. — *Пьяницу какую нашел...*» (Чехов, Агафья); «— ...Но ты не из тех дам, у которых все знакомство с деревней через молочниц. Сама из колхоза вышла. — Ого! — усмехнулась Марья Сергеевна. — *Нашел даму!*» (Овечкин, Районные будни); «Возбужденно запрыгали слова: — *Нашел дураков!*» (Горький, Мать).

4

Различным эмоциональным смещениям может подвергаться грамматическое значение видовых различий при экспрессивно-ироническом употреблении форм повелительного наклонения. Так, формы повелительного наклонения *совершенно* вида могут — при соответствующей интонации и определенном лексическом окружении — выражать угрозу или решительное предостережение, причем говорящий предостерегает именно против того действия, к которому он внешне как бы побуждает собеседника. Например, в предложении *То-то! Поговори еще!* [«— Что ж я сказал, Василий Карпыч? Нешто не иду! Помирать, так помирать... все одно... — То-то! *Поговори еще!*» (Гаршин, Из воспоминаний рядового Иванова)] говорящий по существу не предлагает собеседнику совершить называемое действие, а, скорее, показывает свою готовность помешать этому действию или же решимость наказать собеседника, если тот осмелится его совершить. [Ср.: «Василий *погрозил пагайкой*: „*Пошуми-ка...*»» (А. Толстой, Петр Первый)]. Часто «вторым членом» подобного обращения является прямое предупреждение о тех последствиях, которые вызовет совершение данного действия: «— *Застрелю! Коснись этой женщины!*»

(А. Толстой, *Хождение по мукам*); «— *Ударь еще, попробуй... Я тебя так по башке съезжу!*» (Седых, Даурия).

Можно заметить, что императивы в подобных предложениях обычно соединяются со словами *еще* (особенно императивы от глаголов с приставкой *по-*, имеющих «детерминативное» значение), *у меня, мне, только, попробуй(те)* (последнее выступает самостоятельно, а также в сочетании с императивом или инфинитивом). Ср.: «— Ну, *еще* слово *молви*, старая хрычовка!» (Фонвизин, Недоросль); «*Ты поговори еще там*» (Маяковский, Вл. Маяковский); «Фельдшер вспылил и крикнул: — *Поговори мне еще!* Дубина...» (Чехов, Скрипка Ротшильда); «*Поругайся мне еще тут...* — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа...» (Чехов, Хирургия); «*Потараторьте-ка еще у меня, сороки, сниму плеть с колка, научу уму-разуму*» (Мельников-Печерский, В лесах); «Потом сердито крикнул на тянувшегося к траве Гнедого: — Ну, ты, *пошали у меня!*» (Седых, Даурия); «*Только подступись*, разможу себе голову о камни! — вскричал он» (Помяловский, Очерки бursы); «Поля подошла к нему шагами, исполненными предгрозовою твердостью: „Ну-ка, *только скажи* мне что...“ — и шаль на себе запахнула для боя» (Малышкин, Люди из захолустья; Тают снега); «Я те повезу, еретица! *Попробуй, осрами-ка* меня...» (Горький, Детство); «Плевал я, что четверо вас! *Сунься попробуй!..*» (Седых, Даурия); «*Попробуй*, — угрожающе протянул Фомин» (Шолохов, Тихий Дон).

Как видно из приведенных примеров, предложения типа *тронь только!* могут выступать с различной степенью «самостоятельности». Иногда они воспринимаются в настолько тесной связи с предложениями, указывающими на «последствия» совершения данного действия, что являются своеобразным эмоциональным «эквивалентом» условного придаточного. Ср.: «*Только свяжись* — измотаю, как щенка» (Шолохов, Тихий Дон); Он поднес ему под нос свой увесистый кулак и сказал: — Этого ты не нюхал, сват? *Покомандуй еще, так я тебе покажу, где бог, а где порог...*» (Седых, Даурия).

Однако нельзя говорить о том, что формы повелительного наклонения получают здесь значение «сослагательного» и выступают в условных придаточных предложениях (подобно тому как в таких случаях: «*Пусти-ка* савраса без узды — он в один момент того накуралесит, что годами потом не поправишь!» (Щедрин, Либерал). Пришлось бы разграничивать случаи, где легко найти предложение, которое можно было бы признать «главным», и случаи, где такого предложения нет (т. е. отсутствует указание на те последствия, которые вызовет совершение обозначенного императивом действия). В ряде случаев такое разграничение было бы искусственным. Считать же, что предложение вроде *Только подойди!* само по себе лишь часть сложного предложения (с экспрессивно опущенным «главным» предложением), так же как *Если подойдешь!..* (без продолжения), или же что в сочетании *Только подойди — плохо будет!* — оно имеет иное синтаксическое значение, — вряд ли возможно. Скорее здесь особая присоединительная конструкция. Поэтому следует, видимо, рассматривать все эти предложения как особый тип экспрессивных императивных предложений, легко приобретающих, в зависимости от контекста, оттенки «условия», поскольку с ними в с е г д а сочетается или прямо высказанное, или же подразумеваемое предупреждение о «последствиях». Кроме того, все эти предложения характеризуются совершенно особой интонацией¹.

¹ Это резко отличает их от таких, например, предложений, где также выступают формы повелительного наклонения, но уже вне императивной направленности: «*А попробуй* прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой» (Гоголь, Ревизор); «[Катерина] Что мне только захочется, то и сделаю. [Варвара] *Сделай, попробуй*, так тебя здесь заедят» (Островский, Гроза).

Интересно, что в предложениях вроде *Подойди только!* и т. п. наблюдаются почти исключительно формы повелительного наклонения совершенного вида. Формы несовершенного вида с подобной направленностью можно встретить только в очень редких случаях: «А может еще... — Ну-ну! *Разговаривай!* — закричал пекарь» (Горький, Двадцать шесть и одна); «*Балу!* — басом гаркнул Петр. — Мишка! Шкуру спущу!» (А. Толстой, Петр Первый); «Господи! — вздохнул Гаврила. — Ну-ну!... *куксись у меня!* — оборвал его Челкаш» (Горький, Челкаш). Лексические возможности такого рода форм ограничены.

Формами повелительного наклонения несовершенного вида часто выражается то, что А. М. Пешковский назвал «шутливым или ироническим побуждением». В качестве иллюстрации он приводит три примера из произведений А. Н. Островского: «*Шутите, шутите!* А вы думаете, мне без борьбы досталось это уважение?»; «*Круглава.* Много очень воли ты забрала. А гни я. Заприте. *Круглава.* Болтай еще!»; «*Кричи* еще шибче, чтоб соседи услышали, коли стыда в тебе нет»¹. Нетрудно заметить, что в данных случаях преобладают оценочные моменты. Побудительной интонации здесь нет. Высказывание направлено не столько на недопущение или прекращение действия (*не кричи! не болтай! не смейтесь!*), сколько на его оценку (отрицательную) и воспринимается как возражение или осуждение.

Оттенки «иронического побуждения» могут быть весьма разнообразны. Так, под формой иронического поощрения скрывается оценка совершаемого собеседником действия. Здесь ощущается возражение, осуждение этого действия как бесполезного в том или ином плане (в зависимости от лексического содержания глагола). Например, *Рассказывай тут! Толкуй тут!* могут выражать недоверие или несогласие; *Спорь больше!* может значить «нечего спорить, зря споришь»; *Ври больше! Ври, ври!* — «врешь, нечего врать» и т. п. Ср. *Жди! Как бы не так!* и т. д. Ср.: «— С тех ворот ближе выезжать. — *Толкуй тут,* — кричал Лукашка: — в средние ворота ехать надо...» (Л. Толстой, Казаки); «— Ты обедал? — У меня... того... обедать-то нечего. Да и не хочется. — Ну да, *рассказывай!* Глупостки! Помоги ковер внести, потом пойдем на кухню, покушаем» (Н. Островский, Рожденные бурей); «— Ты не тани, а дергай... Сразу! — *Учи ученого!* Экий, господи, народ необразованный!» (Чехов, Хирургия); «*Остри!* Нашел чем пугать! Смешно, ей-богу!» (Маяковский, Мистерия-буфф); «— *Ври еще!* — спокойно ответил мне Харлов: — коли я говорю, стало оно так!» (Тургенев, Степной король Лир); «— А ты *ври больше,* — оборвал его Василий Карпыч. — Зачем мне врать, ежели правда?» (Гаршин, Из воспоминаний рядового Иванова).

Несколько иные оттенки в таких обращениях, как *Смейтесь, смейтесь! Шутите, шутите!* [ср. «*Смейтэсь, как хотите,* а Бонапарте все-таки великий полководец» (Л. Толстой, Война и мир)]. Они являются своеобразным ироническим допущением; здесь явно ощущается противопоставление. Говорящий как бы указывает, что данное действие собеседника не может повлиять на его собственное убеждение или вообще на ход событий [*«Запрещайте, пожалуй! всем ртов не замажете!»* (Щедрин, Господа Головлевы)]. Для подобных обращений характерно повторение того же императива: «— *Смейтесь, смейтесь,* а я вот скажу барину-то! — захрипел Захар» (Гончаров, Обломов); «— *Пой, пой* эту песню! — возразил Тарантьев. — Чай, пропил, да и спрашиваешь...» (там же); «— *Ругайтесь, мол, ругайтесь,* Гаврило Андреич», — подумал он опять про себя» (Тургенев, Муму); «Кузьма Федорыч как бы говорил: „*болтай, болтай,* я знаю, что дело совсем не в этом!“» (Малышкин, Люди из захолустья).

¹ А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 5-е изд., М., 1935, стр. 188—189.

В иронически произнесенной фразе императивы несовершенного вида могут служить для выражения иронического совета, например: «Вдруг конек над ним заржал И, толкнув его копытом, Крикнул голосом сердитым: „Спи, любезный, до звезды! *Высытай* себе беды, Не меня, ведь, вздернут на кол!“» (Ершов, Конек-горбунок); «Я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться приличнее о человеке, который мне близок и который так много сделал для меня...— Много!— злобно возразил Тарантьев.— Вот постой, он еще больше сделает — ты *слушай* его!» (Гончаров, Обломов).

В форме иронического совета может быть высказано мнение говорящего о причине того, о чем идет речь. Интересна конструкция типа: *А ты делай больше!* в значении «вот потому-то, что ты делаешь это, так и происходит». Например, «Совсем охрип...— *А ты кричи больше!*». Ср. «*А ты зевай больше!*» и т. п. Ср.: «[Татьяна, подходя к столу] И за что на нас рассердился отец? [Акулина Ивановна, в дверях] *А ты больше бегай* от него... умная!» (Горький, Мещане); «— *А ты его больше слушай*, дурья голова! Им только и дела — выдумывать что-нибудь, фокусы разные из людей выкомаривать» (Малышкин, Люди из захолустья).

5

Угроза по адресу собеседника может быть выражена формой 2-го лица будущего времени в сочетании со словами *мне, у меня*: *Ты мне поплачешь!* *Ты у меня поплачешь!* В зависимости от интонации эти фразы могут приобретать почти противоположный смысл. *Ты у меня поплачешь!* может передавать не только «обещание» заставить собеседника «поплакать», но и резкое предостережение, чтобы он «не смел плакать». Значение угрозы не зависит уже в таком случае от лексического содержания глагола: «— Погоди, попадешься, я те уши-то направлю, как раз: *будешь у меня скалить зубы!*» (Гончаров, Обломов); «— Сережка, марш домой, сейчас же! Я тебе покажу, мерзавцу. *Ты у меня повоеешь!*— И она направилась к сыну с намерением остановить его» (Н. Островский, Как закалялась сталь); «[Хорошилин] Ну, *ты у меня похамишь!*» (Тренев, Навстречу).

Угроза может быть передана и формой 1-го лица будущего времени от глаголов совершенного вида, причем говорящий называет в этой форме не действие, которое он совершит, а действие, которое он запрещает совершать (обычно 2-му лицу). Глагол в таком случае следует после сочетания *я тебе*¹: «[Становой, грозя] *Я тебе поговорю!*» (Горький, Враги); «— Васька! Засеку! *Я тебе подслушаю!*» (Островский, Рожденные бурей); «— Ты куда? Стой, говорю тебе! *Я тебе побегу*, пся твоя мать!» (там же); «[Митя] Маленько разбираюсь... [Андрей] *Я тебе разберусь...* Рано, Митенька, к девушкам присматриваться» (Ромашов, Знатная фамилия). «[Дарья Васильевна] А ты не ори. *Я тебе, брат, поору*. Я не посмотрю, что ты профессор» (Ромашов, Великая сила).

Вместо *тебе* в этой конструкции может быть *те*². Многочисленные примеры встречаются в произведениях Горького: «— Эх, я бы вот, поцеловал...— Пьяный женский голос визжит:— *Я те поцелую!*» («Дело Артамоновых»); «— Шабаш!— крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:— *Я те пошабашу!*» («Мои университеты») и т. п.

Таким образом, и значение личных форм подвергается экспрессивному смещению. По сути дела, рациональные соотношения между значе-

¹ Ср. А. П. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1952, стр. 193.

² Непонятно, почему Н. Ю. Шведова («Некоторые виды значений сказуемого в современном русском языке», сб. «Исследования по грамматике русского литературного языка», М., 1955, стр. 334), упоминая о данной конструкции, указывает только «частицу *те*». Да и, видимо, не только слово *тебе*, но и *те* в этой конструкции не полностью утрачивает местоименный характер, так как определяет направленность высказывания (ср. *Я ему поору!*).

нием 2-го и 1-го лица полностью разрушаются в таких, например, фразах, как: *Ты у меня поругаешься!* и *Я тебе поругаюсь!* Ср.: «Рассердился дед, повернулся к Мишке:— Я тебе, окаянный, прости, господи!.. *Постучи у меня, я те стукну!*» (Шолохов, Нахаленок).

6

Из глагольных личных форм формы 2-го лица наиболее богаты возможностями общего экспрессивного «передвижения» значения. Стилистические очертания этих форм наиболее подвижны. При обозначении невозможности того или иного действия форма настоящего — будущего от глаголов совершенного вида может стать экспрессивным «синонимом» инфинитива того же вида (*не разобрать!* — *не разберешь!*). При этом отнесенность ко 2-му лицу, т. е. собеседнику, потенциально распространяется на все кого, каждого, другими словами — форма 2-го лица получает обобщенное значение. В фамиллярной речи форма 2-го лица с тем же значением невозможности действия нередко употребляется без отрицания: «— А убили бы ее?— Ну, да, — *скоро убьешь эдакую,* — сказал извозчик так, как будто он неоднократно пробовал убивать пьяных девиц» (Горький, В людях).

Подобное экспрессивное отрицание возможности обычно поддерживается «частицами» *как же, как бы не так, черта с два, тут, там*; характерны здесь слова *у вас, с вами..., такого, с такими* и т. д.: «[Лиза] Этого не говорят девушкам. А должны были сами дожидаться, чтобы вас полюбили. [Разлюляев] *Да, дождешься от вас, как же!*» (Островский, Бедность не порок); «[Хозяйка] спи, спи, милый. Пять часов только. [Васин] *Уснешь тут, как же!*» (Арбузов, Таня); «— Нечего мне думать! ты хитрить хочешь. — *Нахитришь у вас!*» (Писемский, Богатый жених); «[Савельев] Как, вы тоже не спите? [Воропцов] *Заснешь с вами!*» (Симонов, Так и будет); «— ...Государство бьется, чего-то хорошее хочет для всех сделать. *Сделаешь с такими! Ха!*» (Малышкин, Люди из захолустья); «— И не поймали его?— *Поймаешь таких...* Он словно сквозь землю провалился» (Седых, Даурия). Ср. такое же употребление формы будущего времени с отрицанием *не* — уже для выражения невозможности не совершить данное действие (явно также обобщенно-личное значение формы): «[Кабанова] Не очень-то нынче старших уважают [Варвара, про себя] *Не уважишь тебя, как же!*» (Островский, Гроза)¹.

7

При определении значения глагольных форм обычно указывается на способность форм прошедшего времени (совершенного вида) в отдельных случаях быть отнесенными к сфере настоящего или будущего времени. Эта способность ограничена лексически. Едва ли можно насчитать больше нескольких десятков глаголов, для которых было бы действительно употребительным такое перенесение временных форм. Но при выражении экспрессивно-иронического отрицания подобное перенесение форм прошедшего времени в сферу будущего становится не только возможным, но для определенных случаев и характерным². Освобождаясь от лексических ограничений, такое употребление становится обусловленным синтаксиче-

¹ Эти случаи надо отличать от тех, когда форма 2-го лица в том же экспрессивно-ироническом плане выражает отрицание говорящим того, что собеседник (конкретный) совершит (будет совершать) данное действие. Само действие тогда мыслится более конкретно. Значения невозможности совершения действия («нельзя сделать») нет; ср.: «[Тимофей] Так ведь я хочу маршрут вести! [Андрей] *Как же, поведешь!* [Тимофей] А почему ж это я не поведу?» (Ромашов, Знатная фамилия). Форма 2-го лица соотносительна здесь с другими личными формами.

² Ср. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 544—545.

ски. Так, в экспрессивно-отрицательных конструкциях с «опорной» частью *Так и...* (*Так...и...*) форма прошедшего времени (совершенного вида) любого глагола свободно (и, так сказать, синонимически) заменяет соответствующие формы будущего времени. Ср.:

1. Предложения с формой *будущего* времени: «— Да! как же! отвечает Ваня. — *Так я и буду бегать* из угла в угол» (Глеб Успенский, Невидимка Авдотья); «— *Да, так я вам и поверю!* — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны» (Чехов, Палата № 6); «Бабушка, посмеиваясь, говорила мне: *Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать*, — нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!» (Горький, Детство).

2. Предложения с формой *прошедшего* времени: «— Кто это? — шепнул Иван Андреевич. — Ну, *так я вам и сказал* сейчас, кто я такой! — прошептал странный незнакомец. — Лежите и молчите, коли попались впросак» (Достоевский, Чужая жена и муж под кроватью); «— Говорят, очень уж шалят по ночам. — Нас пятеро. — *Так вас и побоялись*, пятерых-то, — вставил крестьянин» (Лесков, Разбойник); «— *Так я тебе, толстомордому, и дался...* Ишь ты» (Глеб Успенский, Крестьянин и крестьянский труд); «— Пойдем ко мне разговляться. — Так я к тебе, пузатому черту, и пошел! — Пойдем, говорю!» (Л. Андреев, Баргамот и Гараська); «— И докуда же это «пока» будет? — Пока Киришку не шлепну. — *Так он тебе лоб и поставил!* — Когда-нибудь подставит, — уверенно ответил Михаил» (Шолохов, Тихий Дон).

8

Выражение иронического отрицания может связываться также и с нарушением модальных соотношений, обычных в иных условиях для данных форм. Так, конструкции с *хоть бы* (или *хотя бы*), типа *Хоть бы кто-нибудь помог!*, т. е. имеющие обычно ограничительно-желательное значение, могут быть легко переведены в иную модальную плоскость. Для этого достаточно включить их в состав сложного предложения или поставить перед *хоть бы* соединительный союз. Ср.: *И хоть бы кто-нибудь помог!* Конструкция утрачивает желательное значение и начинает служить просто для констатации отсутствия обозначенного действия, т. е. форма сослагательного (условного) наклонения переводится в сферу отношений изъявительного наклонения. Ср.: «Собакевич слушал, все по-прежнему нагнувши голову, и *хоть бы что-нибудь похожее на выражение* показалось в лице его» (Гоголь, Мертвые души); «— ... Один такой же самоубийца именно жалуется в таком же своем дневнике, *что в такой важный час хоть бы одна «высшая мысль» посетила его*, а, напротив, все такие мелкие и пустые» (Достоевский, Подросток) и т. п.; «— ... Я ни одной ночи после того не спал... писал... писал... Спрашивал, что же вы со мной делаете, *так хоть бы слово написали*» (Писемский, Старческий грех) и т. п.

В подобных случаях значение конструкции становится синтаксически обусловленным. Оно не вытекает прямо и непосредственно из значения глагольной формы, а как бы строится на основе определенной и устойчивой «модели», представляя собой синонимическую замену отрицательной конструкции с глагольной формой прошедшего времени изъявительного наклонения; ср. *И никто (даже) не помог* и т. п. Закрепление за конструкцией в особых синтаксических условиях особого значения связывается с более устойчивым порядком слов. Так, экспрессивно-смысловые «варианты» желательной конструкции, вроде: *Помог бы хоть кто-нибудь! Хоть кто-нибудь помог бы!* и т. д. не переносятся уже обычно в эти условия.

Грамматическим субъектом таких предложений могут быть не только обобщенно-неопределенные *кто-нибудь*, *что-нибудь* и т. п. Ср.: «Один только Иосиф в подобных случаях *хоть бы бровью поводил*» (Писемский, Старческий грех); «[Лукинишна]... Мать ее за волосы, а *она хоть бы тебе*

пискнула — ни словечка» (Чехов, Дура, или Капитан в отставке). Сама глагольная форма в различных ситуациях вообще может быть опущена: «На улице опять жара стояла невыносимая; *хоть бы капля дождя во все эти дни*» (Достоевский, Преступление и наказание); «Спасаться, защищаться... где уж тут! Их шестеро; а у меня *хоть бы палка!*» (Тургенев, Стучит!); «— ...Сидим по целым дням вместе, и *хоть бы одно слово!*» (Чехов, Дочь Альбиона). Ср. также фразеологизированные *и хоть бы (тебе) что, и хоть бы (тебе) кто*: «— ...А как тут не раздражаться? С утра приказал почистить снег у крыльца, и *хоть бы тебе кто!* Ни одна шельма ни с места...» (Чехов, Оба лучше); «— ...Наконец, прощения просил, на коленках... ползал, и *хоть бы тебе что*» (Чехов, Ниночка) и т. д.

9

В ряде случаев разнообразные сочетания слов фразеологизируются в своем экспрессивно-ироническом значении. В отличие от рассмотренных случаев, где устойчивыми являлись только самая модель конструкции («фразеосхема») и ее опорные слова, здесь фразеологическая устойчивость сочетания не допускает его свободного лексического наполнения. Это выражения типа: *Этого еще не хватало (не доставало)! А ты думал! Эко важное дело! Эко важная птица! Велика беда! Велика важность! Эка беда (важность)! и под.* Ср. еще ярко-экспрессивные *Будьте покойны!* (при угрозе и т. п.), *Не беспокойтесь! Извольте радоваться! Будьте уверены! Будь здоров!* и т. д. Ср., например: «[Лопахин] Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, *будьте покойны*» (Чехов, Вишневый сад); «— ... Я думал, что санпоезд — это тоже боевое дело. А тут ни за что, ни про что, *изволь радоваться...*» (Панова, Спутники) и т. п.

*

В описанных случаях экспрессивно-ироническое переосмысление утвердительных по лексическому составу конструкций (из которых были рассмотрены только те, которые представлялись наиболее характерными в том или ином отношении) связано с особым смещением грамматических значений форм, с более или менее устойчивой моделью соответствующих конструкций, а также иногда и с возникновением в определенных условиях особого значения соответствующих опорных слов (иногда только в определенных формах). Естественно, что ироническое отрицание может скрываться вообще за всяким, по сути дела, предложением¹. Рассмотрение подобных случаев не имеет отношения к грамматике общего языка, за исключением, правда, изучения интонации предложения в широком плане. Такое изучение могло бы быть плодотворным на основе разносторонних экспериментальных данных. Предметом отдельной работы является и рассмотрение структуры таких предложений, выражающих экспрессивно-ироническую оценку, которые в отличие от большинства рассмотренных не связаны с глагольным предикатом.

¹ Передко отрицательный смысл подкрепляется специально такими словами, как: *как бы не так, как же, еще бы, черта с два, держи карман, жди, ничего сказать, ничего себе и под.* Ироническое отрицание оказывается в ряде случаев после *а то...*, например: «— Его, товар-то, сгружать уж почали, поди, по себе давно рассовали. — *А то нас будут ждать!*» (Малышкин, Люди из захолустья); «Но кухарка так залихватно хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в ее зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей. — Это — Саша? — *А то я!* — смешливо кричала кухарка» (Горький, В людях); «— Он, должно быть, уж стар, барин? — спросил Месяц. — Ну, *а то* молодой, — подумав, ответил Филат» (Сергеев-Ценский, Лерик), и др.

А. Н. ГВОЗДЕВ

ВОПРОСЫ ФОНЕТИКИ.
ЧТО ДАЮТ ТРИ ТИПА ТРАНСКРИПЦИЙ¹

1

Помещенная в журнале «Slavia» статья Р. И. Аванесова ставит целью выяснение того, какую помощь может оказать использование транскрипций разного типа для теоретического изучения фонетической системы языка. Автор статьи придает чрезвычайно большое значение выдвигаемому им вопросу. Он пишет: «Научно-лингвистическая транскрипция разных типов является квинтэссенцией теоретического изучения звуковой системы языка в ее разных аспектах, разных ее связях со структурой языка. Она наглядно демонстрирует результаты теоретического изучения звуковой системы языка» (стр. 371). Вследствие этого, а также потому, что предлагаемые Р. И. Аванесовым типы транскрипций резко отличны от того, что обычно принято понимать под фонетической транскрипцией, есть основание подробно рассмотреть выдвигаемые в статье положения, тем более что сам автор в заключении выражает надежду, что «обсуждение положений, выдвинутых в этой статье, поможет ему в дальнейшей разработке проблемы» (стр. 371).

В качестве введения в статье коротко сообщается о параллельных и непараллельных позиционных чередованиях и о связанных с последними слабыми фонемах. На основе этого выдвигаются три аспекта изучения фонетического строя для таких языков, как русский: 1) собственно фонетический, рассматривающий звуки «вне отношения к структуре языка»; 2) словофонематический, устанавливающий состав фонем (сильных и слабых) в «словоформах»; 3) морфофонематический, заключающийся в рассмотрении звуковых единиц «в качестве элементов морфемы». Для каждого из этих аспектов и предлагается особая транскрипция, обозначаемая соответствующим термином.

Необходимо отметить, что в статье остаются нераскрытыми основные понятия, которые являются исходными при решении поставленных проблем, например: что такое слово, в частности фонетическое слово, что такое морфема (а также некоторые другие). Они не так ясны, как может показаться, особенно если рассматривать их с точки зрения тех аспектов, которые предложены в статье.

2

Задачи фонетической транскрипции определяются в ее связи с первым аспектом так: «кратчайшие звуковые единицы... рассматриваются с максимальным учетом всех их физиолого-акустических свойств и притом вне отношения к структуре языка, вне учета позиционных условий, определяющих в той или иной мере их качество, без постановки вопроса о том, какие кратчайшие единицы являются разновидностью одной и той же еди-

¹ По поводу статьи Р. И. Аванесова «О трех типах научно-лингвистических транскрипций» («Slavia», роѣн. XXV, сеѣ. 3, 1956. В дальнейшем ссылки на стр. этой статьи даем в тексте в скобках).

ницы и какие являются самостоятельными, другими единицами (т. е. без постановки вопроса о тождестве и не тождестве)» (стр. 351).

Хотя фонетическая транскрипция, по-видимому, понимается Р. И. Аванесовым в соответствии с обычными взглядами на ее цели и характер [о чем свидетельствует его замечание: «фонетическая транскрипция не требует особых пояснений» (стр. 353)], некоторые пункты приведенной характеристики требуют замечаний.

1. Прежде всего, сюда относится заявление, что «кратчайшие звуковые единицы» рассматриваются «вне отношения к структуре языка». Но, как это было выяснено акад. Л. В. Щербой, без отношения к структуре языка невозможно самое расчленение на кратчайшие звуковые отрезки, показательным примером чего служат аффрикаты. Признание их за одну единицу делается на основе их противопоставлений в системе языка. Так же, в зависимости от структуры языка, дифтонги представляют то одну единицу, то две единицы.

2. Описания фонетической транскрипции не дано, а в предлагаемых примерах трудно видеть «максимальный учет всех физиолого-акустических свойств». Не обозначаются даже такие нередко отмечаемые особенности, как фаукальное и латеральное *m*, *ð*, глухие *p*, *l*, *m*, *n*, лабиализованные согласные, сильноначальные и сильноконечные согласные; нет попыток обозначения высоты музыкального тона гласных, их разной громкости и шепотного произношения.

3. Наоборот, все отмечаемые детали звуков относятся к таким качествам, которые позиционно обусловлены: *ê*, *Λ*, *u^e*, *ʒ*, *ʁ*, *ʔ*, *o*, *o'*, *ð* и т. п. И нет оснований не отмечать, как позиционно обусловлены те или другие звуки, например открытое и закрытое *e*. Такие разновидности звуков появляются в «конкретных языковых фактах», которыми являются «словоформы». Поэтому фонетическая транскрипция имеет тот же объект позиционно обусловленных звуков, что и словофонематическая транскрипция, только в первой не ставится вопрос о принадлежности звуков к фонемам.

4. Но даже утверждение, что при данном аспекте не возникает вопроса, какие звуки «являются разновидностью одной и той же единицы и какие являются самостоятельными, другими единицами», нуждается в оговорках. Есть ряд оснований допускать, что вопрос этот навязывается исследователю, что на фиксацию звуков невольно влияют представления о группировке звуков в известные единицы, причем эта группировка обуславливается акустическими свойствами звуков. Об этом говорит самая система обычно употребляемых в фонетической транскрипции знаков — букв того или иного алфавита. Транскрипция и развивалась как уточнение и устранение недостатков традиционного орфографического письма, а последнее справедливо признается в своей основе фонологическим письмом. В данной статье употребляются буквы русского алфавита, иногда сопровождаемые дополнительными значками. Так, с одной стороны, обозначение буквой *u* (без значков) закрытого *u* (*путь*) и открытого *u* (*пила*) или буквой *ð* таких различных в артикуляционно-акустическом отношении звуков, как *ð* в *дар*, *дна*, *седла*, есть уже своего рода объединение звуков в единицы; также, с другой стороны, сопровождение буквы значками, например *a*, *ˈa*, *a'*, *ä* или *e*, *ê*, невольно наводит на мысль о том, что это разновидности чего-то общего: звука типа *a* или *e* (вопрос не в том, правильна ли такая группировка). Поэтому в значительной мере представляется иллюзией то, что при фонетической транскрипции не возникает вопроса о тождестве.

При методическом рассмотрении вопроса выдвигались разные решения об этих единствах. Так, Бодуэн де Куртенэ, исходя из индивидуально-психологической концепции языка, развивал теорию о представлениях звуков как постоянной, общей единицы и о расхождении между намерением и исполнением, зависящим от связей артикуляции звука с артикуляциями окружающих звуков. Акад. Л. В. Щербой было выдвинуто чисто

социальное основание — выделение типов звуков в зависимости от их роли в различении значимых элементов языка.

У Р. И. Аванесова нет четкого понятия о звуке речи как фонетической единице; фонетика остается без объекта. Его подход оставляет фонетику вне языкознания, в связи с чем получается разрыв между фонетикой и фонологией, на ошибочность чего не раз указывалось.

3

Что представляет собой словофонематическая транскрипция? Важно установить, с какой языковой единицей она связана. Об этом сообщается следующее: «Второй аспект основан на рассмотрении кратчайших звуковых единиц в качестве элементов звуковой оболочки словоформы, т. е. данного конкретного слова в его данной форме (т. е. на рассмотрении их в качестве фонем). Этот аспект исследования назовем словофонематическим, так как исходным для него является слово в той или иной форме, конкретный „случай“ как лексико-грамматический факт» (стр. 351). Так как исходным понятием служит здесь «словоформа», то следовало ожидать разъяснений, что понимается под «словоформой» в фонетическом отношении. Но этого в статье не сделано, а между тем вопрос о фонетическом слове отличается сложностью как раз в отношении позиционных чередований, которые в трактовке фонем отводятся очень большое место.

Дело в том, что позиционные чередования обычно связаны со словом то большего, то меньшего объема. Редукция гласных, например, охватывает «большое слово», включающее проклитики и энклитики (предлоги и частицы), в то же время по оглушению звонких согласных в конце слова предлоги включаются в слово (в них конечный согласный не оглушается), а частица *ли* остается за пределами слова (перед ней звонкие оглушаются) и т. д.¹. Поэтому следовало указать, включаются ли в «словоформу» проклитики и энклитики (фонетически они несамостоятельны) или они представляют самостоятельные «словоформы». В примерах транскрипций позиционное положение звуков, имеющих в предлогах и союзах, определяется по их связи со следующими словами: *на другой* — П [н_ад₁ругój]; *об истине* — П [абу́сг'ин'э]; *что люди* — П [шт₂а́л'уд'и] (стр. 366—367) (частицы вообще не встретились), — так что, по-видимому, «словоформа» равняется большому фонетическому слову. Это имеет большое значение для решения вопроса о фонемах.

Назначение словофонематической транскрипции представляется так: «Словофонематическая транскрипция передает на письме звуковую оболочку конкретного языкового факта, „случая“ (слова или слова в определенной его форме), частично „раздевая“ входящие в ее состав кратчайшие звуковые единицы — освобождая их от всего „внешнего“ — позиционного, обусловленного в данном конкретном языковом факте фонетическим положением и сохраняя „внутреннее“, все самостоятельное и функционально значимое. Буква как элемент словофонематической транскрипции является знаком фонемы — сильной (в позиции максимальной дифференциации) или слабой (в позициях меньшей дифференциации)» (стр. 352). Таким образом, все позиционное объявляется «внешним», функционально незначимым в словоформе, т. е., очевидно, не имеющим различительной функции. А различительность в словоформе связывается с позициями, как это видно из следующего „закона“: «тожеству словоформы (т. е. той же словоформе) соответствует тожество фонем; напротив, „не тожество“ словоформ (т. е. разным словоформам) соответствуют различия в фонемах одного „ранга“» (стр. 350). Далее на примерах иллюстрируется различие в „сильных фоне-

¹ Подробнее о разном объеме слова по фонетическим показателям см. в статье «О пределах действия звуковых закономерностей в русском языке» (сб.: А. Н. Гвоздев, О фонологических средствах русского языка, М.—Л., 1949).

мах" ([сон], [сын], [сан]) и в „слабых фонемах" (глухие в конце [пыл'йт], [пыл'йш])¹.

Но словоформы могут различаться и противопоставлением сильных и слабых фонем, и это может быть единственным их различием. Ср. различие в гласном и глухом согласном перед глухим согласным: [утóк]—[сто́к]; [упа́л]—[спа́л]; [ика́л]—[ска́л]; или противопоставление сонорного с таким же глухим: [во́лк]—[во́ск]; [сýм'и]—[сýтк'и]; [гýлк'и]—[гýпк'и]; [по́рт]—[по́ст]; [по́л]—[по́т]; [со́н]—[со́к]. Следовательно, различителями выступают фонемы не одного „ранга". Правда, в статье имеется одна неясность. В качестве примеров, когда имеются «различия в слабых гласных фонемах», приводятся сопоставления: [сурóк] и [сырóк], [пыл'йт] и [пал'йт] (стр. 350), где звуком с «ослабленной различительной способностью», «эквивалентом двум звуковым единицам сильной позиции» является только [а] ([α]); но нигде не затрагивается вопрос о том, являются ли безударные [у], [и] слабыми фонемами, и в транскрипции они не отличаются от ударных [у], [и]².

Но дело не только в этом.

Особенно показательны случаи, когда слабая фонема именно позиционно обусловленным качеством функционирует наравне с сильными фонемами. Так, в «Фонетике современного русского литературного языка» Р. И. Аванесова читаем: «В словах *мял*, *мёл*, *мел* (произносится [м'ал], [м'ол], [м'ел]) употреблены разные гласные, находящиеся в совершенно одинаковых условиях: после мягкого согласного [м'] и перед твердым согласным [л], под ударением. Так как в приведенных словах остальные звуки тождественны, то единственным средством различения их звуковых оболочек является качество гласных» (стр. 8). Но в то время как в *мял* и *мёл* [м'] является сильной фонемой, в *мел* [м'] перед [е] является слабой по твердости и мягкости фонемой, что и отмечается в словофонематической транскрипции цифрой 1 [м₁ел]; однако эти разные фонемы, звучащие одинаково, функционируют одинаково — не служат средством различения указанных слов. Наоборот, сравнивая *мел*, *мёл*, *мол*, нельзя не видеть, что два первых слова отличаются от последнего мягкостью [м'], так что слабая по твердости-мягкости фонема [м₁], а фактически мягкая [м'] в [м₁ел] противопоставляется сильной твердой [м] в [мол].

Или сравнение «словоформ» *спать* — *стать* — *слать* показывает, что различие между ними ограничивается противопоставлением [п]—[т]—[л], хотя в двух первых словах [с]—слабая по глухости-звонкости, а в *слать* — сильная глухая фонема. Так же сравнение *сдать* [здат']—*знать* — *звать* показывает, что они различаются лишь вторым согласным [т]—[н]—[в], хотя [з] в *сдать* — слабая по глухости-звонкости фонема, а в других словах — сильная звонкая фонема [з]. И в этих случаях одинаково звучащие сильные и слабые фонемы совпадают по функции — они не служат различителями. С другой стороны, сравнение пар *стал* — *знал*, *сдал* [здал] — *слал* показывает, что различение осуществляется двумя звуками: [с] — [з] и [т] — [н] в первом случае и [с] — [з] и [д] — [л] во втором, так что по-разному звучащие сильные и слабые фонемы [с]—[з] выступают различителями. Кроме того, сравнение *стал*—*сдал* [здал] не оставляет сомнения, что различие не исчерпывается только вторым звуком [т] — [д], но охватывает и первый [с] — [з], являющийся в обоих случаях слабой по глухости-звонкости фонемой (в словофонематической

¹ Оставляем без рассмотрения такие нарушения этого «закона», как различия в фонемах одной словоформы: с одной стороны, твор. падеж [руко́й] и [руко́ю], [то́й] и [то́ю] и, с другой, отсутствие различий в фонемах при «не тождестве» словоформ в омонимах [п'и́ла] (1 — орудие и 2 — прошедшее время от *пить*).

² В книге Р. И. Аванесова «Фонетика современного русского литературного языка» (М., 1956) безударные [у], [и] называются слабыми гласными фонемами (стр. 114), хотя они не являются эквивалентами н-скольких фонем; в то же время сохраняется утверждение, что слабая фонема «является эквивалентом... двух или нескольких сильных фонем» (стр. 30).

транскрипции [с₃тал] — [с₃дал]). Таким образом, различие словоформ осуществляется не только фонемами одного «ранга», но могут противопоставляться сильные и слабые фонемы, а также слабые по известному качеству фонемы.

Помимо рассмотренных явлений отметим следующее. Если принять, как это выяснялось выше, что «словоформа» представляет собой фонетическое слово со включением проклитик и энклитик, то обнаруживается ряд случаев, когда звуки разных позиций служат единственным различителем двух «словоформ». Так, частица *ли* является энклитикой, благодаря чему совпадают в произношении формы с этой частицей и формы с конечным слогом *ли*: *мок ли* — *мокли*, *сох ли* — *сохли*, *густь ли* — *гусли* [гус'л'и], но перед этой частицей, как и в конце слова: а) происходит оглушение согласных, что приводит к различению звонким сильной позиции и глухим слабой позиции таких случаев, как *дрог ли* [дрокл'и] — *дрогли*, *остриг ли* — *остригли*, *вывез ли* — *вывезли*, *кров ли* [крóфли] — *кровли*, *трав ли* — *травли*; б) не происходит ассимиляции по мягкости, благодаря чему различаются твердостью в сильной и мягкостью в слабой позиции случаи: *вынес ли* ([вѣн'ьсл'и]) — *вынесли* ([вѣн'ьсл'и]), *вырос ли* — *выросли*, *мыс ли* — *мысли* ([мѣс'л'и]).

Вследствие того, что союзы сохраняют неизменным гласный, попадая в разные позиции по ударению, разграничиваются в первом предударном слоге: а) [ъ] в союзе *да* и [л]: *да мой* [дѣмой] — *домой* [дамой], *да нос* [дѣно́с] — *донос* [дано́с]; б) [о] в союзах *то*, *но* и [л]: *то пил* [топ'йл] — *топил* [тап'йл], *то мил* — *томил*; *но рой* [норо́й] — *нарой*, *норой* [наро́й]¹.

Таким образом, нельзя согласиться, что все позиционное не имеет функционального значения. В связи с этим нет основания в «раздевании» звуков слабых позиций, в выделении в них и отбрасывании позиционно обусловленных качеств как неважных в фонологическом аспекте.

Отношение между словоформой и фонетическими позициями не является таким простым, как это представляет теория слабых фонем, и вопрос о различительных функциях звуков, хотя он тесно связан с вопросом о позициях, все же является самостоятельным вопросом. Ему должно отдавать предпочтение при определении принадлежности звуков к фонемам. В связи с тем, что действующие фонетические законы имеют различный объем приложения, наблюдается скрепление позиций, вследствие чего в словоформах оказываются сопоставимыми и противопоставленными звуки разных позиций. Конечно, это подрывает все учение о «слабых фонемах», рассматриваемых изолированно в пределах одной слабой позиции.

Что касается выделения «слабых фонем», то здесь возникает ряд вопросов и сомнений, частью также потому, что не дано систематического обзора позиций и перечня имеющих в них слабых фонем. Так, общепризнанным является положение о двух позициях безударных гласных, в которых появляются разные звуки: [л] — [ъ] ([дѣрлгó] = дорогой). В словофонематической транскрипции и тот и другой звук обозначается одним знаком [α] и, следовательно, им приписывается одинаковая функция. Но прежде всего нельзя согласиться, что в обоих положениях различается одинаковое количество звуков, т. е. существует одинаковое число слабых фонем. Так, в первом предударном четко противопоставлены после твердых [л] — [ы] [слрók] (сорок) — [сырók], а в заударном [ъ] и [ы] совпадают, как это показывает омонимичность пар: [та́йнъм] (= тайном, тайнам — тайным), [вѣ́жът'] (выжать — выжить). Кроме того, возможны случаи пересечения указанных слабых позиций. Так, сравнивая: [лстáв'ил] — [пáстáв'ил], [лп'йшьт] — [злп'йшьт], можно видеть, что различие исчерпывается лишним согласным во вторых словах, но едва ли то же можно сказать о

¹ Подробнее об этих явлениях см. в указанном сборнике А. Н. Гвоздева (стр. 87—88), а также во «Введении в языкознание» А. А. Реформатского (М., 1955, стр. 185).

парах: [аствл'áл]—[пъствл'áл]; [лп'исáл]—[зъп'исáл]. Едва ли различие [л] и [ъ] в этих случаях не играет никакой роли. Выше приводилось также противопоставление в таких случаях, как [длрók]—[дърók] (*дорóг*—*да рог*)

Наоборот, в словофонематической транскрипции проводится различие в заударном конечном открытом слоге [и] и редуцированного [ɛ], чередующегося с ударным [е]. Так, формы *бани*, *в бане* транскрибируются П [báп'и]—[фзбáп'ɛ]. Здесь нельзя не отметить также, что [п'] в *бани* признается сильной фонемой, а *в бане*—слабой по твердости-мягкости обозначено [п₁]). Но сравнение омонимичных выражений *письмо Вани* (и *письмо Ване* говорит против такого разграничения, а в словофонематической транскрипции эти формы получают разный вид: [вáп'и] и [вáп₁'ɛ]. Характерно, что в фонетической транскрипции форма *в бане* передана [вбáп'иᵉ], а звук [иᵉ] в других слабых позициях передается знаком [α]. Следует отметить, что в других положениях, особенно в заударных слогах, разграничение [и] и [иᵉ] или [ь] не лишено искусственности. Так, омонимичны [лб'е'зл'уд'ът'] (= *обезлюдеть* и *обезлюдит*).

Вызывает сомнение и то, что редуцированные гласные после твердых и мягких согласных [л], [ъ] и [иᵉ], [ь] обозначаются одним знаком [α]. Во-первых, у них разный объем соотношений с сильными фонемами: [л] служит эквивалентом двух фонем ([о] и [а]), а [иᵉ]—трех: ([е], [о], [а]). Кроме того, трудно допустить, что в таких случаях, как *плати́*—*плети́*, *соли́*—*сели́*, *боле́л*—*беле́л*, различие держится только на твердости и мягкости первых согласных, а словофонематическая транскрипция склоняет к этому, так как отражает только их различие: [плáт'й]—[пл'áт'й], [сáл'й]—[с'áл'й], [бáл₁'él]—[б'áл₁'él]. Наоборот, омонимичные у многих говорящих (частично йкающих) словоформы *лежу́*—*лижу́*, *поседел́*—*посидел́* получают в словофонематической транскрипции разграничение: [л₁áжy]—[л'ижy], [пáс₁áд₁él]—[пáс'ид₁'él].

Хотя главной целью словофонематической транскрипции является выделение слабых фонем, в этом отношении нет полноты. Так, не затронуты такие позиционные качества, как ассимиляция зубных перед шипящими, например переход [с] в предлоге в [ш], [ж] и т. д.: *с шумом*, *с жаром*. Для этого потребовалось бы констатирование неразличения зубных—переднеязычных и введение какой-то новой цифры при букве. Почему-то Р. И. Аванесов не решился на это; не затронуты и соответствующие примеры.

Как показывают рассмотренные явления, различительные средства фонетики русского языка представлены с натяжками в угоду теории: в ряде случаев оказываются не показанными реально существующие и функционирующие различия, в других—выдвигаются мнимые различия. Словофонематическая транскрипция представляет фонетическую систему как лишенную колебаний и развития, тогда как в ней имеются и элементы неустойчивости, отмирающие и растущие явления¹.

4

Каково назначение третьей—морфофонематической—транскрипции? По этому вопросу в статье Р. И. Аванесова имеются такие указания: «Третий аспект заключается в рассмотрении кратчайших звуковых единиц в качестве элементов морфемы; назовем его поэтому морфофонематическим. При этом аспекте анализа в одну единицу объединяются все позиционные различия, наблюдаемые в одной и той же, равной себе морфеме. Такой единицей является фонемный ряд» (стр. 352). И дальше: «Вместе с тем этот анализ позволяет установить тождество морфемы с точки зрения

¹ Четко выраженное признание отмирающих и развивающихся фонем имеется у Р. И. Аванесова в его «Фонетике современного русского литературного языка» (стр. 134—135).

ее звукового строения...)» (там же). Поэтому прежде всего было бы совершенно необходимо остановиться на том, как понимается морфема. Важно установить, имеются ли в виду только продуктивные морфемы или морфемы, восстанавливаемые этимологически.

Примером расхождений в установлении звукового состава морфем в зависимости от разного понимания делимости слов на морфемы может служить наречие *натощак*. Р. И. Аванесов устанавливает в нем «слабую фонему [л] при отсутствии форм словообразования и словоизменения: [нѣтѣш':ák]»¹. Но если учитывать несомненную связь с выражением *на тощий желудок*, то следует установить сильные гласные фонемы [а] и [о] в двух первых слогах: [натош':ák]. В морфофонематической транскрипции следовало бы указывать деление на морфемы, но этого не делается. И в тексте из «Дубровского» (стр. 366—367) о такой делимости можно только догадываться по транскрипции. По-видимому, приставки не выделяются в словах *о пожаре*, *догадками*, но выделяются в словах *обвиняли*, *подгулявших*; суффикс не выделяется в слове *Дубровского*, но выделяется в словах *дворовыми*, *бедствия*. Такие решения далеки от бесспорности и последовательности. А от выделения или невыделения морфем зависит установление сильных позиций в морфемах: при других решениях морфофонематическая транскрипция имела бы иной вид. Рассмотрим еще слово *предположениями* III [п'р'адпѣ ложѣн'и'ј ам'и]. Очевидно, в нем приставка *пред-* признается самостоятельной — об этом говорит установление сильной фонемы [д], а приставка *по-* рассматривается как часть корня *-полож-*, иначе в ней можно бы восстановить сильную фонему [о] (*пóдал*). Но едва ли в этом слове с современной точки зрения *пред-* имеет больше оснований для выделения, чем *по-*.

Этот исходный пункт для данной транскрипции остался обойденным. Поскольку «морфофонематическая транскрипция исходит из морфемы», звуки здесь рассматриваются иначе, чем при рассмотрении фонем в словоформах; именно, в этом случае устанавливается функциональное единство входящих в один фонемный ряд фонем — сильной и слабых — исходя из «тождества морфемы» (стр. 350). Это уже не вопрос о различительной функции звуков, а вопрос о том, в какой мере расхождение в звуковом составе не нарушает единства морфемы. Его решение и основывается на понятии морфемы как значимой морфологической единицы, которая является высшей единицей по сравнению с фонемой и находится с последней в сложных отношениях. Явно морфологический подход сказывается в формулировке отношений между фонемным рядом и морфемой: «Тождеству морфемы (т. е. той же морфеме) соответствует тождество фонемных рядов, напротив „не тождеству“ морфем соответствует различие в фонемных рядах» (стр. 351). Это особенно ясно подтверждается тем, что одинаковые позиционно обусловленные ряды звуков составляют фонемный ряд лишь при условии их вхождения в одну морфему, например: [ж] — [ш] в [лóжѣк] — [лóшкѣ], но не [лóжнѣй] — [лóшкѣ], или [о] — [а] — [ѣ] в [вóду] — [вадá] — [вѣд'и'ной], а не в [вóду] — [вад'йт']. Кстати, вторая часть этой формулы: «„не тождеству“ морфем соответствует различие в фонемных рядах» — в такой категорической форме не соответствует фактам, так как имеются омонимичные фонемные ряды; ср. две морфемы *вод-*: [вóду] — [вадá] — [вѣд'и'ной], [вот] (вешних) и вводнѣй — [ввад'йт'] — [вѣвѣт]. Безусловно одинаковы фонемные ряды у омонимичных окончаний: *кон-ѣм* [ом] — *лос-ем* [ѣм]; *нес-ѣм* [ом] — *вынес-ем* [ѣм].

Главное же, если исходить из морфемы и видеть «функциональное единство» звуков фонемного ряда на основе «позиционной обусловленности его членов и их несемасиологизованности по отношению друг к другу» (стр. 350), то возникает вопрос, являются ли фонемные ряды пределом

¹ См. Р. И. А в а н е с о в, Фонетика современного русского литературного языка, стр. 33.

звуковых расхождений, не нарушающих тождества морфем. По общепринятым взглядам единство морфем не нарушается не только позиционными чередованиями, но также историческими (точнее, теми из них, которые стали морфологическими — *снег-а — снег-н-ый*), которые по их функциям для морфем однородны с позиционными чередованиями. Так, они: а) не разрушают единства морфемы, б) не создают добавочных значений (в отличие от тех, которые образуют внутреннюю флексию), в) не связаны с одной морфемой, а появляются в разнородных морфемах, г) обязательны в определенных морфологических условиях¹.

Поэтому для характеристики звукового состава морфем следует к позиционно обусловленным фонемным рядам присоединить и морфологические чередования, например, в корне *воз-* чередуются не только [з]—[з']—[с], но и [ж]: *вывоза — вывозить — вывоз — вывожу*. Без этого морфологическая характеристика остается неполной, она производится не с точки зрения тождества морфем, а со стороны внешнего для морфемы условия — зависимости звуков от позиций. С другой стороны, рассмотрение позиционных изменений только в одной морфеме не охватывает, как указывалось, всех позиционных изменений ([вóду] — [вада], но не [вад'йл]), вследствие чего и фонетический подход также не выдерживается до конца.

Следует также остановиться на том, какие вопросы возникают при выяснении того, в какой мере звуки способствуют или препятствуют выделению морфем и разграничению разных морфем. Прежде всего требуется отметить, что в отличие от слов, которые могут произноситься изолированно, морфемы изолированно не встречаются и употребляются в словах. При этом фонетических признаков деления слов на морфемы не имеется. Так, произносятся совершенно одинаково слова с разной морфологической делимостью: [п'рлстóй] = *прост-ой человек* и *про-стой вагонов*; [óстр'вь] = *остров-а* и *остр-ого*; [п'илá] = *острая пил-а* и *девочка пи-л-а*. Одинаковые сочетания звуков могут составлять отдельную морфему или входить в разные морфемы, или составлять часть одной морфемы, и это можно установить только на основе значения. Ср. начальное сочетание [н'ьда]-: *надо-рвáть*, *над-обн'ный*, *на-дойть*, *надоедливый*. Или конечное сочетание *ит*: *говор-ит*, *разли-т*, *визит*.

Таким образом, процесс выделения морфем в качестве морфологических единств («тожеств») является чрезвычайно сложным и осуществляется при непременном участии значения. При этом дело сводится не только к установлению единства чередующихся звуков фонемного ряда, а к установлению самого состава таких рядов, что происходит на основе широких и разнообразных соотношений между словами и их формами.

Различие фонетического и морфологического подхода сказывается в том, что нередко «различительность» того и другого рода расходятся. Так, если связывать различия в словах и формах с различиями звуков, как это обычно делается при первоначальном ознакомлении с морфемами, то в таких соотношениях, как *залил*, *записал*, *закупил*, *запылил*; *налил*, *написал*, *накупил*, *напылил*, следовало бы выделить приставки *з* и *н*; или в падежных формах прилагательных множественного числа *пустые*, *пустых*, *пустым*, *пустыми* можно бы выделить основу *пусты-* и окончания *е*, *х*, *м*, *ми*. А сопоставляя формы *столом* — *столам* или *пустым* — *пустом*, можно бы признать, что их различают или особые морфемы *о* — *а*, *ы* — *о*, или внутренняя флексия. При чисто фонетическом подходе такие решения вполне допустимы, но морфологический подход, учитывающий все имеющиеся в языке соотношения морфем, приводит к другим решениям.

Переходя к рассмотрению морфофонематической транскрипции в том виде, в каком она дается в статье, следует отметить, что она в общем повторяет фонематическую транскрипцию автора, данную в «Очерке грамма-

¹ Наличие исторических чередований не рассматривает как нарушение тождества морфем А. А. Р е ф о р м а т с к и й (см. его статью: «О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)», [сб.] «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 107—108).

тики русского литературного языка». Назначение морфофонематической транскрипции сводится к передаче кратчайших звуковых единиц «с освобождением всех их позиционно обусловленных качеств... в морфемах как кратчайших структурных, значимых единицах языка. В морфофонематической транскрипции остаются без обозначения все позиционно обусловленные в морфеме, не существенные для морфемы качества» (стр. 357). Здесь привлекает внимание заявление, будто «позиционно обусловленные качества не важны для морфемы». Это остается не раскрытым.

Действительно, как выяснилось, позиционные (а также морфологические) чередования не разрушают единства морфем, но слабые позиции, обладающие меньшими различительными возможностями, ослабляют различение разных морфем. Так, различаются *столом* — *столам*, но совпадают *огородом* — *огородам* [агаро́дѣм]; различаются *земли* — *земле*, но совпадают (письмо) *Коли* — *Коле* [кóл'и]; *стрижет* — *бежит*, но *машет* — *слышит*. Кроме того, в одной парадигме взаимная мена сильной и слабой позиции (в связи с подвижностью ударения) может разграничивать формы: *городом* [ѣм] — *городам*; *окном* — *окнам* [ѣм]. Поэтому позиционные качества препятствуют различению морфем, и это нельзя считать несущественным, тем более что имеются случаи, «когда фонемный ряд неполон, когда отсутствует в словах с данной морфемой сильная фонема» (стр. 357). Можно ли о таких морфемах сказать, что они лишены «существенных» качеств морфем? Можно ли приписать суффиксам *-тель* и *-ск* какую-то морфологическую неполноценность по сравнению с *ник-* и *-лив* потому, что у первого гласный, а у второго первый согласный не встречаются в сильной позиции?¹

Р. И. Аванесов в качестве характерного признака морфофонематической транскрипции называет следующий: «Буква является знаком фонемного ряда, причем каждый фонемный ряд обозначается по возглавляющей его сильной фонеме» (стр. 357). Это требует уточнения. Дело в том, что сильные фонемы в морфеме далеко не всегда чередуются со слабыми. Например, корни *дом-* и *ход-* одинаково передаются в морфофонематической транскрипции [дом] и [ход], тогда как [д] в *дом-* всегда остается неизменным, а [д] в *ход-* имеет фонемный ряд: [д] — [т] — [д']. Также [о] в корне *дом-* передает фонемный ряд [о] — [л] — [ѣ], а в корне *вот* соответствует только сильной фонеме [о]. При этом в отношении согласных имеется четко выраженная закономерность, обусловленная их положением в морфеме, а именно: согласные в начале морфемы (перед гласными) остаются неизменными: [м], [л] в *молодой*, [м'] в *мясо*, [з'] в *злянуть* и т. д.; наоборот, в конце морфемы они попадают в разные условия и образуют фонемные ряды: [д] — [т] — [д'] в *молодой*, [з'] — [с'] — [з] в *грязь*.

Помимо этого, в морфофонематической транскрипции не всегда употребляются буквы, соответствующие сильной морфеме, хотя это является ее основной целью. К такой непоследовательности вынуждают языковые отношения. Об этом сообщается так: «Однако в тех случаях, когда фонемный ряд неполон, когда отсутствует в словах с данной морфемой сильная фонема, приходится довольствоваться обозначением слабой фонемы» (стр. 357). Из этого прежде всего следует, что в языке существуют такие морфемы, которые не имеют «существенных» для морфемы качеств (там же); это не означает, что они неполноценны в морфологическом отношении.

Что касается обозначения фонемных рядов, то и здесь имеется непоследовательность. Обозначается только своего рода нижний предел, а не указывается, какой фонемный ряд скрывается за ним. Например, [л] ([л]) в *сарай* и *топор* различается тем, что в первом случае остается неиз-

¹ Этот вопрос заслуживает большого внимания, так как высказывается взгляд, что для морфологии важны только сильные позиции. Ср. подобное суждение А. А. Реформатского (указ. статья, стр. 95). Такой подход лишает возможности освещать многие морфологические явления.

менным, а во втором чередуется с [ъ] (*топоры*); то же [с'] в *сел* и *здесь* (ср. *здесь бы*). Есть и такие случаи, когда могут отсутствовать те или иные средние звенья; например, в корне *доктор* первое *о* имеет чередование с [ъ] (*доктора́*), но не имеет чередования с [л]. Поэтому нет оснований признавать, что буквы морфофонематической транскрипции служат обозначением «фонемных рядов» в определенной морфеме — они могут обозначать и одну сильную фонему, и одну слабую фонему, и неполный фонемный ряд. Морфофонематическая транскрипция, таким образом, не отвечает тем целям, для которых она введена, и лишена единого основания.

Если ставить перед собой задачу — показать неизменные и изменчивые элементы звукового состава морфем, то можно воспользоваться формулировкой А. М. Пешковского, который писал о корне *вод-а*: «Значение это может быть связано только с теми звуковыми элементами, которые есть во всех словах, т. е. не с *вѳд-*, не с *вѳт-*, не с *вад-*, не с *вад'-*, не с *вѳд-* и не с *вѳд'-* в отдельности, а с неким эксцерптом из этих элементов, с неким как бы алгебраическим «корнем», извлеченным из них, что схематически можно представить так: *в* + (*о* или *а* или *ѳ*) + (*д* или *д'* или *т*)»¹. Для компактности можно чередующиеся элементы располагать вертикально, помещая в нижнем ряду сильную фонему. В этом случае некоторые из рассмотренных примеров получают такой вид:

- 1) *дом* — д + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + о + м', 2) *ход* — х + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + о + д, 3) *док* — д + о + к, 4) *молод* — м + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + о + л + о + д, 5) *мясо* — м' + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{еи} \end{smallmatrix}$ + а + с + о, 6) *сарай* — с + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + р + а + й, 7) *топор* — т + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + п + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + д, 8) *доктор* — д + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + о + к + т + $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{а} \end{smallmatrix}$ + р, 9) *очень* — о + ч' + ь + н'.

Из этого видно, что [о] морфофонематической транскрипции может обозначать: 1) $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{о} \end{smallmatrix}$ [ход], 2) $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{ѳ} \end{smallmatrix}$ [тапор], 3) $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{ѳ} \end{smallmatrix}$ [дѳктѳр], 4) о [бч'ѳн']; [ѳ] может обозначать: 1) $\begin{smallmatrix} \text{ъ} \\ \text{ѳ} \end{smallmatrix}$ [тапор], 2) ѳ [сѳра́й]; 3) ѳ [бч'ѳн'] и т. д.

Вопрос о неизменных и подвижных звуковых элементах морфем в целом не поставлен и не разрешается морфофонологической транскрипцией. Частично он затрагивается в разделе, посвященном «блокам» — «типичным сочетаниям фонем, некоторые из которых имеют определенные общие для сочетания (для „блока“) звуковые признаки» (стр. 360). Не касаясь этого вопроса в целом, приходится отметить осложненность изложения этого вопроса и необоснованность его выделения. Речь идет о явлениях (вызываемых ассимиляцией согласных перед согласными), которые наблюдаются как на стыке морфем, так и внутри морфем. Внутри морфемы существуют и другие связанные группы (например, мягкость согласных перед [е] обусловлена и не может быть сопоставлена с сильной позицией), но почему-то они не привлекают внимания. С фонетической стороны в широком понимании, т. е. имея в виду и принадлежность к фонемам первых «обусловленных» звуков, сочетания фонем на стыке морфем и внутри морфем однородны, как это показывает словофонематическая транскрипция: П [с₁л'ос] — [с₁л'ок] (стр. 362). Но, естественно, на стыке морфем фонемы могут быть разъединены, а внутри морфемы они обычно неделимы. С другой стороны, иногда „блоки“, находящиеся в конце морфемы, допускают разъединение, например „блоки“ *ст*, *зд* в корнях *мест-*, *звезд-*: когда эти корни употребляются в прилагательных *местный*, *звездный*, то [т] и [д] не произносятся. Можно ли считать, что и в этом случае качество [с] и [з] определяется отсутствующими звуками? В словофонематической транскрипции этих прилагательных признается, что у [с] и [з] обусловлена только твердость, а глухость и звонкость самостоятельны (перед сонорной), а в морфофонологической транскрипции показывается,

¹ А. М. Пешковский, Сборник статей, М.—Л., 1925, стр. 10.

что у них обусловлена и глухость-звонкость (ср. II [м₁é с₁нх] и III [м₁é {с₃т}ној]). Это явное расхождение.

В общем морфофонематическая транскрипция, в отличие от фонетической и словофонематической транскрипций, имеющих дело с непосредственно данными звуковыми рядами, представляет реконструкцию звукового состава морфем в сильных позициях путем сопоставлений этих морфем в разных условиях их употребления в словоформах. Получаемое при этом «идеальное» построение фонетической оболочки морфем нередко приобретает такой вид, который фактически не может встретиться в речи; так, невозможно одновременное появление [о] в двух слогах корня *голов-*. В противоположность словофонематической транскрипции, в которой звуковой состав слов обобщается и лишается некоторых имеющихся у него качеств, морфофонематическая транскрипция, изображая максимум различительных свойств, добавляет некоторые качества, фактически отсутствующие в анализируемых вариантах (в транскрипции даются не отдельные морфемы, а слова и сочетания слов). Ср. I [с'јест] и II [с₁јес₃т₂] (= *съест* и *съезд*), но III [сје{с₃т}₂] (*съест*) и [сје{з₃д}] (*съезд*) (стр. 364). Если словофонематическая транскрипция «раздевает», то морфофонематическая «одевает». В последней наблюдается известная половинчатость: при фонетическом подходе следовало бы охватить целиком отношения звуков слабых и сильных позиций, однако исследуются лишь те фонетические чередования, которые имеют место в одной морфеме; при морфологическом же подходе следовало бы охватить все чередования звуков, которые не разрушают единства морфемы, а к ним, помимо позиционных, относятся и морфологические (исторические) чередования.

Спорными являются выделяемые аспекты изучения фонетического строя и устанавливаемые в виде «ярусов» отношения между ними. В то время как фонетический и словофонематический аспекты направлены на изучение специфически фонетических явлений и могут быть названы фонетическими¹, морфофонематический аспект направлен на изучение звуковой стороны морфем (далеко не в полном объеме). При этом имеются в виду не различительные функции звуков, а их объединенность в морфеме, и данный аспект нельзя называть фонологическим; он органически связан с морфологией. Что касается «ярусов», то нельзя отрицать, что в языке есть низшие и высшие единицы, но не следует слишком упрощенно понимать их взаимоотношения. В связи с тем, что слово является высшей единицей по отношению к морфеме, представляется непоследовательным рассмотрение звуков в словоформе в качестве второго аспекта («этажа»), а рассмотрение звуков в морфеме — в качестве третьего этажа.

Лишена наглядности и сложна символика словофонематической и морфофонематической транскрипций: у гласных слабые фонемы обозначаются особыми знаками, у согласных для этого употребляются цифровые показатели. Настоящими криптограммами выглядят случаи, в которых фигурируют цифры и скобки: разгадывать их без сопоставления с орфографическим или фонетическим письмом нелегко.

В заключение следует отметить, что хотя в выдвигаемой концепции остались не охарактеризованными основные исходные единицы (слово, морфема, звук речи) в их отношении к звуковой стороне, однако с единых оснований (пусть не бесспорных) и вполне определенно квалифицируется обширный фонетический материал. Это дает возможность ставить и обсуждать конкретные фонетические вопросы, решение которых только и может способствовать разработке теоретических проблем фонетики. В указанном отношении рассматриваемая статья коренным образом отличается от многих работ по фонологии, носящих декларативный характер.

¹ Следует отметить, что «словоформа» понимается Р. И. Аванесовым исключительно как фонетическая единица, хотя он и сообщает, что слово берется «как лексико-грамматический факт» (стр. 351). В отличие от этого «морфема», несомненно, рассматривается как конкретная значимая единица.

СКАНДИНАВСКИЙ ИНФИНИТИВ I НА *u* И ПРОБЛЕМА СВЯЗИ МЕЖДУ ИМЕННЫМИ И ЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГЕРМАНСКОГО ГЛАГОЛА

В отличие от других современных скандинавских языков, имеющих инфинитив I на *a*, *e* (ср. швед. *taga*, дат. *tage* «брать»), в исландском языке, наряду с подобной формой инфинитива I (ср. *nema* «брать»), существуют два глагола, имеющие инфинитив I на *u*. Это вспомогательные глаголы *munu* «намереваться, собираться» и *skulu* «долженствовать». Однако указанная форма является специфически исландской лишь с точки зрения современных скандинавских языков. Во всех древнескандинавских языках инфинитив I на *u* зафиксирован у ряда претерито-презентных глаголов, что свидетельствует о первоначально общескандинавском характере этого явления.

Ср. др.-дат. *tuglu* (параллельно с *tugla*) «мочь»; др.-дат. *vitu*, наряду с *vita* «знать»; др.-дат. *skulu* «долженствовать»; др.-швед. *munu*, *skulu*, позднее *muna*, *skula*; др.-норв. иногда *manu*, *skalu*; др.-зап. норв. *skolu*, иногда уже в др.-норв. *skula*. Ср. также фарер. *mun(n)u*, обычно *mun(n)a*; *skul(l)u*, обычно *skul(l)a*; *müu*, обычно *müa*, *möa*; соответствует др.-норв. *mega* «мочь», др.-исл. *megu*, обычно *mega*.

В древнеисландском, как и в современном исландском, инфинитив I на *u* всегда отмечается у глаголов *munu* и *skulu*¹. По форме инфинитив I на *u* этих глаголов совпадает с 3-м лицом мн. числа настоящего времени изъявительного наклонения. Ср. др.-исл. *munu*, *skulu* — инф. I и *munu*, *skulu* — 3-е лицо мн. числа наст. времени².

Указанное звуковое совпадение именных и личных форм претерито-презентных глаголов является, по-видимому, не случайным и не представляет собой исключения.

Уже во всех древнескандинавских языках благодаря отпадению конечных согласных инфинитив I на *a* сильных и слабых глаголов также систематически совпадает с 3-м лицом мн. числа наст. времени на *a*. При этом сближение именных и личных форм не ограничивается звуковым совпадением флексий инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени, а определяется общностью огласовки корня неличных форм и форм мн. числа соответствующих глаголов. Ср. др.-исл. инф. I *risa* «подниматься», 3-е лицо мн. числа наст. времени изъяв. наклонения *risa*.

Примечательно, что совпадение форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени наблюдается также в случае нулевой флексии в указанных формах. При этом исчезновение прежнего окончания в одной из форм приводит к соответствующему явлению в другой. Так, в восточноскандинавских языках уже ранее 1300 г. отмечается постепенная утрата окончания *a* в инфинитиве I некоторых глаголов с долгой гласной. Ср. *bō* (зап.-сканд. *búa*) «жить»; *sē* (зап.-сканд. *siā*) «видеть»; *fly* (зап.-сканд. *flýja*) «бежать, спасаться бегством». После 1350 г. указанные формы инфинитива I становятся обычными. При этом утрата окончания *a* у этих глаголов отмечается также в формах 3-го лица мн. числа наст. времени³. В современных восточноскандинавских языках обе эти формы выступают в виде основы с нулевой флексией. Ср. швед. инфинитив I *att bo* «жить» и *bo* — 3-е лицо мн. числа наст. времени.

В современном исландском в этой группе глаголов также наблюдается совпадение форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени. При этом отсутствие или наличие флексии в инфинитиве сопровождается соответствующим явлением в 3-м лице мн. числа наст. времени. Ср., с одной стороны, *búa* «жить» — инфинитив I, *búa* — 3-е лицо мн. числа наст. времени, а с другой стороны, *flá* «сдирать кожу» — инфинитив I, *flá* — 3-е лицо мн. числа наст. времени.

Указанная закономерность, безусловно, определила характер форм инфинитива I на *u* некоторых древнескандинавских претерито-презентных глаголов, образованных от 3-го лица мн. числа наст. времени и тождественных с ним в звуковом отношении. Формы инфинитива I на *u* являются, несомненно, более поздними по образованию, по

¹ М. Н æ g s t a d, Vestnorske maalføre fyre 1350, II — Sudvestlandsk, Kristiania, B. I — 1916, стр. 205, B. II — 1917, стр. 144 («Skrifter utgitt av Videnskapsselskapet i Kristiania», II — Hist.-filos. klasse, 1915, № 3; 1916, № 4), B. III — Oslo, 1942, стр. 68—69, 133—134 («Skrifter utgitt av det Norske videnskaps-akademi i Oslo», II — Hist.-filos. klasse, 1941, № 1). См. также А. N o r e e n, Altschwedische Grammatik, Halle, 1904, стр. 468.

² Окончание 3-го лица мн. числа наст. времени *u* этих глаголов восходит к флексии претерита *un*.

³ См. А. N o r e e n, Geschichte der nordischen Sprachen, Strassburg, 1913, стр. 208, 228.

сравнению не только с инфинитивом I на *a* сильных и слабых, но и с инфинитивом I большинства претерито-презентных глаголов.

Древний характер инфинитива I на *a* некоторых древнеисландских претерито-презентных глаголов можно предполагать, исходя из наличия инфинитива I на *an* у соответствующих глаголов в готском, древнеанглийском и древневерхненемецком языках. Определенное свидетельство зависимости между именными и личными формами скандинавского глагола дает история последующего преобразования парадигмы древнескандинавских претерито-презентных глаголов, исчезновения форм инфинитива I на *u* в норвежском и восточноскандинавских языках и сохранения этой формы в исландском.

Инфинитив I на *u* в различных древнескандинавских языках исчезает не одновременно. При этом указанный процесс обуславливает перестройку парадигмы настоящего времени соответствующих претерито-презентных глаголов. Прежнее окончание 3-го лица мн. числа наст. времени *u* (*o*) постепенно заменяется окончанием *a*, тождественным в звуковом отношении флексии инфинитива I соответствующих претерито-презентных глаголов и окончанию инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени сильных и слабых глаголов. Эта флексия уже в древнейших литературных памятниках западноскандинавских языков почти всегда отмечается у претерито-презентных глаголов: *tuna* «вспоминать», часто *unna* «любить», реже *eiga* «обладать», *kunna* «мочь», *mega* «быть в состоянии» и (особенно в древненорвежском) *vita* «знать»; в восточной группе скандинавских языков *egha* «обладать» и *þorva* «нуждаться», несколько позднее — *magha* (*mugha*) «быть в состоянии, мочь» и *skulu* «долженствовать».

У глаголов *tuna* «помнить», *unna* «любить», *vita* «знать» в восточной группе скандинавских языков эта форма встречается уже в долитературный период¹. Это указывает на то, что в восточноскандинавских языках рассматриваемый процесс начался раньше, чем в западноскандинавских. При этом окончание *a* проникает прежде всего в парадигму претерито-презентных глаголов с преобладанием вещественного значения, у которых во всех древнескандинавских, а также в других древнегерманских языках зафиксирована форма инфинитива I на *a* [*an*]. Отметим, что в скандинавских языках наблюдается общее для претерито-презентных глаголов германских языков варьирование форм в инфинитиве I, что обуславливает соответствующее явление в 3-м лице мн. числа наст. времени этих глаголов.

В шведском, где уже к 1350 г. инфинитив I на *u* глаголов *muni* и *skulu* заменился инфинитивом I на *a*², отмечается соответствующая замена флексии в 3-м лице мн. числа наст. времени. В исландском, где инфинитив I на *u* этих глаголов сохранился вплоть до настоящего времени, соответственно сохраняется и форма 3-го лица мн. числа наст. времени на *u*. Таким образом, появление окончания 3-го лица мн. числа наст. времени *a* претерито-презентных глаголов было, по-видимому, обусловлено постепенным возникновением у них инфинитива I на *a*.

Указанной перестройке в свою очередь, несомненно, способствовало общее соотношение между именными и личными формами древнескандинавского глагола, выражавшееся в звуковом совпадении форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени. Таким образом, сущность указанного процесса состояла в ликвидации возникшей диспропорции между именными общее презентное значение именными и личными формами претерито-презентных глаголов. Эта диспропорция заключалась в том, что инфинитив I большинства претерито-презентных глаголов имел флексию *a*, характерную для презентных основ, а 3-е лицо мн. числа наст. времени — претеритное окончание *u*. Ср. др.-исл. инфинитив I *furfa* — 3-е лицо мн. числа наст. времени *furfu*. В указанном процессе в активной роли выступали именны формы, что видно из того, что перестройка парадигмы идет в сторону ее сближения с величными формами.

Более раннее проникновение флексии *a* (употребляющейся в сильных и слабых глаголах с основами настоящего времени) в инфинитив I некоторых претерито-презентных глаголов, имевших прежде инфинитив I на *u*, объясняется, по-видимому, тем, что, в силу величного характера, инфинитив I менее тесно связан с другими глагольными формами, в то время как 3-е лицо мн. числа наст. времени связано со всей парадигмой.

Устойчивость парадигмы против выравнивания, в частности, проявляется в сохранении в среднешведском у глагола *duva* 3-го лица мн. числа наст. времени на *u* — *dugu* вместо обычных в то время форм *dugha*, *dogha*³, а также в сохранении в современном фарерском языке у ряда претерито-презентных глаголов флексии 3-го лица мн. числа наст. времени *u*, обобщенной для всего множественного числа при инфинитиве I соответствующих глаголов на *a*. Ср. инфинитив I *skula* — 3-е лицо мн. числа наст. времени *skulu*⁴.

Обратный процесс определяющего влияния парадигмы на именны формы виден, во-первых, в самом факте возникновения от 3-го лица мн. числа наст. времени претерито-презентных глаголов инфинитива I на *u* глаголов *muni* и *skulu*, не имевших в древ-

¹ См. A. N o r e e n, Geschichte der nordischen Sprachen, стр. 229; O. B a n d l e Die Sprache der Guðbrandsbiblia, Kopenhagen, 1956, стр. 423—425.

² A. N o r e e n. Geschichte..., стр. 228.

³ A. N o r e e n, Altschwedische Grammatik, стр. 462, § 553, примечание 1.

⁴ См. W. B. L o c k w o o d, An introduction to modern Faroese, Kopenhagen, 1955, стр. 75, 76.

нескандинавских и большинстве древнегерманских языков инфинитива I на *a*, *an*. Во-вторых, указанный процесс проявляется в возникновении во всех древнескандинавских языках у ряда претерито-презентных глаголов с формой инфинитива I на *a* параллельных и редких форм инфинитива I на *u*.

Приведенные факты позволяют констатировать в древнескандинавских языках определенную зависимость между именными и личными формами глагола, обуславливающую в одних случаях характер личных, а в других случаях — именных форм претерито-презентных глаголов. Однако, помимо морфологических факторов (решающей роли инфинитива в первом случае и парадигмы — во втором), определенное влияние на возникновение инфинитива I на *u* некоторых претерито-презентных глаголов древнескандинавских языков и сохранение его в современном исландском языке оказали семантика и синтаксическое употребление этих глаголов.

Так, уже в древнеисландском в группе претерито-презентных глаголов можно вскрыть деление на глаголы с преобладанием вещественного и грамматического значения. Первые имеют инфинитив I на *a*, а вторые — на *u*.

Ко второй группе относятся глаголы *muni* и *skulu*, удельный вес которых в образовании описательных форм (в частности, будущего времени) весьма велик. В сохранении, как и в возникновении, инфинитива I на *u* этих глаголов определенную роль, несомненно, сыграло использование их в конструкции «винительный + инфинитив», употреблявшейся также в современном исландском языке. В этой конструкции в сочетании с инфинитивом I смыслового глагола инфинитив I глаголов *muni* и *skulu* образует описательную форму инфинитива futuri I: *ósnjallr maðr hyggsk muni ey lifa* («Hávamal») «Глупец думает — он всегда будет жить».

В древнешведском и древненорвежском языках описательные формы будущего образовывались не только с глаголом *skulu*, но и с глаголом *vilia*, имевшим инфинитив I на *a*, а также при помощи других глаголов (ср. в шведском конструкцию *att komma att*). Конструкции с указанными глаголами также, как и в современных английском и норвежском языках, передавали субъективное будущее со значением зависимости действия от воли говорящего.

В исландском языке, наряду с таким типом будущего времени (конструкция с глаголом *skulu*), существовало будущее «мыслимое», «воображаемое» (конструкция «глагол *muni* + инфинитив I смыслового глагола»). В древнешведском и древненорвежском указанный тип будущего времени не развился, что и привело уже довольно рано к исчезновению в них глагола *muni*. Последнее обстоятельство в значительной мере способствовало утрате в этих языках глаголом *skulu* инфинитива I на *u*. Определенную роль в этом процессе, очевидно, сыграла конструкция «винительный с инфинитивом», которая в норвежском языке¹, как и в шведском², была менее употребительна, чем в исландском.

Связь между именными и личными формами древнескандинавского глагола проявляется также в том, что характер инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени определяет формы причастий I и II, которые по огласовке корня (3-й ступень аблаута) совпадают с инфинитивом I и множественным числом.

Уже в древнеисландском у глаголов с инфинитивом I на *a* имеются соответствующие причастия I и II с тематическим гласным *a*. У глаголов с инфинитивом I на *u* при соответствующем 3-м лице мн. числа наст. времени на *u* причастия I и II отсутствуют. Подобное соотношение отмечается также и в современном исландском языке. Ср.:

инфинитив I	<i>kunna</i>	<i>munu, skulu</i>
3-е лицо мн.		
числа наст.		
времени	<i>kunna</i>	<i>munu, skulu</i>
Причастие I	<i>kunnandi</i>	—
Причастие II	<i>kunnat</i>	—

Наличие именных форм у всех претерито-презентных глаголов независимо от их семантики в древнескандинавских языках, а также у модальных глаголов во всех современных германских языках и показанная выше связь неличных форм с формами 3-го лица мн. числа наст. времени делают понятным отсутствие этих форм у английских модальных глаголов и дают определенный материал для предположения о существовании подобной связи в других германских языках. Сущствующее мнение о том, что причиной отсутствия неличных форм у английских модальных глаголов является их семантика³, опровергается следующим. Во-первых, модальная семантика бывших претерито-презентных глаголов во всех современных германских языках отнюдь не

¹ Ср. широкое распространение этой конструкции в раннем древнедатском и ее крайне редкое использование в разговорном норвежском (см. Н. F a l k, А. T o r p, Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling, Kristiania, 1900, стр. 201).

² См. С. G r i m b e r g, Undersökningar om konstruktionen «akusativ med infinitiv» i den äldre fornsvenskan, «Arkiv för nordisk filologi», bd. 21 (ny foljd— bd. 17), h f. 1—4, 1904, стр. 205, 311.

³ А. И. С м и р н и ц к и й, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 268.

препятствует появлению у них неличных форм, отсутствовавших в древности. Напротив, невещественная семантика исландских глаголов *munu* и *skulu* приводит не к исчезновению у них форм инфинитива, а к сохранению архаической формы инфинитива I на *u*. Во-вторых, в самом английском языке вещественная семантика этих глаголов вполне уживалась с отсутствием у ряда претерито-презентных глаголов в древнеанглийском неличных форм. Во то же время в среднеанглийском, где эти глаголы были больше продвинуты по пути превращения их в модальные глаголы, у них появляются неличные формы, в частности инфинитив I¹, которые позднее исчезли у всех английских модальных глаголов.

Отсутствие неличных форм английских модальных глаголов представляется возможным объяснять с точки зрения связи между именными и личными формами германского глагола. Исчезновение окончаний множественного числа у английских претерито-презентных глаголов обуславливает исчезновение у них грамматических категорий лица и числа ввиду ликвидации морфологического противопоставления между единственным и множественным числом. Это в свою очередь вполне закономерно приводит к исчезновению у указанных глаголов неличных форм, что также отмечается в подобном случае у некоторых претерито-презентных глаголов в других языках и свидетельствует о том, что не только личные формы зависят от именных, но и наоборот. Ср., с одной стороны, др.-швед. инфинитив I *magha*, 3-е лицо мн. числа наст. времени *māgho*; с другой стороны, в современном шведском ср.: форма 3-го лица мн. числа наст. времени *mā* (из ед. числа), инфинитив I — отсутствует; инфинитив I — *skula* «долженствовать», форма 3-го лица мн. числа наст. времени — *skula*.

Сохранение неличных форм английских сильных и слабых глаголов, несмотря на отпадение у них флексий множественного числа, вполне закономерно, так как в этом случае не исчезают грамматические категории лица и числа ввиду сохраняющегося противопоставления *he goes* и *they go*. Результатом исчезновения флексий мн. числа является лишь то, что формы инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени имеют нулевую флексию, что также характерно для глаголов 3-го спряжения в современном шведском.

Сам факт возникновения в английском противопоставления *he goes, they go*, где флексия 3-го лица ед. числа *-s* проникает из 2-го лица ед. числа в период исчезновения окончаний мн. числа, так же как и характерный для всех германских языков факт унификации окончаний мн. числа по типу 3-го лица мн. числа наст. времени, по-видимому, следует объяснять с точки зрения связи между именными и личными формами германского глагола. При этом указанная связь в одних случаях приводит к образованию форм инфинитива II от 3-го лица мн. числа прош. времени, в других же при нарушении связи между формами инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени инфинитив I образуется либо от 3-го лица мн. числа прош. времени, либо имеет флексию, подобную флексии 3-го лица мн. числа прош. времени изъявительного или сослагательного наклонения, что является еще одним свидетельством зависимости именных форм от личных.

Этому, несомненно, способствуют как генетическая общность первичных и вторичных окончаний, так и определенные морфологические и синтаксические условия. Так, с одной стороны, наличие вторичных окончаний в настоящем и прошедшем времени претерито-презентных глаголов и морфологическая четкость, выражающаяся в звуковом совпадении в древнескандинавских языках инфинитива I, 3-го лица мн. числа наст. времени и 3-го лица мн. числа прош. времени ряда этих глаголов (ср. др.-исл. инфинитив I *munu*, 3-е лицо мн. числа наст. времени *munu*, 3-е лицо мн. числа прош. времени *mundu*), отсутствие у них причастия II, большой удельный вес описательных форм будущего времени с этими глаголами и распространенность конструкций «винительный с инфинитивом», в которых глаголы *munu* и *skulu* выступают в роли infinitiv'a futuri II, способствуют последующему образованию от 3-го лица мн. числа прош. времени претерито-презентных глаголов в древнезападноскандинавских языках синтетической формы инфинитива II на *u* этих глаголов и прежде всего форм *mundu*, *skyldu*. Ср. инфинитив II — *mundu*, *skyldu*, инфинитив I — *munu*, *skulu*².

¹ J. Fr. R e t t g e r, The development of ablaut in the strong verbs of the east midland dialects of middle English, «Language», vol. XVIII. Suppl., 1934, стр. 179, 181.

² Ср. формы инфинитива претерита у некоторых претерито-презентных глаголов в средневерхненемецком (закономерные ввиду отсутствия у них причастий II и звукового совпадения флексий инфинитива I, 3-го лица мн. числа наст. времени и 3-го лица мн. числа прош. времени этих глаголов), однако не получившие распространения, так как в средневерхненемецком отсутствовали упоминавшиеся выше синтаксические условия:

инфинитив II	инфинитив I	
<i>machte, mochte</i>	<i>mugen, mogen</i>	„желать, хотеть, мочь“
<i>solte</i>	<i>scholn, soln, suln</i>	„долженствовать“
<i>tohte</i>	<i>tügen, tugen</i>	„годиться, быть пригодным“

(См. Н. P a u l, Deutsche Grammatik, Bd. II, Tl. III — Flexionslehre, Halle, 1956, стр. 263, 266, 267).

С другой стороны, присущие сильным и слабым глаголам соотношения инфинитива I (др.-исл. *fara*), 3-го лица мн. числа наст. времени (др.-исл. *fara*), 3-го лица мн. числа прош. времени (др.-исл. *fóru*), а также инфинитива II (др.-исл. *standa*), 3-го лица мн. числа наст. времени (др.-исл. *standa*), 3-го лица мн. числа прош. времени (др.-исл. *stóttu*) и возникновение инфинитива II на *u* у претерито-презентных глаголов способствуют образованию от 3-го лица мн. числа прош. времени соответствующих сильных и слабых глаголов в древнезападноскандинавских языках (в конструкции «винительный с инфинитивом») синтетической формы инфинитива II на *u*. Ср. инфинитив II *komu*, *sendu*¹.

Нарушение в современных датском и норвежском языках связи между формами инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени претерито-презентных и некоторых модальных глаголов (ввиду распространения в этих глаголах форм ед. числа на формы множественного) приводит к возникновению у них новой формы инфинитива I, образованной от 3-го лица мн. числа прош. времени². Этот инфинитив по форме является инфинитивом II (типа исл. *skyldu*).

Ср., с одной стороны, др.-норв. инфинитив I *skula* (*skulu*); 3-е лицо мн. числа наст. времени *skolo*, *scolu*, 3-е лицо мн. числа прош. времени *skyldo*, др.-норв. инфинитив I *byrja*; 3-е лицо мн. числа наст. времени *byrja*; 3-е лицо мн. числа прош. времени *burðu*³;

С другой стороны, совр. норв. и дат. инфинитив I *skulle*, 3-е лицо мн. числа наст. времени *skal*, 3-е лицо мн. числа прош. времени *skulle*; совр. норв. и дат. инфинитив I *burde*, 3-е лицо мн. числа наст. времени *bør*, 3-е лицо мн. числа прош. времени *burde*. В современном шведском: инфинитив II *skola*, 3-е лицо мн. числа наст. времени *skola(ska)*, 3-е лицо мн. числа прош. времени *skulle*; инфинитив I *böra*, 3-е лицо мн. числа наст. времени *böra*, 3-е лицо мн. числа прош. времени *borde*.

Образование инфинитива I от 3-го лица мн. числа прош. времени в датском и норвежском обусловили структурные причины: наличие лексических категорий лица и числа во всей системе глагола.

Генетическая общность первичных и вторичных окончаний и нарушение связи между инфинитивом I и 3-м лицом мн. числа наст. времени в древнеанглийском в результате выпадения *n* в 3-м лице мн. числа наст. времени (это привело к соотношению: инфинитив I *bindan*, 3-е лицо мн. числа наст. времени *bindað*; 3-е лицо мн. числа наст. времени сослагат. наклонения *binden*, 3-е лицо мн. числа прош. времени *bundon*; 3-е лицо мн. числа прош. времени сослагат. наклонения *bunden*) обусловили на первый взгляд непонятное варьирование окончаний несклоняемого инфинитива в древнеанглийском, где отмечается инфинитив I не только на *an*, но и на *on*, *en*, *e*, æ при соответствующем варьировании окончаний в 3-м лице мн. числа наст. времени сослагат. наклонения и 3-м лице мн. числа прош. времени изъявит. наклонения⁴.

В свою очередь, как думается, последующее проникновение окончания *en* в 3-е лицо мн. числа наст. времени изъявит. наклонения из 3-го лица мн. числа наст. времени сослагат. наклонения обусловило кажущееся непонятным восстановление флексий инфинитива *-en*, реже *-an*, *-on*⁵ в раннесреднеанглийском, отсутствовавших в позднедревнеанглийском.

В свете изложенного в древнескандинавском и, очевидно, в древнегерманском глаголе в целом можно констатировать определенную системную связь между именными и личными формами, охватывающую также группу претерито-презентных глаголов. Сущность этой связи состоит в противопоставлении именных форм и форм 3-го лица, объединенных общим неличным значением, в частности, в противопоставлении инфинитива I и 3-го лица мн. числа личным формам 1-го и 2-го лица ед. и мн. числа.

Эта связь проявляется во взаимовлиянии входящих в нее элементов. В результате характер неличных форм (в частности, древнескандинавских претерито-презентных глаголов) определяет направление соответствующих изменений в парадигме, а парадигма и изменения в ней влияют на характер неличных форм соответствующих глаголов. В свою очередь возникновение соотношения между именными и личными формами древнескандинавских сильных и слабых глаголов (при котором формы инфинитива I

¹ F. J ó n s s o n, Det norsk-islandske skjaldesprog omtr. 800—1300, København, 1901, стр. 89, 100.

² H. S. F a l k, A. T o r p, Norwägisches-dänisches etymologisches Wörterbuch, Tl. I (A — O), Heidelberg, 1910, стр. 118.

³ J. F r i t z n e r, Ordbog over det gamle norske sprog, Oslo, 1954, bd. I. стр. 222.

⁴ См. E. S i e v e r s, Altenglische Grammatik nach der angelsächsischen Grammatik, neubearbeitet von K. Brunner, Halle, 1951, стр. 306; U. G. L i n d e l ö f, Die Südnorthumbrische Mundart des 10 Jahrhunderts. Die Sprache der sog. Glosse Rushworth, Bonn, 1901 («Bonner Beiträge zur Anglistik, hrsg. von prof. M. Trautmann», Hf. X), стр. 87, 88, 130, 131.

⁵ См. G. L a n g e n h o v e, On the origin of the gerund in English, Paris, 1925, стр. 94.

и 3-го лица мн. числа наст. времени тождественны в звуковом отношении) способствует образованию некоторых форм, в частности более позднего инфинитива I на *u* скандинавских претерито-презентных глаголов от 3-го лица мн. числа наст. времени. Возникновение инфинитива II на *u* претерито-презентных глаголов от 3-го лица мн. числа прош. времени способствует возникновению такой же формы у сильных и слабых глаголов, что свидетельствует о взаимовлиянии частных систем внутри общей системы глагола¹. Думается, что само звуковое совпадение в древнескандинавских и во всех современных германских языках форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени следует также объяснять с точки зрения указанной связи.

Объяснение этого явления чисто фонетическими причинами представляется неубедительным. Мало вероятно, чтобы чисто фонетические процессы, происходившие в различных языках независимо друг от друга и в различные периоды истории отдельных германских языков, могли бы привести к одинаковым результатам. Вероятнее всего, что какая-то более важная причина — в данном случае системная связь между именными и личными формами глагола, сложившаяся на базе явлений общелингвистического характера² — во взаимодействии с другими процессами определила результаты этих фонетических изменений. Однако последнее, как было показано, не исключает возможности спонтанных фонетических изменений, влияющих на структуру языка. Очевидно, что упоминавшийся выше фонетический процесс, в результате которого в древнеанглийском выпадало *n* в форме 3-го лица мн. числа наст. времени³, приводил к нарушению связи между именными и личными формами английского глагола. Однако последующую замену др.-англ. *ǣð* окончанием *en* (проникшим из 3-го лица мн. числа сослагат. наклонения) в среднеанглийском, в результате которой произошло звуковое совпадение форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени, вряд ли убедительно объяснить с фонетической, а не структурной точки зрения.

Таким образом, системное объяснение рассмотренных явлений, не отрицая роли фонетики, лишь позволяет избежать односторонности, при которой структурные изменения, в данном случае морфологические, ставятся в зависимость от фонетики. Чисто фонетическое объяснение по существу приводит к отрицанию системного характера языка, в котором все компоненты системы взаимосвязаны и обусловлены и в котором эти компоненты, представляющие собой меньшие системы внутри общей системы языка, связывающей их в единое неразрывное целое, имеют свойственные им закономерности развития.

Вследствие этого изменения в структуре языка на одном этапе могут приводить к изменениям в фонетической системе, а на другом могут обусловить определенные процессы, которые в конечном итоге приведут к перестройке в морфологической или синтаксической системах.

С точки зрения связи между инфинитивом I и 3-м лицом, принимая во внимание звуковое совпадение этих форм, нам представляется также возможным объяснять возникновение во всех германских языках (причем в различные исторические периоды) инфинитивной частицы. В западногерманских и скандинавских языках эта частица генетически не тождественна, но восходит к общей семантической группе предлогов, употребляющихся с дательным падежом; ср. гот. *du*, нем. *zu*, англ. *to*, исл. *að*, швед. *att*. Первоначально в готском, а также в других германских языках эта частица употреблялась только с инфинитивом цели и лишь впоследствии стала употребляться с инфинитивом вообще; при этом — раньше всего в древнескандинавских языках⁴, где уже произошло совпадение форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени. Позднее — в английском и сравнительно недавно — в немецком, где звуковое совпадение этих форм произошло позже, чем, очевидно, и объясняется не всеобъемлющий характер этого явления.

Возможно, что впоследствии и в немецком языке инфинитивная частица будет также использоваться со всеми типами инфинитива. Вследствие сказанного, основную функцию инфинитивной частицы в германских языках, по-видимому, можно определить, во-первых, как средство указания на инфинитив цели и, во-вторых, как средство указания в связной речи на то, что данная форма, созвучная с 3-м лицом мн. числа наст. времени, является инфинитивом.

¹ На вполне возможное возражение, что термином «системная связь» здесь обозначается то же, что принято называть аналогией, можно ответить словами А. Росса и Р. Кросслэнда: «Младограмматики считали, что словом „аналогия“ можно удовлетворительно объяснить многие лингвистические явления; однако в наши дни стало необходимым вскрывать причину каждой аналогии, независимо от того, произошла ли аналогия благодаря „чистой случайности“ или нет» (см. A. S. C. Ross, R. A. Crossland, Supposed use of the 2-nd singular for the 3-rd singular in «Tocharian A», Anglo-Saxon, Norse and Hittite, «Archivum linguisticum», vol. 6, fasc. 2, Glasgow, 1954, стр. 112).

² См. ниже.

³ В результате указанного процесса это окончание получило форму *ǣð* при инфинитиве I на *an*.

⁴ В древнеисландском, примерно в IX в. (см. M. Nygaard, Norrøn syntax, Kristiania, 1905, стр. 237).

Сама связь между именными и личными формами германского глагола становится понятной, если принять во внимание неличный характер индоевропейского 3-го лица¹. В то же время указанная связь служит определенным подтверждением самого неличного характера индоевропейского 3-го лица, в частности 3-го лица мн. числа наст. времени, которое возводится к именам гетероклитического склонения.

Первоначальному возникновению в общегерманском языке-основе более тесной связи между именными формами и собственно глагольной парадигмой в определенной степени, очевидно, способствовала генетическая общность 3-го лица мн. числа и более поздних отглагольных имен среднего рода *по-основ*², винительный падеж которых (**bheronom*) дал в германских языках форму инфинитива I на *an*.

Однако определяющую роль в возникновении указанной связи, так же как и в появлении германского слабого склонения прилагательных, думается, сыграл удельный вес *п*-основ, которые, в отличие от других индоевропейских языков, в германских языках, в частности в готском и скандинавских, широко распространены. Зависимость возникновения в германских языках указанного соотношения от удельного веса основ на согласную (*п*-основ), а не от генетической общности именных и личных форм подтверждается тем, что в других индоевропейских языках, где 3-е лицо мн. числа имеет ту же форму, что и в германских, инфинитивы образуются от других основ на согласную³.

Таким образом, системная связь между именными и личными формами глагола в том виде, в каком она отмечается в германских языках, не унаследована из индоевропейского языка-основы и по происхождению своему является не генетической, а структурной. Следовательно, возможное и на первый взгляд в ряде случаев очевидное отсутствие в других группах индоевропейских языков системной связи между именными и личными формами глагола в том виде, в каком это отмечается в германских языках, ни в коей мере не может служить аргументом, опровергающим наличие этой связи в германских языках. Последнее обстоятельство в лучшем случае может свидетельствовать лишь о том, что общее для индоевропейских языков соотношение, состоящее в противопоставлении отдельных форм глагольной парадигмы в плане личного и неличного характера, выражается в германских языках в виде более тесной связи именных форм и 3-го лица мн. числа, объясняющейся общим неличным характером этих форм.

Хотя приведенные выше факты не исчерпывают всех доказательств в пользу существования связи между именными и личными формами германского глагола и не охватывают всех явлений, которые могут быть объяснены с точки зрения этой связи, однако они позволяют считать, что такая связь (при этом структурного происхождения) в германских языках существует и что формы инфинитива I на *u* не представляют собой отступления от общего правила и должны быть рассматриваемы в кругу однородных явлений.

Тем не менее при изучении скандинавского инфинитива I на *u* наряду с проблемами общего характера возникает ряд частных вопросов:

- 1) следует ли считать инфинитив I на *u* специфически скандинавским явлением?
- 2) чем объясняется наличие у древнескандинавских претерито-презентных глаголов инфинитива I на *a* и *u*?
- 3) какова относительная хронология возникновения этих форм?

Несомненно, что в наиболее достоверной форме инфинитив I на *u* зафиксирован в древнескандинавских и прежде всего в древнеисландском языке, где отчетливо вскрывается его связь с 3-м лицом мн. числа наст. времени и видна синтаксическая роль этой формы. Однако, с одной стороны, существование в древнеанглийском форм несклоняемого инфинитива на *in*, *on* и то, что огласовка именных форм в германских языках совпадает с огласовкой форм множественного числа настоящего времени соответствующих глаголов, а тематический гласный неличных форм — с тематическим гласным 3-го лица мн. числа, явилось для А. Норена основанием сопоставлять указанные древнеанглийские формы со скандинавским инфинитивом I на *u*⁴. С другой стороны, это дало возможность Я. Гримму предполагать, что более поздние, по сравнению с сильными и слабыми глаголами, формы инфинитива I германских претерито-презентных глаголов (в частности, готских и древнесаксонских) первоначально имели флексию инфинитива *in* и образовались от 3-го лица мн. числа наст. времени и лишь впоследствии получили флексию *an*⁵.

Таким образом, формы инфинитива I на *u* признаются общегерманскими, что не соответствует действительности, так как, во-первых, древнеанглийский инфинитив I на *on*, *in*, как было показано выше, лишь формально может быть сопоставлен с инфинитивом I на *u* древнескандинавских претерито-презентных глаголов, поскольку в древнеанглийском указанные формы отмечаются у сильных и слабых глаголов и не зафик-

¹ E. Benveniste, Structure des relations de personne dans le verbe, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. 43, fasc. 1, 1947, стр. 1.

² Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955.

³ J. Jolly, Geschichte des Infinitivs im Indogermanischen, München, 1873.

⁴ См. «Grundriss der germanischen Philologie», hrsg. von H. Paul, 2-е Auflage, Bd. I, Strassburg, 1901, стр. 636.

⁵ J. Grimm, Deutsche Grammatik, Bd. 4 — Syntax, Göttingen, 1837, стр. 170.

сированы у претерито-презентных. К тому же соответствующие древнеанглийские претерито-презентные глаголы, у которых в скандинавских языках отмечается инфинитив I на *u*, либо вообще не имеют форм инфинитива, либо имеют инфинитив I на *an*, *a*.

Кроме того, глагол *munu* в древнеанглийском вообще отсутствует, что вполне закономерно, так как там не развились описательные формы будущего времени со значением будущего «мыслимого», «воображаемого», образуемые сочетанием этого глагола с инфинитивом I смыслового глагола.

Во-вторых, отсутствие в готском глагола *munu*, незначительное распространение в нем описательного будущего со **skulan*, а также полное отсутствие форм *infinitiv*'a *futuri* I и любой другой формы инфинитива I у большинства претерито-презентных глаголов, что также характерно для древнезападногерманских языков, и довольно позднее появление форм инфинитива I на *an* у ряда претерито-презентных глаголов в этих языках делает несостоятельным предположение об общегерманском характере инфинитива I на *un* и о вторичности форм инфинитива I на *an*. Это тем более так, что, как было показано, в готском и древнезападногерманских языках отсутствовало важнейшее условие, а именно звуковое совпадение форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени, что отмечается в скандинавских языках.

Напротив, в древнеанглийском и древнесаксонском сама связь между инфинитивом I и 3-м лицом мн. числа наст. времени ввиду выпадения в 3-м лице мн. числа наст. времени *-n-* и замечательного растяжения *ȝ* в *ā* вообще нарушалась. Таким образом: 1) инфинитив I на *u* является специфически скандинавским явлением; 2) наличие в скандинавских претерито-презентных глаголах форм инфинитива I на *a* и на *u* свидетельствует о двух тенденциях или этапах в образовании неличных форм этих глаголов; 3) формы инфинитива I на *a* древнескандинавских претерито-презентных глаголов являются более ранними и унаследованы из общегерманского языка-основы, а формы инфинитива I на *u* являются более поздними, возникшими в общескандинавском языке-основе, и обусловлены развитием в скандинавских языках описательных форм будущего времени, где они в конструкции «винительный с инфинитивом» образуют описательную форму *infinitiv futuri* I, характерную для скандинавских языков; 4) важным условием возникновения скандинавского инфинитива I на *u* непосредственно от 3-го лица мн. числа наст. времени претерито-презентных глаголов, наряду с общим для всех германских языков условием — существованием системной связи между именными и личными формами глагола, является наличие в этих языках звукового совпадения форм инфинитива I и 3-го лица мн. числа наст. времени всех глаголов.

НОВАЯ ГРУППА ДИАЛЕКТОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

В период за 1949—1953 гг. была обнаружена группа армянских диалектов, бытующих на северо-восточном берегу Средиземного моря, в районе Антиохии. В эту группу входят диалекты: к е с а б с к и й (по названию деревни Кесаб), б е й л а н с к и й (по названию деревни Бейлан) и с в е д и й с к и й (по названию района Сведия). Кроме того, несколько армянских деревень включает в себя район, называемый Джисир-Шухур, который находится в пределах Северной Сирии. Этот район, как и все побережье Средиземного моря, лингвистически не был обследован, так как он был недосягаемым для советской арменистики.

После репатриации большого количества армян из Сирии и Ливана стало возможным исследовать диалекты и этого района. В результате обнаружилось, что район Северной Сирии включает несколько армянских деревень, центром которых является село Арамо. Арамянская речь этого района, особенно говор села Арамо, представляет большой лингвистический интерес. Тщательное исследование позволило обнаружить в говоре села Арамо ряд интересных языковых черт, отличающих его от говоров других деревень и сел, причем эти черты носили настолько своеобразный характер, что стало возможным выделить этот говор в самостоятельный диалект армянского языка, названный нами а р а м о й с к и м диалектом. Дальнейшие изыскания помогли выявить еще один интересный диалект, на котором говорили жители села Кабусе, находящегося на берегу Средиземного моря; этот диалект мы назвали к а б у с и й с к и м. Третий диалект, обнаруженный нами в 1953 г., является разговорным языком г. Эдессы (Урфа — Сев. Месопотамия) и назван нами э д е с с и й с к и м диалектом. Кратко охарактеризуем каждый из этих диалектов.

Арамойский диалект

Арамойский диалект имеет значительные отличия от других диалектов армянского языка в области фонетики. В связи с тем, что этот диалект имеет не обычное силовое ударение, а тоническое, все подударные гласные являются длительными, чего не наблюдается ни в одном другом армянском диалекте. Видимо, под влиянием тонического ударения древнеармянские дифтонги почти все сохранили в диалекте свое дифтонговое произношение, а многие подударные гласные превратились в дифтонги. Например:

1. Древнеармянскому гласному *a* в арамойском диалекте соответствуют дифтонги:

ou (др.-арм. *amr* „облако“ — арамойск. *oumb*);
eü (др.-арм. *ban* „дело“ — арамойск. *pëün*).

2. Древнеармянскому гласному *e* соответствуют дифтонги:

ej (др.-арм. *eres* „лицо“ — арамойск. *irejs*);
ei (др.-арм. *get* „река“ — арамойск. *keïjd*).

3. Древнеармянскому гласному *i* соответствуют дифтонги:

ai (др.-арм. *gin* „цена“ — арамойск. *kain*);
ei (др.-арм. *girk* „объятие“ — арамойск. *keirg*).

4. Древнеармянскому гласному *o* (арм. «η») соответствуют дифтонги:

au (др.-арм. *chağog* „виноград“ — арамойск. *xağáuğ*);
ou (др.-арм. *mot* „свеча“ — арамойск. *mōum*);

oï или *eü* (др.-арм. *čor* „сухой“ — арамойск. *čöür*; др.-арм. *čot* „травя“ — арамойск. *chëüd*).

5. Древнеармянскому дифтонгу *ow* (арм. «ηL») соответствуют дифтонги:

au или *äü* (др.-арм. *bowrd* „шерсть“ — арамойск. *paurt*; др.-арм. *ows* „плечо“ — арамойск. *äüs*);
eü (др.-арм. *dowkh* „вы“ — арамойск. *teükh*).

Все дифтонги арамойского диалекта — нисходящие по произношению. В отношении согласных арамойский диалект сходен со всей группой диалектов района Антиохии, а именно: сохраняются в неприкосновенности индоевропейские чистые звонкие, следовательно, древнеармянские глухие условно передвигаются в звонкие. Это значит, что арамойский диалект сохраняет индоевропейские чистые звонкие, тогда как древнеармянский язык по закону первого передвижения передвигает их в ряд глухих. К примеру:

И.-е.	Др.-арм.	Арамойск.
<i>dig</i> „бурдюк“	<i>tik</i>	<i>däg</i>
<i>dekm</i> „десять“	<i>tasn</i>	<i>düsa</i>

Звонкие придыхательные индоевропейского праязыка в древнеармянском языке подвергаются одному передвижению в чистые звонкие, тогда как арамоийский диалект подвергает их двойному передвижению — здесь они оказываются чистыми глухими. Так, например:

И.-е.	Др.-арм.	Арамоийск.
<i>bhordh</i> „шерсть“	<i>bowrd</i>	<i>pâurt</i>

По общему закону армянского языка, действующего во всех диалектах, индоевропейские глухие передвинуты в ряд глухих придыхательных.

Арамоийский диалект обнаруживает еще одно интересное качество: глухая аффриката древнеармянского языка *ts* (арм. «ц»), происходящая из индоевропейского заднеязычного *g'*, претерпевшего палатализацию, подвергается в рассматриваемом диалекте еще и разложению, сохраняя при этом звонкость (как и в славянских языках, ср. н.-е. **gen* — слав. *zĕtŕ*). Примеры:

И.-е.	Др.-арм.	Арамоийск.
<i>g'onwi</i> „колени“	<i>tsowng</i>	<i>zâung</i>
<i>g'uro</i> „кривой“	<i>tsowr</i>	<i>zâur</i>
<i>g'en</i> „род, рождение“	<i>tsən~anel</i>	<i>zən~aneil</i>

Большой интерес представляет морфология арамоийского диалекта. Склонение имен почти полностью сведено к двум формам — именительного и родительного падежей. Формы творительного падежа исчезли и заменены сочетанием с предлогом, а исходный падеж — аналитическим образованием. Так, при склонении *amais* (др.-арм. *amis*) «месяц» будем иметь: родительный (определенный) *amsain*, дательный может быть совершенно сходен или с винительным (неопределенным), или с родительным (определенным) — *amais* или *zamsain*¹; исходный падеж образуется от родительного посредством частицы *əmnēj*-. По нашему мнению, эта частица образована от окончаний древнеармянского дательного падежа *umnej*, которое произошло от диалектного индоевропейско-славянского *-m > -mi* (*мь > мѣ*)². В дальнейшем, потеряв значение дательного, это окончание в диалекте выделилось в частицу с конечным дифтонгом *ej*, показывающую исходный падеж.

Интересно выражено значение творительного падежа. Как мы говорили выше, в арамоийском диалекте творительный падеж особой формы не имеет и выражается при помощи предлога *i* (арм. «ի»), происшедшего от индоевропейского *in*. В древнеармянском языке такой способ выражения значения творительного падежа известен как пережиточное явление; так, например, в древнеармянском языке значение творительного падежа передает сочетание предлога *i* и вин. падежа слова «рука» — *i dzern* «через посредство, при помощи (какого-либо орудия действия, средства и т. п.)». В арамоийском диалекте это явление, пережиточное для древнеармянского языка, возведено в правило — для выражения орудия действия; предлог *i* («ի») употребляется именно с винительным падежом. Например: *i danuga haj| gədrejm zmajsa* «ножом я режу мясо»; *əlvaca ztsarkhəs i tšeur* «умываю руку водой»; *Lirä i zarir gazgudz* «гора покрыта деревьями».

Таким образом, в этой части арамоийский диалект сохранил более древнюю категорию армянского языка, чем сам древнеармянский язык. Как и в древнеармянском языке, предлог *i* в арамоийском диалекте употребляется с разными падежами и в разных значениях. Предлог *i* с винительным падежом означает направление действия (*is mod-gynnoum i deyna* «я подхожу к дому») и место действия [*nəstajm i deyna* «сижу в доме (дома)»], с дательным падежом — распространение действия на поверхности предмета (*i badein kərudz ir tharich* «на стене написана история»), с отложительным падежом выражает исходный пункт действия (*is ukoum i deyn əmnēj* «я иду из дому»). Все эти значения предлога *i* совершенно соответствуют его значению в древнеармянском языке, что отличает арамоийский диалект от современного армянского языка, совершенно утратившего предложное управление. Как и в древнеармянском, предлог *i* в рассматриваемом диалекте в позиции перед существительными с начальным гласным переходит в полугласное *j*: др.-арм. *aprem jaščari* «живу на свете» — арамоийск. *abrejəm jaščur*.

Другим интересным фактом мы считаем употребление анафорических артиклей, которые в настоящее время сохранились только в арамоийском диалекте. Известно, что в древнеармянском языке к основе существительного, употребляемого с постпозитивным указательным местоимением, присоединялся корень этого местоимения в качестве анафорического артикля. Например:

Им. *towns ajs* „этот дом“ — *townd ajd* „тот дом“,
Род. *tans ajsorik* „этого дома“ — *tand ajdorik* „того дома“.

¹ *z* является предлогом определенного прямого дополнения.

² См. А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 307—308.

Ср. аналогичное явление в арамо́йском диалекте: *inou jās tkulis haj uda* «он ест этой ложкой», *inou jād tkulid haj udir* «он ел той ложкой».

Значительным фактом является сохранение арамо́йским диалектом двух местоимений, восходящих к индоевропейскому праязыку. Первое из них — указательное местоимение 3-го лица *i*, которое употребляется в рассматриваемом диалекте и как указательное местоимение, и как анафорическое. В тех случаях, когда прямое дополнение предшествует сказуемому, местоимение *i* (арам. *z-ā = z-i*) ставится после сказуемого. Например: *is baka zā* «я поцеловал его», *is zim zāvuga baka zā* «я мое дитя поцеловал (его)». Здесь местоимение *zā* состоит из древнеармянского предлога прямого дополнения *z* и местоимения *ā < i* (потому что по звуковым законам арамо́йского диалекта *i* в конечном открытом слоге произносится как *ā* или *a*) и имеет следующие соответствия в родственных языках: и.-е. *i-s* > санскр. *i-m*, *i-d* > лат. *i-s*, *i-d* > готск. *i-s* > литов. *-i-s*¹ > слав. *у-же* > русск. [*добры*]-*ū* > арамо́йск. *z-ā* (*z-i*).

Вторым местоимением, восходящим к индоевропейскому праязыку, является вопросительное местоимение арамо́йского диалекта *čā* «что». Например: *teūkh čā bida šiner ikh thākhāvirain* «что вы могли сделать королю?»

Это местоимение связывается с индоевропейским вопросительным местоимением следующим образом: и.-е. *k²i* > санскр. *ci-d* > иран. *ci-s* > лат. *qui-s* > слав. *či-to*² > арамо́йск. *ča* (*-či*).

Таким образом, можно считать, что арамо́йский диалект стоит ближе к индоевропейскому праязыку, чем даже древнеармянский язык: арамо́йский диалект сохраняет индоевропейское указательное местоимение *i-s* «он», которое не сохранилось в древнеармянском языке. В арамо́йском диалекте индоевропейское вопросительное-неопределенное местоимение *k²i* сохранилось в форме, которая сближает его с другими индоевропейскими языками и особенно — со славянскими и иранскими, в то время как в древнеармянском сохранился лишь корень *i* в составе вопросительного *i-nč*, *z-i* и неопределенных местоимений *i-kh*, *i-mn*.

Интересна также структура глагола арамо́йского диалекта.

В древнеармянском языке формы настоящего времени, да и прошедшего несовершенного времени образуются при помощи личных окончаний. Например:

<i>vārem</i> „зажигаю“	<i>pač'kim</i> „лежу“
<i>vāres</i> „зажигаешь“	<i>pač'cis</i> „лежишь“
<i>vārey</i> „зажигает“	<i>pač'ki</i> „лежит“.

В то время как в диалектах и литературных языках современного армянского языка формы настоящего времени изъявительного наклонения образуются или путем соединения причастных форм спрягаемого глагола и личных форм вспомогательного глагола, или путем присоединения определенных частиц к древнеармянским временным формам, арамо́йский диалект образует две формы настоящего времени — обычную и текущую (показывающую настоящий момент действия); из них обычная форма настоящего времени совершенно совпадает с древнеармянской формой настоящего времени. Например: *ais amtanur vārej zajs* «я ежедневно зажигаю свет», *ais amtanur bařgajm* «я ежедневно ложусь». Как видим, и в этом отношении арамо́йский диалект сохранил близость к древнеармянскому языку.

Для выражения моментального действия в арамо́йском диалекте к древнеармянской форме прибавляется частица *haj*, буквально означающая «вот», «сейчас», «в данный момент»; например: *ais hamou haj vārej zajs* «я сейчас зажигаю свет», *ais hamou haj bařgajm* «я сейчас ложусь».

Кроме вышеуказанных совпадений, спряжение арамо́йского диалекта имеет много сходного с древнеармянским, как-то: формы прошедшего времени, аугментум, спряжение односложных глаголов и др.

Таким образом, арамо́йский диалект стоит ближе всех диалектов к древнеармянскому языку, он унаследовал и сохранил много принципиальных форм древнеармянского языка. Выявление этого диалекта подтверждает мнение о том, что древнеармянский язык был ж и в ы м, р а з г о в о р н ы м я з ы к о м.

Кабусийский диалект

Кабусийский диалект является разговорным языком деревни Кабусие, находящейся на берегу Средиземного моря, западнее древней Антиохии. Этот диалект также имеет ряд черт, резко отличающих его от других диалектов армянского языка. Здесь мы остановимся только на некоторых основных особенностях этого диалекта, вызывающих лингвистический интерес.

В то время как в современном армянском языке и в большинстве его диалектов (включая и арамо́йский) определенность передается при помощи специального артик-

¹ См. К. В r u g m a n n, *Abrégé de grammaire comparée des langues indo-européennes*, Paris, 1905, стр. 424.

² Там же.

ля, который ставится в конце слова, кабусийский диалект определенность и неопределенность выражает путем изменения подударного гласного в дифтонг, что напоминает внутреннюю флексию, сходную с и.-е. аблаутом. Так, например:

Др.-арм.		Кабусийский	
существительное определенное	существительное неопределенное	существительное неопределенное	существительное определенное
<i>kharn</i>	<i>khār</i> „камень“	<i>khur</i>	<i>khour</i>
<i>djurn</i>	<i>djowr</i> „вода“	<i>tšer</i>	<i>tšajr</i>
<i>tšajkhn</i>	<i>tšajkh</i> „ребята, сыновья“	<i>dčakh</i>	<i>dčuahh</i>

Такому же изменению подвергаются слова (в том числе и местоимения) в текстуальной позиции, тогда как отдельно они произносятся иначе. Например:

Определен. *eim* „мой“, *äs* „это“
Текстуалы. *aim tuar* „моя мать“, *uäs ä* „вот это“

Окончания глаголов подвергаются качественному изменению, если после них ставится прямое дополнение. Ср.: *geu surveim* «я учу», но *geu survaim zə* «я учу его»; *survica* «я выучил», но *surviciä zə* «я выучивал его»; *gartaca* «я прочитал», но *gartaciä zə* «я прочитал ее (книгу и т. д.)».

Другим отличительным качеством этого диалекта является обилие дифтонгов, трифтонгов, квадрифтонгов. Дифтонгов имеется семь, трифтонгов — четыре, квадрифтонгов — три, они встречаются главным образом в словах в контекстной позиции. Например:

Др.-арм.	Кабусийский
<i>i</i> (<i>gin</i> „цена“)	<i>ai</i> (<i>kain</i>)
<i>e</i> (<i>theph</i> „перхоть, опилки“)	<i>ej</i> (<i>theph</i>)
<i>a</i> (<i>amañ</i> „лето“)	<i>ou</i> (<i>amouñ</i>)
<i>ow</i> (<i>arcounkh</i> „слеза“)	<i>au</i> (<i>arcounkh</i>)
<i>ai</i> (<i>ejbair</i> „брат“)	<i>üa</i> (<i>achpuär</i>)
<i>a</i> (<i>athškh</i> „глаз“)	<i>uo</i> (<i>uóskh</i>)
<i>i</i> (<i>narindj</i> „апельсин“)	<i>uo</i> (<i>laruóndj</i>)
<i>i</i> (<i>aradjin</i> „первый“)	<i>oi</i> (<i>artšoin</i>)
<i>iw</i> (<i>albiwr</i> „источник“)	<i>oia</i> (<i>achpoiar</i>)
<i>oi</i> (<i>khoir</i> „сестра“)	<i>uái</i> (<i>khudir</i>)
<i>ai</i> (<i>tsajr</i> „конец“)	<i>uoä</i> (<i>dzuóarkh</i>)
<i>oi</i> (<i>əñkoiz</i> „орех“)	<i>uei</i> (<i>əñguëiz</i>)
<i>i</i> (<i>tslrid</i> „кузнечик“)	<i>uoia</i> (<i>džl̥luoiat</i>)
<i>oj</i> (<i>dojr</i> „поле“)	<i>uáiä</i> (<i>tudiär</i>)
<i>aj</i> (<i>kardajkh</i> „вы читаете“)	<i>uoäi</i> (<i>gartuóáikh</i>)

Дифтонги бывают нисходящими и восходящими, а трифтонги и квадрифтонги ударяются в середине произношения.

Такое богатство сложных гласных является результатом того, что подударные гласные в этом диалекте были длительными, возможно унаследованными от древних периодов армянского языка. Доказательством этого допущения может служить сложная картина переходов, которым подвергаются гласные в рассматриваемом диалекте сравнительно с древнеармянским языком:

Др.-арм. произношение		Кабусийское произношение	
		отдельное	контекстное
<i>a</i> { В по- следнем } { слоге }	<i>amañ</i> „лето“	<i>u: amui</i>	<i>ou: amou</i>
	<i>beran</i> „рот“	<i>u: pirun</i>	<i>eu: pírëun</i>
<i>a</i> { Перед г, к, } { и в откры- } { том слоге }	<i>jang</i> „ржавчина“	<i>ə: jənk</i>	<i>iē: jiēnk</i>
<i>a</i> { В начале } { слова }	<i>amp</i> „облако“	<i>u: umb</i>	<i>eu: êumb</i>
	<i>ardj</i> „медведь“	<i>u: urthš</i>	<i>ou: ourthš</i>
<i>aw</i> { В конце } { слова }	<i>kakhaw</i> „куропатка“	<i>u: kakhu</i>	<i>eu: kakhëu</i>
	<i>haw</i> „птица“	<i>u: hu</i>	<i>heu</i>

<i>e</i>	{ В последнем подударном слоге }	<i>eres</i>	„лицо“	<i>i: iris</i>	<i>éi: irêis</i>
<i>i</i>	{ В последнем подударном открытом слоге }	<i>gari</i> <i>gini</i>	„ячмень“ „вино“	<i>a: kara</i> <i>a: kina</i>	<i>ei: karêin</i> <i>e: kinen</i>
<i>i</i>	{ В последнем подударном закрытом слоге }	<i>gin</i> <i>sirt</i> <i>hawkih</i>	„цена“ „сердце“ „яйцо“	<i>ei: kein</i> <i>i: sird</i> <i>uai: havguàith</i>	<i>ái: káin</i> <i>oiá: sôiarð</i> <i>uoiá: havguoiáth</i>
<i>o</i>	{ В подударном закрытом слоге }	<i>gort</i> <i>chot</i> <i>kov</i> <i>doł</i>	„лягушка“ „трава“ „корова“ „дрожь“	<i>i: kird</i> <i>i: chid</i> <i>u: gu</i> <i>ü: tül</i>	<i>oiá: koiarð</i> <i>ēi: chēid</i> <i>ēu: gēu</i> <i>ēü: tēül</i>
<i>ow</i>	{ В подударном закрытом слоге }	<i>dowkh</i> <i>mowkn</i> <i>dowrn</i>	„вы“ „мышь“ „дверь“	<i>ä: tākħ</i> <i>ä: māg</i> <i>ou: tōur</i>	<i>a: takħ</i> <i>āa: māa</i> <i>au: taur</i>
		<i>thowth</i> <i>mowch</i> <i>bowrd</i>	„тутовое дерево“ „дым“ „шерсть“	<i>ēi: thēith</i> <i>ēü: meüch</i> <i>o: por</i>	<i>ái: tháith</i> <i>āu: māuch</i> <i>āu: páurth</i>

Эти соответствия можно продолжить.

В кабусийском диалекте гласные звуки часто подвергаются палатализации. Все это делает диалект почти непонятным для представителей других армянских диалектов и литературных языков.

Система согласных кабусийского диалекта совпадает с системой согласных арамейского диалекта, за исключением правила перехода индоевропейского *g'* (см. выше).

Склонение имен в кабусийском диалекте свелось к четырем падежам, так как формы именительного и винительного, а также родительного и дательного падежей совпали. По законам фонетики этого диалекта исходный падеж имеет окончание *-in* вместо древнеармянского *-ejn*, а творительный падеж — окончание *u* (арм. «*ու*») вместо многообразных форм древнеармянского языка.

Односложные существительные во множественном числе получают суффикс *ir(êir)*, а многосложные — суффикс *nā(nêin)*. Односложные существительные множественного числа склоняются по типу единственного числа, многосложные существительные в именительном, родительном, дательном и винительном падежах имеют одно и то же окончание *nêin*. См. примеры:

	<i>khur</i> «камень», <i>tikul</i> «ложка»			
	Ед. число		Мн. число	
Им.	<i>khur(khóur)</i>	<i>tikul(tikeül)</i>	<i>khäirir(khäreir)</i>	<i>tikálnä(tikálnein)</i>
Род.	<i>khären</i>	<i>tikälen</i>	<i>khärirein</i>	<i>tikálnein</i>
Дат.	<i>khären</i>	»	»	»
Вин.	<i>zhkhóur</i>	<i>ztikeül</i>	<i>zhkhäreir</i>	<i>ztikálnein</i>
Исход.	<i>khärin</i>	<i>tikälin</i>	<i>khäririn</i>	<i>tikálnin</i>
Твор.	<i>khäru</i>	<i>tikälü</i>	<i>khäriru</i>	<i>tikälnu</i>

Кабусийский диалект, как и арамейский, в системе спряжения имеет много сходных черт с древнеармянским языком. В кабусийском диалекте сохранились 3 спряжения древнеармянского языка. Прошедшее совершенное время по своим формам почти полностью совпадает с соответствующим временем древнеармянского языка. Составные формы глаголов образуются в результате соединения дееспричастных форм спрягаемого глагола и личных форм вспомогательного глагола; для образования прошедших составных форм кабусийский диалект, как и арамейский, использует неизменяемую частицу *ir* (др.-арм. вспомогательный глагол *eir*), которая присоединяется к основе настоящего, будущего или прошедшего времени.

Эдессийский диалект

При обследовании открытого в 1949—1950 гг. кесабского диалекта наше внимание привлекла частица *ha*, образующая формы настоящего и прошедшего несовершенного времени изъявительного наклонения. Известно, что в западных диалектах армянского языка формы настоящего и прошедшего времен индикатива образуются от соответствующих времен древнеармянского языка путем прибавления препозитивной частицы *kə* («*կը*»)¹. По этому признаку западные диалекты относят к диалектной ветви *kə* («*կը*»). Образование указанных временных форм в кесабском диалекте при помощи частицы *ha* явилось основанием для гипотезы о том, что мы имеем дело с представителем новой ветви, а именно — ветви *ha*. И в самом деле, в дальнейшем были обнаружены арамоийский и эдессийский диалекты, пользующиеся в качестве показателя настоящего времени частицей *ha/haʔ*.

Эдессийский диалект имеет сравнительно немного отличительных черт, и поэтому относительно доступен представителям других армянских диалектов и литературных языков. Остановимся на специфических чертах эдессийского диалекта, отличающих его от других диалектов и литературных языков.

Система взрывных согласных этого диалекта отличается от соответствующих систем вышеописанных диалектов, хотя в ней сохраняются индоевропейские чистые звонкие нетронутыми так же, как в арамоийском и кабусийском диалектах. Ср.:

И.-е. <i>bendh*(b)</i> „крепкий“	<i>dom*(d)</i> „дом“	<i>g²alak²*(g²)</i> „молоко“
Эдессийск. <i>bind(b)</i>	<i>dun(d)</i>	<i>gath(g)</i>
Др.-арм. <i>pind(p)</i>	<i>tun(t)</i>	<i>kathn(k)</i>

Это означает, что происхождение звуковой системы этого диалекта связано не с соответствующей системой древнеармянского состояния, а с системой диалектов Малой Армении, стоящих ближе к индоевропейскому первосостоянию, чем древнеармянский язык.

Звонкие придыхательные индоевропейского праязыка в этом диалекте перешли в глухие придыхательные: *dh* → *d* → *t* → *th*.

И.-с. <i>*bherano*(bh)</i> „рот“	<i>*dhuř(dh)</i> „дверь“	<i>ghomo-(gh)</i> „конюшня“
Эдессийск. <i>pheran(ph)</i>	<i>thuř(th)</i>	<i>khom(kh)</i>
Др.-арм. <i>beran(b)</i>	<i>duř-n(d)</i>	<i>gom(g)</i>

Возможно, что этот процесс совершился в результате тройного передвижения (*dh* > *d* > *t* > *th*); мог он также произойти в результате единичного акта — оглушения индоевропейских звонких придыхательных, что более вероятно, чем тройное постепенное передвижение.

Поскольку такую же систему согласных имеют малатийский и тиграканертский диалекты армянского языка, находящиеся на границах Южной Армении и составляющие с эдессийским диалектом географический треугольник, то можно предположить, что система взрывных согласных эдессийского диалекта сложилась в этом треугольнике, т. е. на юге исторической Армении и в северной (армянской) Месопотамии.

Особенность рассматриваемого диалекта состоит еще и в том, что в нем в ряде случаев между двумя гласными происходит удвоение согласного. Например: *kaši* > *gašši* «кожа», *kachem* > *gachchem* а «вешаю», *vazem* > *vazzem* а «бегаю», *læsem* > *læsssem* а «слушаю» и т. д.

Такое же удвоение наблюдается в кабусийском и арамоийском диалектах, а также в тиграканертском диалекте. Следовательно, данная черта присуща определенной группе (ассоциации) армянских диалектов Северной Месопотамии и Южной Армении.

Гласный *a* чаще всего подвергается палатализации, палатализируются также согласные *g'*, *k'h*.

Древнеармянские дифтонги в эдессийском диалекте превращаются в простые звуки, например: *aj* > *ā* (*laɲ* > *lān* «широкий»); *oj* > *o* (*lojs* > *los* «свет»); *iw* > *i* (*aliwr* > *alir* «мука»).

Заслуживает внимания образование множественного числа существительных в эдессийском диалекте. Односложные существительные, как правило, образуют множественное число при помощи общеармянского суффикса *er*, например: *dun* «дом» — *duner* «дома», *čur* «вода» — *čurer* «воды» и т. д. Для образования множественного числа от двусложных и многосложных существительных применяется необычный для современного армянского языка суффикс *dākh* (ср. др.-арм. *tikh*), например: *buber* «гвоздь» — *buberdākh* «гвозди», *čaterug* «арбуз» — *čaterugdākh* «арбузы», *gaši* «шкура» — *gasvə-dākh* «шкуры», *zavag* «ребенок» — *zavagdākh* «дети» и т. д.

¹ Без этой частицы древнеармянские глагольные формы настоящего времени индикатива в диалектах выражают желательное действие, которое было свойственно также древнеармянским формам настоящего времени как вторичный признак.

Определенный артикль, который в современном армянском языке звучит как *а*, здесь произносится *а*. Например: *duna* (лит. *tunə*) «дом», *čura* (лит. *djurə*) «вода», *achčina* (лит. *achčika*) «девушка», *achčindäkha* (лит. *achčiknerə*) «девушки» и т. д.

Склонение в эдессийском диалекте не имеет особых отличительных примет, за исключением того, что различаются склонения на *i* и на *u* в единственном числе, а также на *u* во множественном числе; в области склонения эдессийский диалект обнаруживает значительное сходство с западноармянским литературным языком.

В рассматриваемом диалекте имеются три типа спряжений. Настоящее и прошедшее несовершенное времена изъявительного наклонения образуются при помощи постпозитивной частицы *а*, прибавляемой к соответствующим формам древнеармянского языка.

Др.-арм.		Настоящее время		Эдессийский	
<i>grem</i>	„пишу“ ¹	<i>kardam</i>	„читаю“	<i>khārem a</i>	<i>gartham a</i>
<i>gres</i>	„пишешь“	<i>kardas</i>	„читаешь“	<i>khāres a</i>	<i>garthas a</i>
<i>grej</i>	„пишет“	<i>kardaj</i>	„читает“	<i>khārä ja</i>	<i>gartha ja</i>

Прошедшее несовершенное время					
<i>greji</i>	„я писал“	<i>kardaji</i>	„я читал“	<i>khāreji ja</i>	<i>garthaji ja</i>
<i>grejir</i>	„ты писал“	<i>kardajir</i>	„ты читал“	<i>khārejir a</i>	<i>garthajir a</i>
<i>grejr</i>	„он писал“	<i>kardajr</i>	„он читал“	<i>khārer a</i>	<i>garthar a</i>

Эдессийский диалект обладает также формами настоящего и прошедшего времен, выражающими длительность и образующимися от соответствующих временных форм со значением обычности путем прибавления препозитивной частицы *gə*, например: *gə khārem a*, *gə khāreji ja*, *gə gartham a*, *gə garthaji ja* и т. д. Когда глагол начинается с гласного звука, разница между выражением обычного и длительного действия исчезает, например *g'olərvim a* «кручусь». Частица *a*, образующая указанные выше формы, произошла от слова *aha* «вот», что позволяет отнести эдессийский диалект к новообнаруженной *ha*-ветви армянских диалектов.

Обнаружение и обследование новооткрытых диалектов армянского языка способствуют обогащению научных сведений об армянском языке. Так, добытые при обследовании арамоиского диалекта языковые факты обогатили индоевропейское наследие армянского языка и подтвердили мнение о том, что древнеармянский язык был живым, разговорным языком. Такой результат изысканий является неоспоримой удачей советской арменистики.

А. С. Гарибян

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

«МАЛЫЙ АТЛАС ПОЛЬСКИХ ДИАЛЕКТОВ»

В журнале «Język polski» (рос.изд. XXXVIII, zesz. 1, 1958) редакцией недавно вышедшего I тома «Малого атласа польских говоров» помещена статья, характеризующая план построения «Атласа» и способы картографирования материала. Изданный том, говорится в статье, включает в себе более 50 многоцветных карт, дающих ответ на 50 вопросов программы. В этот том вошли главным образом сведения, касающиеся названий различных предметов сельского хозяйства, однако они дают не только словарный материал, но в равной степени также фонетический и словообразовательный. В I томе картографированы названия крестьянского жилого дома и его частей (9 карт), плуга и его частей (9 карт), частей повозки (20 карт); сюда же включены 11 грамматических карт и одна лексическая (границы распространения наречия *jasu*).

В целях наглядности создатели «Атласа» пользовались различными техническими средствами. Для возможно более синтетического изложения материала везде, где это возможно, применяется система разноцветных полей (все слова одного корня имеют один общий цвет, фонетические и словообразовательные варианты обозначаются особым), а на так называемых точечных картах используются, по мере возможности, вспомогательные линии, которые выделяют области распространения либо отдельных слов, либо разных вариантов одного и того же слова. В исключительных случаях приходилось помещать полученные ответы непосредственно при исследуемых пунктах.

Показывая далее приемы картографирования, авторы статьи выборочно рассматривают несколько карт. Технически проста карта крестьянского дома. Терминов данного типа существует шесть (*chatupa*, *izba*, *budynek*, кашуб. *checza* и др.); так как они рассеяны и явно нигде не группируются, карта показывает их только цветными значками. Авторы статьи подчеркивают, что тогда как в большинстве атласов преобладают карты именно такого типа, в «Малом атласе польских говоров» они используются только в тех случаях, когда рассеянные знаки не покрывают единого большого пространства, которое можно было бы заменить одним цветным полем.

Показательная география названий верхних перекрытий (т. е. потолка, наката): *powała* (или *powal*) охватывает почти всю историческую Малопольшу, *pułap* (или *połap*) — Мазовше, *posowa* (или *posoba*) — всю первоначальную Великопольшу и западное Поморье. Границы распространения этих слов соответствуют давнему делению Польши. Впрочем вообще границы разделов Польши не оказали почти никакого влияния ни на лексику, ни на грамматику польских говоров. Разнообразные названия основной балки потолочного перекрытия группируются не настолько отчетливо, чтобы можно было здесь применить способ цветных полей, как при картографировании названий потолка. Карта заполнена разноцветными значками, но для облегчения ориентации области распространения слов отмечены изоглоссами (так, широко известное название *siestrzan* встречается преимущественно в исторической Малопольше, *tram* является словом мазовецким, а *respa* — исключительно силезским).

Слово *grządziel* «дышло» с его разновидностями (*grządziel*, *grząziel*, *grzęda* и др.), а также синонимы этого слова имеют карту с надписями, но наглядное представление о распространении форм с начальным *grz-* и начальным *gr-* и с другими грамматическими чертами достигается благодаря общему цветному фону и изоглоссам, в результате чего возник особый род карты, который, может быть, технически и сложен, но зато удобен для читателя. Все другие карты для названий плуга и его частей многоцветные, со значками; добавление изоглосс делает их еще четче. Например, карта сразу показывает юго-восточный район слов *trzęsto*, *cepigi* «ручки плуга», *istyk*, *blacha* «отвал плуга»; отсюда ясно, что праславянское **czerslo* в подавляющей части Польши уступило место более понятным сегодня словам *nóż* и *krój*. Исключительно малопольским является *istyk* «приспособление для сбрасывания земли с лемеха», а равно измененное *styk* или *listyk*; даже в Силезии от этого же корня **-těk-* мы имеем уже иное образование: *o-tek-a*.

Из двадцати названий частей повозки наиболее интересно слово *piasta* «ступица в колесе», обнимающее северную Малопольшу, Куявы, Хелминскую землю, Вармию и почти все Мазовше. Слово это, в настоящее время не этимологизируемое, следует признать очень старым, а сравнение с другими языками дает доказательство его праславянского происхождения. Интересно параллельность вариантов *pąsta*—*pąsda*; так как нигде не встречается *miazda* вместо *miasa*, *gwiaisty* вместо *gwiazdy* и так как это различие не представляет собой явления одиночного или географически раз-

дробленного, но четко делит территорию распространения этого слова по двум указанным здесь вариантам, ясно, что эта — сейчас исключительная и непонятная — раздвоенность является лексикализованной с очень давнего времени. Словарь Миклошича указывает, что эта же двойственность выступает и в словенском языке, и это позволяет отнести как само это слово, так и раздвоение его формы к праславянскому периоду. Поскольку цветные поля служат только для различения слов, территория слова *piasta* представлена единым целым, а противопоставление *piazza* и *piasta* передано изоглоссами. Интересно, что исконное славянское *obręcz* занимает пространство, в общем равное пространству *piasta*.

В статье приводятся примеры картографирования и других слов. Одиннадцать карт посвящено изложению диалектного распространения исконных групп **śr*, **zř*, **žř*, выступающих в словах *środa*, *źródło*, *źrebię*, *szron*, *srebro*, а также в *żrenica* и других словах с тем же корнем: *przejrzadło*, *dojrzawać*, *wyjrzeć* и др. Следует подчеркнуть, что развитие фонетической основы, теоретически устойчивой и цельной — *śr(z)*, *žr(z)* — в каждом отдельном слове проявляет какие-либо индивидуальные особенности, в том числе и географические. Чтобы соединить эти карты в грамматическое (фонетическое) целое, во всех них используются одни и те же цвета. Из данной группы только для слов *środa* и *srebro* нет синонимов, остальные же имеют богатую синонимику; например, о хлебе говорится, что он *dojrzewa*, *dostawa*, *dochodzi*, *dośpiewa*, *dościga*, *godzi się*, *bieleje* и др. — «зреет». Вообще этот комплекс весьма разнообразен как по своим семантическим, так и по своим формальным особенностям, вследствие чего он очень сложен. Графически все эти слова объединяются двумя общими техническими средствами: все *śrz*, *žrz* обозначаются розовым цветом, все *śr*, *žr* — голубым; кроме того, все *strz*, *zdrz* характеризуются одним направлением штриховки, а *rs*, *rž* — другим.

В приложенной к «Атласу» книге говорится об истории возникновения данного издания, даются вступительные сведения о нем, комментарий к каждой карте; сообщаются также и основные факты, которые не удалось учесть на карте (опущенные мелкие варианты, сопоставление сведений из дополнительных источников, сомнения редакции, напрашивающиеся выводы).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

Lingua. International review of general linguistics (Revue internationale de linguistique générale), vols IV—VII.— Amsterdam, 1955—1958.

Среди лингвистических журналов, появившихся в послевоенные годы, особого внимания заслуживает «*Lingua*». Журнал этот, издающийся с 1947 г. в Гарлеме (в настоящее время в Амстердаме) под редакцией А. В. де Грота и А. И. Райхлинга (впоследствии к ним присоединился Е. М. Уленбек), выходит четыре раза в год. Четыре выпуска журнала (объемом около 6 печатных листов каждый) составляют том. «*Lingua*» — международный общетеоретический лингвистический орган. В журнале сотрудничают видные языковеды различных стран мира: Дж. Гонда, А. В. де Грот (Утрехт), В. Пизани (Милан), Ф. Микуш (Люблина), Е. М. Уленбек (Лейден), Дж. Эллис (Гулль) и другие.

Содержание большинства помещаемых в журнале статей обнаруживает его явно структуралистскую ориентацию¹. Весьма показательны в этом отношении помещенные в «*Lingua*» критические высказывания А. В. де Грота и Е. М. Уленбека по поводу некоторых докладов, прочитанных на VIII Международном конгрессе лингвистов в Осло (см. «*Lingua*», vol. VII, 1, 1957). Авторы вполне разделяют мысли П. Дидерихсена и Х. Спанг-Ханссена о фонемном и дистрибутивном анализе и решительно возражают против чисто физического подхода к изучению звуков речи. Е. М. Уленбек и А. В. де Грот соглашались и с тезисами доклада Б. Сиертсема².

Во многих помещенных в «*Lingua*» статьях делается попытка применения структуральных методов анализа при изучении конкретных языковых проблем. В статье Г. А р н о л ь д а «Современные французские гласные, согласные и слоги с фонологической точки зрения» (vol. V, 3, 1956) содержится фонологическая классификация гласных и согласных фонем с точки зрения условий их использования в составе слога. В статье делаются следующие, весьма типичные для структуралистов, выводы: гласные и согласные лучше всего определяются на основе дистрибутивного (распределительного) анализа фонем³; в фонологии слог следует определить как структурную единицу, в рамках которой сочетаемость гласных и согласных в данном языке может быть наиболее экономно выражена⁴. В другой своей статье «Английское словесное ударение»

¹ Как известно, редакторы журнала (А. В. де Грот, А. Райхлинг, Е. М. Уленбек) являются представителями структурализма в Голландии. Ср., например, следующие их работы: A. W. de Groot, *Strukturele syntaxis*, Den Haag, 1949; е г о ж е, *Structural linguistics and phonetic law*, «*Lingua*», vol. I, 3, 1947, стр. 175—208; A. Reichling, *Feature analysis and linguistic interpretation*, сб. «*To Roman Jakobson*», The Hague, 1956, стр. 418; G. Mol, E. M. Uhlenbeck, *The analysis of the phoneme in distinctive features and the process of hearing*, «*Lingua*», vol. IV, 2, 1954, стр. 167—190 и др.

² Основные положения доклада Сиертсема сводятся к следующему: хотя лингвистическое описание может быть осуществлено на основе изучения отношений единиц языка, однако сравнение таких описаний между собой невозможно, ибо изменение одного из отношений обязательно влечет за собой изменение всех остальных.

³ Чисто фонетическая трактовка гласных дается в статье П. Ладефогед (vol. V, 2, 1956), который считает, что при классификации гласных необходимо учитывать взаимодействие таких факторов, как высота тона, громкость и индивидуальное качество. Автор разграничивает понятия «индивидуального» и «фонетического» качества и исследует возможности и способы инструментальных измерений фонетического качества гласных. Несколько других статей, помещенных в «*Lingua*», также посвящены экспериментальной фонетике. Так, в статье Г. Моля и Е. М. Уленбека (vol. VI, 4, 1957) на основе математических подсчетов показывается тесная связь между величинами гребней кривых звука, воздействующего на слуховой орган, и величинами, характеризующими источник звука. В небольшой статье Г. Панконтелли-Калция (vol. IV, 4, 1955) дается экспериментальный анализ свойств шепотной речи с физиолого-патологической и лингвистической точек зрения. Исследованию шепотной речи посвящена также статья Г. П. Блока (vol. V, 4, 1956).

⁴ Критическое рассмотрение различных теорий слога см. в статье А. Л. Трехтерова «Основные вопросы теории слога и его определение» (ВЯ, 1956, № 6).

(vol. VI, 3, 1957; vol. VI, 4, 1957) Г. Арнольд приходит к выводу, что категории словесного ударения в английском языке, которые, по его мнению, определяются наиболее эффективно на основе моделей (patterns) ритма в словах, тесно связаны с качеством гласных¹; дистрибутивные отношения этих категорий в словах формулируются автором в виде нескольких сравнительно простых общих принципов. В статье де Грота «Классификация словосочетаний» (vol. IV, 2, 1957) на материале китайского, английского и латинского языков делается попытка структурной трактовки словосочетаний на основе анализа дифференциальных признаков значений словосочетаний и их компонентов (или, говоря словами автора, на основе анализа оппозиций).

В двух выпусках «Lingua» (vol. V, 1, 1955; vol. V, 2, 1956) опубликована обширная статья Ф. Микша «Ян В. Розадовский и синтагматический структурализм». В статье утверждается, что Я. Розадовский был первым, кто выдвинул теорию так называемого структурного синтагматического единства речи и мысль о том, что речь состоит в принципе из одного структурного типа — синтагмы. Зачатки постулируемой Ф. Микшем диахронической синтагматики следует, по его мнению, также искать в книге Розадовского «Wortbildung und Wortbedeutung»².

Значительное место в «Lingua» отводится решению сложных общелингвистических проблем и вопросов истории языкознания. В этой связи следует указать на недавно опубликованную полемическую статью Дж. Эллиса «Общее и сравнительно-историческое языкознание» (vol. VII, 2, 1958). Статья Эллиса написана в связи с работой У. С. Аллена «Relationship in comparative linguistics» (см. «Transactions of the Philological society», Oxford, 1953, стр. 52—108). Дж. Эллис приходит к выводу, что общее (или, как он его называет, описательное) языкознание должно строиться на принципах структурализма.

В противовес положениям Аллена Эллис утверждает, что: 1) сравнительно-историческое языкознание (по используемому им материалу) не может носить системного характера, так как то, что в языке обнаруживает регулярность развита, не является системой. Суть сравнительно-исторического языкознания заключается не только, как думает Аллен, в системном анализе природных сходств, но и в установлении определенной объективной важности некоторых сходств (первоначально такое установление сходств было интуитивным); 2) диахроническое (но не сравнительно-историческое) языкознание может носить системный характер; 3) нельзя не учитывать, что и явления, не имеющие системного характера, могут быть научными.

Далее Эллис настаивает на необходимости сравнения не отдельных языков, а систем внутри языков; он анализирует различные элементы языка с точки зрения возможности их сравнения при реконструкции (в связи с этим Эллис рассматривает фонемы и их аллофоны, морфемы и т. д.). Он исследует также возможность заимствования одним языком различных (фонетических, морфологических, синтаксических) элементов и закономерностей другого языка или языков. Эллис утверждает, основываясь на положениях Ф. де Соссюра, что, в отличие от общего языкознания, сравнительно-историческое языкознание имеет дело с элементами систем независимо от самих систем в целом; общее же языкознание, по мнению Эллиса, занимается системами как таковыми. Дж. Эллис использует обширную литературу по исследуемому им вопросу (в частности, он знаком с работами Е. Д. Поливанова и А. И. Смирницкого).

В своей статье «Об особенностях языкового знака» (vol. IV, 1, 1955) венгерский ученый И. Фонажи вслед за Ф. де Соссюром признает, что языковой знак условен, в противном случае, по его мнению, язык не мог бы удовлетворять потребностей общения членов общества. Однако так называемый «доязыковый», «естественный» способ общения, по мнению автора, еще живет в рамках созданной впоследствии конвенциональной системы. Произношение звуков, интонация, распределение ударения являются одновременно как конвенциональными знаками, так и естественным средством выражения душевных переживаний («seelischer Inhalte»). И. Фонажи заявляет, что пластичность и полифония звукового языка возникает в борьбе этих противоположностей. Именно в этом, а не в произвольности языкового знака автор усматривает специфику человеческой речи³. Нам кажется, однако, что И. Фонажи слишком преувеличивает роль аффективности речи, ибо эмоции не всегда находят свое выражение в языке.

В статье Г. Ревеша «Психогенетическая основа языка» (vol. IV, 3, 1955) постулируется бихевиористская, так называемая «контактная» теория предьстории и эволюции языка, представляющая собой как бы компромисс между биологическими и антропологическими теориями.

¹ Подобную же трактовку английского словесного ударения см. в кн.: B. L. Milne, English speech rhythm, London, 1957.

² Основные принципы синтагматики Ф. Микша изложены в его статье «Обсуждение вопросов структурализма и синтагматическая теория» (ВЯ, 1957, № 1). Критические замечания о синтагматике Ф. Микша содержатся в статье Е. А. Седельникова «Несколько слов о синтагматической теории» (ВЯ, 1958, № 4).

³ Критику различных теорий языкового знака см. в кн.: H. Spang-Hanssen, Recent theories on the nature of the language sign, Copenhagen, 1954.

В статье Я. Малкиеля (vol. V, 3, 1956) на основе романского материала делается попытка связать два, на первый взгляд диаметрально противоположных аспекта этимологического истолкования того или иного слова: с одной стороны, принцип единственности и окончательности данной этимологии, обусловленный историческим характером этимологической реконструкции, а с другой — возможность нескольких этимологий (эта возможность связана с такими явлениями, как словообразование по принципу телескопии, народная этимология, поляризации, ложная регрессия и др.). Мысли Я. Малкиеля представляют собой определенный шаг вперед в практике этимологического анализа: применение его методики может дать возможность избрать наиболее вероятные и исторически оправданные из имеющихся этимологических вариантов.

В статье В. Пизани «Август Шлейхер и некоторые направления современного языкознания» (vol. IV, 4, 1955) утверждается, что концепция А. Шлейхера, рассматривавшего язык как природный организм, фактически легла в основу последующих лингвистических теорий. Современные направления в языкознании, в том числе и структурализм, по утверждению автора, в той или иной (часто завуалированной, а иногда искаженной) форме фактически основаны на тезисах А. Шлейхера. Наряду с признанием ценности многих наблюдений В. Пизани, нам представляется необходимым указать, что постулируемое В. Пизани сведение в сех лингвистических концепций XIX—XX вв. к одной ведет в конечном итоге к слишком одностороннему и упрощенному их пониманию, не дает возможности разобраться в их специфике и никак не подкрепляется фактами истории лингвистических учений.

В статье К. Боуда «Дравидийские и урало-алтайские языки» (vol. V, 2, 1956) на основе сопоставления звуковых соответствий утверждается родство дравидийских и урало-алтайских языков. В другой статье «Чукотский и финно-угорские языки» (vol. IV, 3, 1955) К. Боуда говорит о родстве чукотского и финно-угорского языков. Следует отметить, что приводимый К. Боуда материал вряд ли дает основание для категорических утверждений в отношении весьма спорных вопросов финно-угроведения, которые посвящены его статьи¹.

Наряду с общелингвистическими статьями в «Lingua» печатаются статьи, посвященные частным вопросам языкознания². В двух статьях, помещенных в «Lingua», исследуется чрезвычайно интересная проблема языковых смещений. Статья Й. Вохве «Глагольная система в диалекте сранан» (vol. VI, 4, 1957) посвящена изучению глагола распространенного в Суринаме негритянского говора, представляющего собой результат смещения английского языка и негритянских наречий. Автор последовательно разбирает специфику глагольных форм, характеризующихся префиксами и интонацией, а также особенности вспомогательных глаголов. В статье, кроме того, исследуется использование в изучаемом говоре переходных и непереходных глаголов. В статье Маераде Вилье «Абсолютные и относительные времена» (vol. IV, 4, 1955) изучаются особенности абсолютных и относительных времен в голландских говорах, распространенных в Южной Африке. Ценность указанных двух статей, как нам кажется, заключается не только в том, что в них дается исследование закономерностей мало изученных языков мира, но и в том, что приводимый в них фактический материал может способствовать объективной оценке в общезыковедческом плане возможностей и результатов языковых смещений.

Проблемам индоевропеистики в журнале уделяется большое внимание. Весьма интересна статья Х. Розена «Ларингальные рефлексy и „слабый“ перфект» (vol. IV, 4, 1957). На основе исследования греческого, готского и умбского материала автор убедительно показывает, что «суффиксы» перфекта некорневых глаголов («слабого» перфекта) *-k-*, *-w-*, *-d-* встречаются также у глаголов, основа которых оканчивается на ларингал. При этом, как правило, окончания основ перфекта этих корневых глаголов совпадают с окончаниями деноминативных основ перфекта.

В статье Дж. Гонды «Индоевропейские местоимения на *k^w*» (vol. IV, 3, 1955) дается обзор и критика различных теорий, касающихся исторической последовательности возникновения неопределенной и вопросительной функций индоевропейских местоимений на *k^w*. Статья эта фактически является продолжением исследования индоевропейских местоименных основ, начатых Дж. Гондой в статье «Первоначальный характер индоевропейских относительных местоимений на *io-*» (vol. IV, 1, 1954). Автор совершенно справедливо ставит под вопрос распространенное мнение, согласно кото-

¹ Сложность разбираемых К. Боуда проблем становится ясной при ознакомлении, например, со следующими работами: J. A n k e r i a, Das Verhältnis der tschuktschischen Sprachgruppe zu dem uralische Sprachstamme, Uppsala, 1951; J. A n g e r e, Die uralojukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachliche Urverwandschaft, Stockholm, 1956. См. также журнал «Ural-Altische Jahrbücher» за различные годы.

² Можно назвать, например, следующие работы: W. L e s l a u, Some mutilated roots in Ethiopic (vol. VI, 3, 1957); W. S. A l l e n, Some problems of palatalization in Greek (vol. VII, 2, 1958); A. M a l e c o t, The elision of French mute *e* within consonantal clusters (vol. VI, 3, 1957); M. R e g u l a, Wesen und Einteilung der adnominalen Genetiv-Arten im Lateinischen (vol. V, 4, 1956) и др.

рому неопределенные местоимения типа гот. *hvazuh*, др.-инд. *kaścid* считаются производными от вопросительных. Идентичность вопросительных и неопределенных местоимений в индоевропейских языках, как показывает Дж. Гонда, даже в отношении их функций имеет множество неиндоевропейских параллелей. В статье делаются также некоторые замечания, касающиеся употребления рассматриваемых местоименных основ в относительном значении. Дж. Гонда помещает в «Lingua» многочисленные заметки и статьи по различным частным вопросам индоевропеистики, а также библиографические обзоры по этим проблемам¹.

Следует, наконец, остановиться на одном из важных разделов журнала «Lingua» — разделе рецензий. Рассмотрение этого раздела, по нашему мнению, дает основание для некоторых критических замечаний. Как уже говорилось, «Lingua» — общетеоретический журнал. Тем не менее подавляющее большинство рецензируемых в нем работ посвящено частным вопросам языкознания. Приведем в качестве примера названия трудов, рецензируемых в томе VI, № 2 «Lingua» за 1957 г. (в скобках указываются фамилии рецензентов): P. V o o r h o o v e, Critical survey of studies on the languages of Sumatra (F. S. Eringa); H. G l i n z, Die innere Form des Deutschen (M. Regula); P. G u i r a u d, Bibliographie critique de la statistique linguistique (E. M. Uhlenbeck); E. L e i s i, Das heutige Englisch (P. A. Erades); H. J. S e i l e r, L'aspect et le temps dans le verbe neo-grec (G. H. Blanken); B. C o l l i n d e r, Fenno-Ugric vocabulary (A. Sivirsky); L. R e n o u, Histoire de la langue sanskrite (J. Gonda); G. H a m m a r s t r ö m m, Étude de phonétique auditive sur les parlers de l'Algarve (H. L. A. van Wijk). В некоторых номерах «Lingua» почти все рецензии касаются работ, посвященных какой-либо одной частной области лингвистики. Так, все рецензии (кроме одной) в томе VII, № 2 за 1958 г. посвящены работам по романистике; в томе VI, № 3, за 1957 год помещена лишь одна рецензия — она посвящена книге Д. Джоунза «Очерк английской фонетики» (рецензент А. Коэн). Многие рецензии помещаются в «Lingua» только через 5—7 лет после выхода в свет рецензируемой книги (ср. vol. IV, 4, 1955, стр. 433; vol. VII, 1, 1957, стр. 108, vol. VII, 2, 1958, стр. 209, 211, 213, 214, 215, 217).

Разнообразие тематики помещаемых в «Lingua» статей, их специфическая направленность, а также международный характер журнала, — все это свидетельствует о большом его значении для широких кругов лингвистов. К сожалению, этот журнал мало известен большинству наших языковедов.

М. М. Маковский

РЕЦЕНЗИИ

А. И. Смирницкий. Синтаксис английского языка. Подготовил к печати и отредактировал В. В. Пассек. — М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1957. 286 стр.

«Синтаксис английского языка» — одна из посмертно изданных книг А. И. Смирницкого. Как отмечают в «Предисловии» составители (семь учеников А. И. Смирницкого), в основе книги лежит курс лекций (не ясно, конспект курса или записи слушателей), читанный их учителем в течение одиннадцати лет. Используются также некоторые дополнительные материалы, переданные составителям О. С. Ахмановой. Изложение одной из проблем (порядок слов) в значительной мере основано на устных разъяснениях, которые В. В. Пассек получил от А. И. Смирницкого, и на результатах собственного исследования В. В. Пассека, нашедших полное одобрение со стороны его учителя (§ 57—58).

Конечно, во всякой книге, созданной таким образом, не только возможны, но даже почти неизбежны известные диспропорции между частями, повторения, лакуны, иногда даже некоторая несогласованность между отдельными положениями. Ведь при чтении курса лектор, как правило, совсем по-другому отбирает материал и приводит его в единство, по-другому использует языковые иллюстрации и привлекает научную литературу, чем он это сделал бы при написании книги. Следы того, что мы имеем дело с обработкой курса, заметны и в рецензируемой книге. Но это отнюдь не снижает того большого положительного значения, которое имеет издание работы, излагающей взгляды на синтаксис английского языка такого значительного языковеда, как А. И. Смирницкий.

¹ Ср., например: J. G o n d a, On nominative joining or «replacing» vocatives (vol. VI, 1, 1956); ег о ж е, A critical survey of the publications on the periphrastic future in Sanskrit (vol. VI, 2, 1957); ег о ж е, Professor Burrow and the prehistory of Sanskrit (vol. VI, 3, 1957).

Как и почти все работы А. И. Смирницкого, «Синтаксис английского языка» имеет ярко выраженную общезыковедческую направленность, что делает рецензируемую книгу интересной отнюдь не только для англистов. Исходный пункт А. И. Смирницкого в его трактовке синтаксиса — те общие положения о характере слова и о соотношении между речью и языком, которые изложены в ряде его работ¹ и которые мы здесь считаем возможным не повторять, так как они широко известны. В самом синтаксисе внимание А. И. Смирницкого целиком сосредоточено на проблемах словосочетания и простого предложения, что весьма понятно, так как именно эти проблемы являются особенно важными для синтаксиса в теоретическом плане.

Большое место в книге занимают синтаксические явления русского языка. Они иллюстрируют ряд общезыковедческих положений автора, а также используются для сопоставления с фактами английского языка.

Книга состоит из трех частей и двух небольших приложений. Первая часть («Содержание и задачи грамматики») рассматривает важнейшие грамматические понятия и основные единицы грамматического строя. Она носит очень обобщенный характер и должна служить также введением к работе А. И. Смирницкого о морфологии английского языка. Во второй части («Учение о словосочетании») характеризуются средства выражения связи между словами (порядок слов, формы слов, служебные слова). Этим моментом трактовка словосочетаний здесь ограничивается, но значительный материал по этому вопросу фактически дается в разделах, посвященных второстепенным членам предложения. В третьей части («Учение о предложении») на базе понятия предикации устанавливаются главные члены предложения. В разделе, посвященном основным типам предложения, дается характеристика безличных и личных предложений. (В приложении I вводится еще деление предложений по степени эмоциональности и по целевой установке.) Затем идет общая характеристика второстепенных членов предложения, в связи с чем рассматриваются типы предикативной, атрибутивной, комплетивной (дополнительной) и копулятивной связи между членами предложения. В качестве второстепенных членов намечаются дополнение, обстоятельство, определение и объектно-предикативный член. В приложении II рассматривается употребление глагольных имен и, в частности, приводятся образованные на их основе обороты.

Книга изобилует новыми формулировками и терминами и содержит ряд интересных наблюдений над отдельными фактами английского языка. Со свойственной ему точностью логического анализа А. И. Смирницкий тщательно разграничивает рассматриваемые им языковые явления, создает свои термины и дает новые дефиниции. Усиленно разрабатывается и дифференцируется понятие грамматической категории (стр. 28—34), согласование определяется как «согласное обозначение того же самого формами соединенных слов» (стр. 77), третье лицо рассматривается как такая форма, которая «может обозначать л ю б о е количество лиц, причем ни одно из них не принимает участия в данном конкретном акте речи» (стр. 145) и т. д. и т. п. Многие из таких терминов, как «словоформы», «типоформы», «категориальные формы», «формулы строения словосочетаний», «формулы предложения» и т. д., уже были известны по прежним работам А. И. Смирницкого, но некоторые, насколько мы можем судить, вводятся только в рецензируемой книге².

Упомянем также некоторые из тех интересных языковых наблюдений, которые содержатся в книге. Ценным представляется нам, например, объяснение невозможности пропуска относительного местоимения — подлежащего в предложении тем, что тогда на первом месте в придаточном оказался бы глагол, который неизбежно тяготел бы к предшествующему имени, и это затруднило бы понимание смысла предложения (ср. **That's the man wanted to see you — That's the man I wanted to see*, стр. 98). Существенно указание, что «в английском языке предлоги [древние предлоги с первоначальным локальным значением. — В. А.] оказываются более самостоятельными, а самостоятельность наречий, наоборот, ослабляется» (стр. 92). Ряд интересных наблюдений имеется в разделе о порядке слов.

Интересна трактовка сложных случаев прямого и косвенного дополнения с показом их многоаспектности и с использованием грамматических преобразований для их анализа (стр. 204 и сл.) и т. д.

Пам, однако, не хотелось бы исчерпать всю рецензию перечислением отдельных удачных мест книги. Еще меньше хотели бы мы останавливаться на отдельных неточ-

¹ См.: А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «отдельности» слова), сб. «Вопросы теории и истории языка», М., 1952; е г о ж е, К вопросу о слове. (Проблема «тождества» слова), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, М., 1954; е г о ж е, Лексикология английского языка, М., 1956, и др.

² Надо, впрочем, отметить, что во многих случаях и без применения уточненных терминов и дефиниций (тенденция к которым широко представлена не только в рецензируемой книге, но и у ряда современных исследователей) особых недоразумений не происходило. Так, соотносительность и как бы «ступенчатость» понятия «категория» в его обычном употреблении настолько очевидны, что, даже фигурируя рядом, «категория существительного», «категория падежа» и «категория родительного падежа» отнюдь не смешиваются.

ностях, встречающихся в ней¹. Значительно важнее, на наш взгляд, дать представление об общей синтаксической концепции, выдвигаемой А. И. Смирницким применительно к английскому языку. А именно, мы хотим рассмотреть такие фундаментальные вопросы, как проблему предикации и проблему второстепенных членов предложения в трактовке А. И. Смирницкого, тем более что как раз здесь обнаруживается много спорного. При этом мы постараемся, говоря о реальном характере языковых явлений, лишь в минимальной мере касаться вопросов терминологических.

К понятию предикации А. И. Смирницкий, как и многие другие исследователи, приходит на основе сопоставления предложения с словосочетанием. Наличие в предложении отсутствующего в словосочетании выражения «общей направленности, целеустремленности или мотива данного высказывания» сначала связывается А. И. Смирницким с интонацией (стр. 35—36), которой самой по себе достаточно для превращения в предложение любой формы слова или любого словосочетания (стр. 51—52). Но затем А. И. Смирницкий указывает, что особое значение для образования предложения имеет личная или предикативная форма глагола, которая только и дает возможность образования не примитивных, а развернутых и усложненных структур предложения. В частности, отмечается, что «само наличие предикативных форм предполагает построение предложения» (стр. 52).

В таком выдвигании на передний план интонации и глагольности как основных средств образования предложения А. И. Смирницкий примыкает к традиции, представленной в русской грамматике прежде всего А. М. Пешковским. Но в своем обосновании особой предикативной роли глагола А. И. Смирницкий ближе к теории предложения И. Риса и к трактовке предикативности у В. В. Виноградова. Предикативность личной формы усматривается в рецензируемой книге в том, что глагол точно и ясно выражает отнесение к действительности всего высказывания в целом, причем это выявляется в наличии в личной форме глагола грамматических значений модальности, времени и лица (стр. 52—53).

Если предикация есть соотнесение содержания высказывания с действительностью, то предикат рассматривается А. И. Смирницким как тот предмет мысли, который осознается вместе с предикацией, а сказуемое — как то слово или сочетание слов, которым «обозначается предикат и выражается предикация» (стр. 107—108). Как мы видели выше, таким словом является (один или в сочетании с другими словами) глагол в личной форме.

Что касается субъекта, то он определяется соотносительно с предикатом как «тот предмет мысли, по отношению к которому мыслится, определяется и выделяется предикат», а под подлежащим соответственно понимается слово или сочетание слов, указывающее на субъект, т. е. для английского языка фактически имя в общем падеже, с которым согласуется глагол.

Таким образом, с точки зрения А. И. Смирницкого, вся предикация сосредоточивается в сказуемом, в связи с чем — а возможно, учитывая и многообразие форм сказуемого, — в центре анализа структуры предложения у А. И. Смирницкого стоит анализ сказуемого. Разделы, посвященные сказуемому, предшествуют разделам, посвященным подлежащему. Но структурным центром предложения для А. И. Смирницкого является все же не сказуемое, а подлежащее, поскольку «подлежащее указывает на то, к чему относится предикат и предикация», тем более что и в формальном плане глагол согласуется с подлежащим (стр. 137, 144, 165). Только при отсутствии подлежащего грамматическим центром предложения становится сказуемое.

Не будем подробно останавливаться на критике наиболее общих положений этой концепции. Как нам уже приходилось отмечать в другом месте, предикацию вряд ли можно «привязывать» к категориям модальности, времени и лица. Достаточно сказать, что главная из этих категорий — категория модальности — характеризует не только предикацию, но и синтаксические отношения, в которых участвуют второстепенные члены предложения, что подтверждается возможностью введения модальных слов, например, в атрибутивные сочетания. Впрочем этот вопрос в какой-то мере вообще выходит за рамки настоящей рецензии, потому что здесь мы отмечаем не специально от А. И. Смирницкого, а от едва ли не ведущего направления в синтаксической теории².

¹ Например, легко заметить, что при определении предлогов точнее было бы говорить о них не как о словах, использующихся «для обозначения связи между предметом и предметом, предметом и признаком или же предметом и процессом» (стр. 86), а как о словах, связывающих слова с соответствующим обобщенным значением. Но это — мелочи, фактически не мешающие пониманию подлинной авторской мысли и, как мы говорили, вероятно неизбежные в книге, являющейся обработанным лекционным курсом.

² См.: J. R i e s, Was ist ein Satz?, Prag, 1931, стр. 72 и сл.; В. В. В и н о г р а д о в, Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения, ВЯ, 1954, № 1, стр. 14; «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 80; но ср. В. Г. А д а м о н и, О модальности предложения, «Уч. зап. [ЛГПИ]», Фак-т иностр. языков, т. XXI, 1956, стр. 55—61; е г о ж е, О предикативности, «Уч. зап. [ЛГПИ]», Фак-т иностр. языков, т. XXVIII, 1957, стр. 23—44.

Однако А. И. Смирницкий делает из этой общей концепции ряд новых выводов. Раз вся предикация дана в сказуемом, а подлежащее есть лишь указание на тот предмет, к которому относится предикат, то предикативная связь, т. е. связь между подлежащим и сказуемым (с точки зрения А. И. Смирницкого, которой нельзя отказать в последовательности), лишена предикации и вообще имеет лишь семантическое, а отнюдь не структурное значение. И опять-таки совершенно последовательно, исходя из такого понимания предикативной связи и учитывая возможность исключительно свободной сочетаемости лексем, выражающих подлежащее, с лексемами, выражающими сказуемое, А. И. Смирницкий приходит к заключению, что предикативная связь является наиболее свободной, наименее спаянной из всех видов синтаксической связи.

Но языковые факты находятся в явном противоречии с такой точкой зрения. Отношение между подлежащим и сказуемым есть, напротив, исключительно «тесное» отношение. Сочетающиеся в предикативной связи компоненты действительно противопоставлены друг другу, но их противопоставленность органически связана с их динамической взаимозависимостью и взаимонаправленностью. Ведь синтаксическая задача подлежащего, при всей его формальной независимости, заключается именно в том, чтобы получить свое раскрытие в сказуемом, а сказуемое соответственно ориентировано на подлежащее. Их соотносительность есть не только семантический, но и структурный момент. Они как бы подразумевают друг друга в реальном строе предложения, требуют друг друга для придания предложению завершенности. В своей связанности эти члены предложения образуют прочнейшую структурную схему. От каждого из них идет устойчивая проекция к другому — и именно поэтому каждый из них так легко восполняется в мысли, если явление, им обозначаемое, дано в контексте или в ситуации. Грамматическая прочность схемы обеспечивает этот процесс и при предикативной связи отнюдь не в меньшей степени, чем при других типах синтаксической связи. Ср.: — *Кто там бежит?* — *Петр*, и — *Какое платье ты сегодня наденешь?* — *Синее*.

Положение о структурно свободном характере предикативной связи А. И. Смирницкий аргументирует и невозможностью создания сложных слов на основе этой связи, между тем как на основе других видов связи (особенно атрибутивной) словосложение широко распространено. Но ведь в 1-м и 2-м лицах, где лексическое выражение подлежащего оказывается одним и тем же во всех случаях употребления, при благоприятных условиях возникает тенденция к слиянию личного местоимения с глаголом, т. е. особая форма словосложения, стремящаяся, правда, к превращению в аффиксацию (ср. развитие в древнемецком: *gibis du* > *gibistu* > *gibist*).

Что касается английского языка, то в нем, как это неоднократно отмечалось исследователями, начиная с Есперсена, сочетание подлежащего с личной формой глагола оказывается особенно важным и устойчивым в структурном отношении. Не одно сказуемое с его группой (как это имеет место, например, в немецком языке), а именно образующее предикативной связью сочетание подлежащего с личной формой глагола составляет организующую ось предложения, и именно оно максимально нерасторжимо, спаянно в английском языке. Об этом говорит не только общая глагольность английского предложения, но и сравнительная редкость инверсии, широкое употребление глагола *to do*, позволяющее создать хотя бы подобие структуры подлежащее-глагол в вопросительных предложениях, возможность опущения предикатива и даже именных частей сложных глагольных форм при обязательном сохранении сочетания подлежащего с личной формой связочного или вспомогательного глагола в ответах, повторениях и т. д. Ср. *Are you ill?* — *I am*.

Характерно, что в книге А. И. Смирницкого ощущение подлинного характера предикативной связи все же кое-где проскальзывает. Так, на стр. 165 говорится, что подлежащее и сказуемое представляют собой остов предложения (ср. также стр. 196, 219). На стр. 153—156 вкратце показано, как в ряде случаев характер содержания подлежащего раскрывается из характера содержания сказуемого. Однако этот вопрос ставится автором в чисто семантическом плане, без обращения к структурному моменту, без раскрытия взаимодействия обобщенных значений подлежащего и сказуемого и очень неполно (например, при квалификативном сказуемом даже не упоминается подлежащее, находящееся с ним в отношении отдельного к общему, типа *He is a teacher*). Решающим для книги является все же понимание предикативной связи как связи, которая «настолько свободна, что дальнейшее ее ослабление невозможно; следующая ступень — это уже отсутствие всякой связи между словами» (стр. 174).

Переходим к второстепенным членам предложения. С точки зрения А. И. Смирницкого, основными признаками при определении членов предложения являются: 1) степень связи между членами предложения, т. е. более или менее тесные объединения слов; 2) содержание отношений, которые выражаются с помощью данного члена предложения (т. е. идет ли речь о предмете, признаке и т. д.) (стр. 172). Момент вхождения второстепенного члена в группу той или иной части речи объявляется здесь несущественным, так как это повело бы к утере специфики «членов предложения как особой категории» (стр. 226). Обстоятельства образа действия в английском языке рассматриваются, например, А. И. Смирницким как определения, потому что они выражают качественную характеристику явлений и (занимая позицию между подлежащим и сказуемым) более тесно связаны с ведущим членом, чем другие обстоятельства.

Но все дело в том, что в реальном строе английского предложения структурное различие между важнейшими группами частей речи — между группой глагола и груп-

пой существительного, на наш взгляд, чрезвычайно велико. Они организованы отнюдь не аналогично. Группа существительного характеризуется чрезвычайной закрепленностью своих членов, группа глагола-сказуемого характеризуется значительно большей подвижностью (возможность перемещения обстоятельств и даже дополнений вокруг каркаса предложения — предикативной связи). Существует и интересное формальное расслоение между членами этих групп. Притяжательный падеж специализирован в английском языке на группе существительного, наречие на *-ly* (за исключением форм, семантически отдифференцировавшихся от однокорневых бессуффиксальных прилагательных) в основном закреплено за группой глагола. Как и в других германских языках, но в несколько специфических формах, четкое размежевание этих групп в английском языке очень важно для общей структурной организации предложения и для его членения¹.

Этим мы отнюдь не хотим сказать, что вообще нельзя ставить вопрос о безразличии второстепенных членов предложения к тем частям речи, от которых они оказываются в непосредственной зависимости в конкретном строе предложения. Есть языки, для которых такое положение будет в большей или меньшей степени справедливо. В известной мере это касается, например, русского языка, что и нашло свое выражение в тех концепциях, которые усматривают в русском языке наличие дополнения и в группе существительного — в частности, в концепции А. А. Шахматова, традиции которого в данном вопросе во многом воспринял А. И. Смирницкий. Но для английского языка с его четким структурным размежеванием группы существительного и группы глагола-сказуемого такая трактовка невозможна.

Наиболее уязвимым местом в общих положениях «Синтаксиса английского языка» А. И. Смирницкого и является, на наш взгляд, недоучет конкретных закономерностей английского языкового строя как целостной системы. За исключением ссылок на значительное ослабление флексии и на большую роль порядка слов как средства связи (стр. 58, 140, 207 и др.), в книге, по сути дела, никак не выясняются и не учитываются общие структурные черты, регулирующие организацию и членение предложения в английском языке. А между тем такие из них, как «каркасная» роль предикативного сочетания и своеобразное расслоение синтаксических групп, имеют здесь огромное значение. Поэтому, несмотря на всю свою логическую стройность, несмотря на множество отдельных интересных и тонких замечаний, несмотря на ряд сопоставлений с русским языком, книга не дает все же конкретного и цельного представления о синтаксической структуре английского предложения в ее своеобразии и вообще не содержит ясной концепции синтаксического строя английского языка. Системность курса А. И. Смирницкого проявилась скорее в плане создания цельной схемы основных категорий синтаксиса, реальная же картина английской синтаксической структуры дана в книге весьма дробно. Справедливость, однако, требует подчеркнуть, что подобная, а порой и значительно большая дробность в трактовке языковых фактов вообще характерна для огромного большинства зарубежных и советских работ по синтаксису английского языка.

В заключение нам остается горячо порекомендовать всем интересующимся проблемами грамматики ознакомиться с содержательной и своеобразной книгой А. И. Смирницкого.

В. Г. Адмони

R. Jakobson, G. Hüttl-Worth, I. F. Beebe. Paleosiberian peoples and languages. A bibliographical guide. — Hraf press, New Haven, 1957. Стр. VII+224. (Behavior science bibliographies).

Вопросы генетической общности и взаимодействия языков народов северо-востока Азии и Северной Америки, связанные с общей проблемой расселения и межплеменных отношений этих народов, представляют большой научный интерес. Поэтому издание библиографического указателя печатных и архивных источников по палеоазиатским (палеосибирским) народам и их языкам для исследователей в этой области является знаменательным событием.

«Палеоазиатами» (иначе «палеосибирцами»), как известно, с середины XIX в. в связи с гипотезой русского ученого Л. И. Шренка принято называть сибирские народности, которые не вошли в состав больших семей (монгольской, тунгусо-маньчжурской, угро-финской). Согласно гипотезе Л. И. Шренка, эти народности являются остатками древних обитателей Сибири, которые в связи с передвижением тюрко-монголов были частью ассимилированы, а частью вытеснены в Северную Америку и лишь в виде небольших групп сохранились на севере и северо-востоке Азии. В результате более углубленного изучения жизни, быта и языков палеоазиатских народов, начало кото-

¹ Ср.: В. Н. Ярцева, Основной характер словосочетания в английском языке, ИАН ОЛЯ, 1947, вып. 6; е е ж е, Слова-заместители в современном английском языке, «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, вып. 14, 1949; В. Г. Адмони, Завершенность конструкции как явление синтаксической формы, ВЯ, 1958, № 1.

рому положили в конце XIX в. русские этнографы-языковеды (В. Г. Богораз, Л. Я. Штернберг, В. И. Иохельсон), внутри этого условного объединения были выявлены четыре родственные группы: чукотско-камчатская, эскимосско-алеутская, юкагирско-чуванская и кетско-асанская. Нивхи (гиляки), которых также относят к палеоазиатским народам, в этногенетическом и языковом отношении считаются изолированными.

В нашей стране и за рубежом имеется значительное количество публикаций, полностью или частично посвященных изучению народов и языков палеоазиатской группы. Кроме того, богатые материалы по этому вопросу хранятся в различных советских и зарубежных архивах. Однако в печати об указанных публикациях и архивных материалах до настоящего времени появлялись лишь разрозненные, далеко не полные сведения (обзоры трудов отдельных исследователей, отрывочные данные в библиографиях по другим вопросам и т. п.). Наиболее обширный библиографический обзор в этой области дан И. С. Вдовиным¹, однако этот обзор охватывает лишь определенный период (конец XVII в.— начало XIX в.) и ограничен в основном русскими источниками, причем преимущественно языковедского характера.

Рецензируемая работа является первым фундаментальным общим библиографическим указателем по палеоазиатоведению. В нем представлены источники начиная с самых ранних сведений о палеоазиатах (конец XVII в.) вплоть до наших дней (публикации 1957 г.).

«Указатель» состоит из предисловия (VII стр.), шести разделов (первый обозначен нулем, остальные порядковой нумерацией) и приложения. В первом разделе (section 0: «Библиографические обзоры исследований и источников», стр. 1—8) приведены ранее изданные обзоры литературы и архивов. Во втором разделе (section 1: «Работы, касающиеся нескольких или всех палеосибирских народов», стр. 9—71) указаны печатные работы и архивные материалы по палеоазиатским народам и языкам в целом или по их группам. В остальных четырех разделах, носящих соответственные их тематике названия, приводятся источники по отдельным палеоазиатским народам и их языкам, а именно: в третьем разделе (section 2, стр. 72—100) — по нивхам (гилякам) и нивхскому (гилякскому) языку; в четвертом разделе (section 3, стр. 101—187) — по народам и языкам чукотско-камчатской группы (чукчи, коряки, ительмены); в пятом разделе (section 4, стр. 188—201) — по юкагирско-чуванской группе (юкагиры, чуванцы, омоки); в шестом разделе (section 5, стр. 202—217) — по кетско-асанской группе (кеты, котты, арины, асаны). Приложение, носящее название «Краткий очерк палеосибирских народов и языков» (стр. 218—222), содержит краткие сведения о каждом из указанных народов (численность, территория расселения, хозяйственная и культурная деятельность), о его языке и письменности (если последняя имеется) — степень родства с другими языками, диалектный состав, год создания письменности и ее роль в жизни народа, роль русского языка в создании этой письменности.

Следует признать, что «Указатель» дает возможность впервые с такой полнотой представить историю изучения перечисленных народов и их языков. В нем дан обзор самых различных публикаций и архивных материалов по этим народам и языкам: от записей путешественников, миссионеров и торговцев до специальных монографических описаний, от газетных статей до научных исследований. Охват столь разнообразных источников оправдан недостаточной развитостью палеоазиатоведения, в связи с чем иногда очень ценные сведения можно обнаружить и в газетных статьях. Имеет определенное основание и то, что в одном указателе объединены источники по различным отраслям науки (этнография, языковедение и др.). В палеоазиатоведении эти отрасли настолько тесно связаны между собой, что источники по любой из них представляют определенный интерес для всех исследователей в данной области. Кроме того, некоторые источники, особенно более раннего периода, объединяющие материалы по ряду различных отраслей науки. Правда, для удобства пользования «Указателем», может быть, лучше было бы сделать более детальную классификацию источников: выделить работы чисто лингвистические, этнографические и др.; отдельно дать беллетристику и газетные материалы. Но это потребовало бы дополнительной затраты времени и энергии. Между тем составители и так проделали огромную работу. Они выявили если не буквально все, то во всяком случае почти все, что в той или иной мере относится к палеоазиатоведению. Особенно ценным является включение в «Указатель» малоизвестных в прошлом японских работ о нивхах и нивхском языке. Однако достоинство «Указателя» заключается не только в полноте охвата источников, а также и в том, что в нем имеются аннотации, до предела краткие, но дающие достаточное представление об основном содержании каждого источника.

Очень жаль, что в «Указатель» не включены источники по эскимосско-алеутским народам и их языкам. Судя по вводной части приложения (стр. 218), составители «Указателя» считают их обособленными от остальных народов и языков палеоазиатской группы. Действительно, в отношении этногенеза и языка эскимосы и алеуты представляют собой самостоятельную единицу. Но, как указывалось выше, наименование «палеоазиатские народы» основывается лишь на гипотетическом представлении об этих народностях как древних обитателях Сибири, к их числу на том же основании можно относить также эскимосов и алеутов. Правда, некоторые исследователи высказывали

¹ См. И. С. В д о в и н, История изучения палеоазиатских языков, М.—Л., 1954.

предположение о том, что народы восточной Сибири являются выходцами из Америки (Ф. Боас, В. Долл, А. Хэллуэл, В. Иохельсон)¹; на этом основании не только эскимосов и алеутов, но и некоторые другие народы северо-востока Азии (чукчей, коряков, ительменов, нивхов, юкагиров) предлагалось называть американскими. Однако эта точка зрения не имеет под собой реальных оснований и потому не получила сколько-нибудь широкого распространения². Положение же о том, что родиной этих народов является северо-восток Азии все более убедительно подтверждается исследованиями, проведенными в последние годы историками, этнографами, археологами и антропологами. В пользу этого положения свидетельствует также и сравнительный анализ языкового материала. Поэтому эскимосско-алеутские народы и их языки могут быть отнесены к палеоазиатским с таким же основанием, как и все остальные народы и языки, объединенные под этим условным названием³. Таким образом, употребление термина «палеоазиатские» (или «палеосибирские») в отношении народов и языков логически неизбежно предполагает включение туда и эскимосско-алеутской группы. Тот факт, что некоторые источники по этой группе все же включены в «Указатель» (№ 3: 324 и др.), свидетельствует, как нам кажется, о том, что и сами составители чувствовали искусственность изоляции эскимосско-алеутской группы.

Представляется также неоправданным в данном случае обычно практикуемое в зарубежных изданиях транскрибирование названий русских источников латинскими буквами (в рецензируемой работе применяется транскрипция Библиотеки Конгресса). По нашему мнению, это не дает положительного результата (не знающим русского языка такое транскрибирование не окажет никакой помощи, между тем внешняя форма оригинала измечена). Составителям «Указателя» следовало бы также сделать более точные ссылки на печатные источники, из которых ими получены сведения об архивных материалах. Хочется надеяться, что при переиздании книги указанные недочеты будут устранены.

В заключение следует отметить совершенно правильное, по нашему убеждению, мнение составителей «Указателя» о предполагаемом родстве палеоазиатских языков с другими языковыми группами (уральской, тунгусо-маньчжурской, тибетской). В отличие от ряда западных лингвистов (И. Анкерия, К. Боуда и др.) составители «Указателя» полагают, что наличие некоторых общих элементов в языках этих групп еще не дает основания говорить о генетической общности всех их (Приложение, стр. 218).

Советские лингвисты также считают, что генетические связи языков могут быть выявлены не внешним сопоставлением отдельных общих языковых элементов (иногда заимствованных и даже случайно совпадающих), а лишь путем глубокого сравнительно-исторического анализа интересующих языков в целом. В этом деле, как и в решении всей палеоазиатской проблемы, помощь исследователям, несомненно, окажет рецензируемый библиографический указатель.

П. Я. Скорик

Jean Dénys. L'arméno-coman et les «Ephémérides» de Kamientec (1604—1613). — Wiesbaden, 1957. 96 стр. (Ural-altaische Bibliothek, IV).

Новая книга известного французского тюрколога Ж. Дени представляет собой результат многолетнего плодотворного изучения куманской подгруппы кыпчакской группы тюркских языков по документам, принадлежащим Каменец-Подольской колонии тюркоязычных армян и хранящимся в Национальной библиотеке Франции в Париже⁴.

¹ См. об этом F. B o a s, *Ethnological problems in Canada*, «The journal of the Royal anthropological institute of Great Britain and Ireland», vol. XL, 1910, July to December, стр. 529—539; W. H. D a l l, *Alaska and its resources*, Boston, 1870, стр. 176—192; A. I. H a l l o w e l l, *Bear ceremonialism in the Northern hemisphere*, «American anthropologist», New series, vol. 28, № 1, 1926, стр. 160; W. J o c h e l s o n, *The ethnological problems of Bering sea*, «Natural history (the Journal of the American museum)», vol. XXVI, № 1, January-February, 1926, стр. 90—96.

² См. об этом, например, В. П. Б о г о р а з, *Древние переселения народов в северной Евразии и в Америке*, «Сборник Музея антропологии и этнографии [АН СССР]», VI, 1927, стр. 37—63.

³ Особый интерес по этому вопросу представляет мнение, высказанное на недавно проходившем совещании американских археологов, в котором принял участие советский ученый Г. Ф. Дебед.

⁴ Основной архив этой колонии в количестве 32 книг, содержащих записи юридических актов, в свое время был перевезен из Каменец-Подольска в Киев и хранился в Архиве древних актов в помещении университета. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. архив погиб при пожаре в здании университета. В нашем распоряжении имеются транскрипции около трехсот документов, четыре из которых опубликованы (см. Т. И. Г р у н и н, *Памятники половецкого языка XVI в.*, сб. «Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятипятилетию», М., 1953).

«Введение» (стр. 7—24) содержит исторические сведения об армянской колонии в Каменец-Подольске, а также сведения об архиве документов этой колонии. Автор дает справку о миграции армян из пределов Армении, начавшейся в начале XI в. в результате падения армянского царства Багратидов, а затем разгрома его сельджуками (1064 г.). В Крыму (да и не только в Крыму) армяне уже в XI в. встретились с тюркоязычным народом — куманами (кыпчаками, согласно арабским источникам, или половцами, как называют их русские летописи), с которыми судьба связала их на столетия, в результате чего язык куманов (половцев) стал для армян вторым родным языком. В начале XIII в. в результате монгольского нашествия куманы (половцы), а с ними и армяне были оттеснены на запад; уже в конце XIII в. отмечается расселение армян на Подолье и, в частности, в районе Каменца. Армянская колония в Каменец-Подольске в соответствии с Магдебургским правом имела автономное управление во главе с войтом. Делопроизводство в колонии велось на трех языках: армянском, куманском (половецком) и польском.

Отмечая на стр. 10, что термин «кыпчакский», проникший в литературу из арабских источников, выражает скорее географическое, чем лингвистическое понятие, автор в то же время признает возможность употребления этого термина как более общего и объявляет язык куманов особым языком группы кыпчакских языков. В языке куманов автор выделяет: 1) язык «Codex Cumanicus», 2) язык текстов тюркоязычных армян и 3) еврейско-куманский язык караимских текстов. Надо признать, что обособление куманского языка из общей группы кыпчакских языков вполне законно, если иметь в виду, что куманский язык имеет собственную историю развития и как своей лексикой, так и своим грамматическим строем во многом отличается от других языков кыпчакской группы.

Во «Введении» же автор рассматривает грамматические (стр. 18—22) и лексические (стр. 22—23) особенности текстов. Незначительное количество записей (всего 63 и несколько дополнений объемом от 2 до 10 строчек), естественно, не могло послужить достаточным материалом для детального исследования языка тюркоязычных армян. Тем не менее автор делает ряд ценных замечаний в отношении как языка в целом, так и его грамматических особенностей. Здесь же автор останавливается на принципах транскрипции армянского письма латинскими буквами. Армянский алфавит имеет значительно больше буквенных знаков (32 для передачи согласных), чем это нужно для транскрипции звуков куманского языка. Поэтому для передачи одного и того же звука куманского языка использовалось несколько букв, например посредством «кимь», «ке», «кен» обозначался звук *k*, посредством «да» и «то» передавался звук *t*, а знак *ʃ(y)* использовался почти после каждой гласной. Знаки «кимь», «ке», «кен» Ж. Дени транскрибирует через *k*, «да» и «то» — через *t*; знак *ʃ* — через *y*, который заключается в скобки там, где, по мнению автора, он не нужен; мы в таких случаях знак этот не транскрибировали совсем.

В общем же принципы транскрипции Ж. Дени почти ничем не отличаются от принципов, положенных нами в основу транскрипции армяно-половецких текстов¹. С другой стороны, в армянском алфавите отсутствуют буквенные знаки для передачи на письме гласных переднего ряда *ö, ü*, в результате чего слова «дом», «верх» автором транскрибируются как *ov, ust*, хотя известно, что эти слова произносятся в тюркских языках как *öv, üst*. Надо полагать, что эти слова так же произносились и армянами, так как аффиксы, присоединяемые к подобного рода словам, имеют тот же вариант, что и при словах с гласными переднего ряда; по нашему мнению, вместо *ovina* следовало бы транскрибировать *övinä* «в его дом», *üstünä* «на верх». Слово *yuk* «поручительство» тоже должно читаться как *yük*, так как в слове с гласной заднего ряда *u* на конце было бы не *k*, а *h*.

Далее автор дает список падежных аффиксов, из которых следует отметить наличие (в редких случаях) аффикса винительного падежа *-uğ(hol-uğ* «руку») при обычном *-ni, -ni* (или *-in, -un* для слов с местоименно-притяжательным аффиксом 3-го лица) и показателя дательного падежа *-n-a* в словах с местоименно-притяжательным аффиксом 3-го лица (например, *ay-na* «месяцу», *usti-na* «на верх чего-либо»).

Из глагольных форм автор отмечает наличие в языке текстов формы 2-го лица повелительного наклонения на *-kin, -kun, -gin, -gun* вместо формы на *-kil, -gil* (*aytkin* «скажите», *hoygun* «положите»), формы будущего времени на *-sar* (реже — на *-esi*) и формы желательного наклонения (*optatif*) на *-gay, -kay*. Отмечаются также формы прошедшего категорического времени *eti* «сделал», *ayti* «сказал» вместо *etti, ayitti*. Нам кажется, что вариант типа *eti, ayti* является результатом отсутствия орфографических правил или даже небрежности.

Автор, ссылаясь на наш текст № 1², считает, что форма 1-го лица аориста должна быть в виде *tanımtat*, т. е. как в турецком языке, и предполагает, что форма *horhıma* (вместо *horhımtan*), *turmen* (вместо *turmet*) имеет то же значение, что и *dir* в турецкой форме типа *etmişindir*, т. е. значение большего подтверждения совершения действия. Но в нашем тексте № 1 аорист в 1-м лице ед. числа тоже имеет форму *tanımtan*, а не *tanımtat*, и, следовательно, расхождений в этом отношении не имеется. Из сказанного

¹ См. Т. И. Гру н и н, указ. соч.

² Там же, стр. 92.

можно сделать вывод о том, что именно форма *taniman*, *horhman* и была основной в языке как наших, так и публикуемых Ж. Дени текстов.

Из причастий отмечается употребление форм на *-gan*, *-kan* и на *-guci* и отсутствие формы на *-daci*. Деепричастия в текстах представлены весьма ограниченно; автор отмечает лишь деепричастия на *-ip*, *-i*, *-kinsa*. Относительно синтаксиса автор ограничивается замечанием о сильном влиянии в этой области армянского и славянских языков, на что мы в свое время тоже указывали¹.

Основной словарный фонд текстов, как отмечает автор, в своей тюркской части — тот же, что и в «Codex Sumanicus», хотя и претерпел некоторые изменения за два-три столетия, отделяющие во времени армяно-куманские документы от текстов «Codex Sumanicus». В языке документов больше, чем в «Codex Sumanicus», имеется арабских слов, проникших через турецкий язык; персидский же лексический слой не увеличился ввиду разрыва связей армян с иранскими народами. Место персидского языка в пополнении словаря армян, особенно в области культуры, заняли славянские языки, в частности польский; славянские элементы, главным образом инфинитивы глаголов, входят в состав сложных глаголов, образуемых при помощи *et* «делать», например *holdovat et* «оказывать почести» и т. п.² Армянские слова в текстах используются главным образом для передачи религиозных понятий, т. е. так, как еврейские слова в караимском языке.

Интересным следует признать замечание автора о том, что слово *nemic* армяне употребляли в широком значении, т. е. применительно ко всем европейцам (ср. *тюрк* по отношению ко всем тюркоязычным народам), а не в смысле «немец», и что было еще слово *nemets*, которое и означало «немец» (стр. 22—23). Поэтому наш перевод слова *nemic* (см. наш текст № 1) как «немец» автор считает ошибочным. Отметим, однако, что в нашем тексте № 1 за словом *немич* следует явно немецкая фамилия Корт. Это и дало нам основание переводить *немич Корт* как «немец Корт»; следует также иметь в виду, что слово *nemets* в наших текстах не встречается.

Опубликованные тексты документов позволяют установить названия шести дней недели; отсутствует название вторника; в наших текстах он называется *nogari kün*. Тексты 63 документов (автором которых считается некто Аксент Дер Крикор) и их перевод на французский язык составляют содержание II раздела «Текст записей событий Каменца»; в III разделе «Текст дополнений к записям событий» (стр. 38—41) приводятся дополнения к документам объемом в 1—4 строчки каждое (стр. 25—37). Весь фонд каменец-подольского архива, хранящийся в Национальной библиотеке Франции, датирован 1053—1062 гг. по армянскому летоисчислению, что соответствует 1604—1613 гг. европейского календаря. Однако часть его, датированная 1604—1610 гг., написана по-армянски, и автор излагает лишь краткое содержание перевода этих текстов на французский язык, сделанного М. Фейдитом. Следовательно, документы, опубликованные Ж. Дени, относятся к 1611—1613 гг.

По содержанию тексты представляют краткое изложение важнейших событий, имевших место в 1611—1613 гг. Так, например, в двух текстах на стр. 30 сообщается: в первом (от 9/19 июля 1612 г.) — о сражении под г. Яссы польской армии с объединенными войсками князя Томша, паши (турецкого), венгров и татар и о результате этого сражения, во втором (от 17/27 июля 1612 г.) — о нападении татар на Каменец, угоне скота и сожжении церкви св. Креста. Таким образом, опубликованные Ж. Дени документы представляют собой ценный материал и для историков.

Особую ценность и интерес для изучения словарного состава армяно-куманского языка представляет IV раздел «Словарь» (стр. 42—84), где автор, кроме перевода значительного слова на французский язык, делает ссылки также и на то, где и в какой фонетической форме данное слово встречается. Материалы словаря позволяют судить о близости тюркского слоя языка документов соответствующей лексике языка «Codex Sumanicus» и других кумано-половецкоязычных текстов. «Словарь» наглядно показывает также, насколько сильно было влияние славянских языков на армяно-куманский язык³.

V раздел рецензируемой работы (стр. 85—94) представляет собой список собственных имен лиц и географических названий, упомянутых в текстах документов; этот список представляет ценность для историков при выявлении деятельности исторических личностей и установлении района деятельности армянской колонии Каменец-Подольска. В справочном разделе (стр. 95—96) дается список литературы, использованной автором при написании книги⁴.

¹ Т. И. Грунин, указ. соч., стр. 96—97.

² Ср. аналогичный способ образования глаголов в современных тюркских языках.

³ По мнению Б. М. Ляпунова, в свое время просматривавшего наши транскрипции половецкоязычных текстов, наибольшее влияние на армяно-куманский оказал лужицкий говор.

⁴ В списке литературы не указывается работа покойного М. Левицкого и Р. Кохновой «La version turque kiptchak du Code des lois des Arméniens polonais d'après le ms. № 1916 de la Bibliothèque Ossolineum» («Rocznik orientalistyczny», t. XXI, Warszawa, 1957), также посвященная изучению языка армяно-куманских документов, — по-видимому, она вышла в свет одновременно с рецензируемой книгой.

G. Rohlfs. Die lexikalische Differenzierung der romanischen Sprachen. Versuch einer romanischen Wortgeographie.— München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1954. 108 стр.

Существует довольно обширная литература, посвященная дифференциации романских языков. В свое время были высказаны различные точки зрения по этому вопросу. Известно, например, мнение Г. Шухардта, поддерживаемое затем Г. Асколи, о решающей роли этнического субстрата в образовании романских языков. Известна также «хронологическая» теория Г. Грёбера, объяснявшего языковую дифференциацию Рومании различными сроками колонизации ее частей. В. Мейер-Любке в этом вопросе придавал особое значение распаду Римской империи и образованию на ее территории новых государств.

В наше время интерес к проблеме образования романских языков не упал. В 1950 г., например, швейцарский лингвист В. Вартбург опубликовал книгу «Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume» (Bern), в которой вновь защищается идея этнологического фактора в образовании романских языков, а также выдвигается теория германских влияний, обусловивших якобы дифференциацию романских языков.

Рецензируемая книга Г. Рольфа привлекает внимание несколько новой постановкой вопроса. Г. Рольфс не разделяет мнение В. Вартбурга о решающей роли этнического субстрата и позднейших германских влияний в образовании романских языков. Основные причины языковой дифференциации Румании он видит, как и В. Мейер-Любке, в нарушении связей между отдельными частями Римской империи в связи с ее распадом. Особое значение придает он появлению новых центров духовной и хозяйственной жизни (Irradiationszentren)¹, которые могли противопоставить свое влияние влиянию Рима. В таких условиях латинь Галлии, Дакии, Испании идет по особому пути развития. Утверждаются новые формы выражения (die sprachliche Neuerung, innovatio). Появление и накопление свойственных каждому языку «инноваций» определяют, по Рольфсу, процесс дифференциации романских языков. Это положение иллюстрируется в книге на лексическом материале. Автор рассматривает в романских языках термины родства (дядя, невестка, тесть), слова, обозначающие животных (лиса, петух, козел, кобыла), обозначения дней недели (четверг, воскресенье), несколько глаголов (найти, любить, жить) и наречий (больше, завтра), союз и предлог. Анализ ведется по рядам слов, соответствующих определенному понятию (всего 51 ряд). Так, например, вместе рассматриваются существительные романских языков, восходящие к лат. *caput* (рум. *cap*, итал. *capo*, исп. *cabeza* и т. д.), или развившиеся из других элементов (франц. *tête*). В основе этого объединения лежит понятие «голова». Для большей наглядности приводятся карты, иллюстрирующие территориальное распределение анализируемых слов каждого ряда.

Автор прослеживает, как на различных территориях сохраняется или исчезает старый, латинский тип, какие причины, по его мнению, определяют морфологическое изменение старого слова или его полную замену новым словом и т. д. Ссылки на языковые памятники, а также на диалектологический материал иногда помогают дополнить картину лексической дифференциации. Здесь, однако, Рольфс не последователен. Приводя, как правило, обширный материал по итальянской диалектологии, он в то же время скупо освещает диалектные факты других языков, которые могли бы представлять большой интерес. Так, изучая судьбу латинских существительных *femina* «женщина» и *mulier* «жена» в романских языках, Рольфс приводит подробные данные по итальянским диалектам. Что же касается румынского языка, то автор ограничивается лишь указанием на то, что здесь имеет место особый случай: со значением «женщина» употребляется существительное *femeie*, развившееся из *familia* «семья». Вместе с тем имеющиеся данные о широком употреблении в юго-западных областях Румынии существительного *muire*, восходящего к лат. *mulier*², могут существенно дополнить представления о дифференциации в романских языках слов, выражающих понятия «женщина», «жена».

В заключительной части книги автор делает некоторые выводы по проведенному исследованию. В качестве «движущих сил» происходивших в романских языках лексических изменений автор рассматривает стремление к большей экспрессии, изменения в материальной жизни людей, стремление к большей наглядности, субстратное влияние, склонность к ласкательным образованиям, заимствования из других языков и т. д. Любопытно отметить, что для Рольфа субстратное влияние и заимствования из других языков, в отличие от Вартбурга, являются частными вопросами языковой дифференциации Румании.

¹ Положение о центрах языковой иррадиации используется Г. Рольфсом также при изучении диалектных отношений внутри итальянского языка. См. его статью «La struttura linguistica dell'Italia» в сб. «An den Quellen der romanischen Sprachen», Halle (Saale), 1952.

² См. S. P. о р. La dialectologie, pt. 1, Louvain, [1950], стр. 732—733 (см. карту). *Muire* зарегистрировано также в «Румынско-русском словаре» под ред. Б. А. Андрианова и Д. Е. Михальца (М., 1954).

Большой интерес представляют выводы о соотношениях, сложившихся между романскими языками в результате их лексической дифференциации. Г. Рольфс указывает, что румынский язык оказался наиболее подверженным лексическим изменениям. Три пятых исследованных слов не имеют прямых соответствий в других романских языках. Далее, хотя и с меньшим количеством собственных типов (почти одна треть), следует условно называемый испанско-португальский язык.

Тот факт, что языки крайних областей романской территории наиболее богаты лексическими новообразованиями, объясняется, по выражению Рольфса, действием центробежных сил. Вместе с тем Рольфс указывает на общность некоторой части испанско-португальского и румынского словаря — общность, которая тем более интересна, что внутренние романские области (Италия, Франция) развивают свои собственные лексические типы. В качестве иллюстрации он приводит заимствованную у Бартоли схему¹.

Иберия	Галлия	Италия	Дакция
<i>magis</i>	<i>plus</i>	<i>plus</i>	<i>magis</i>
<i>fervere</i>	<i>bullire</i>	<i>bullire</i>	<i>fervere</i>
<i>rogare</i>	<i>precare</i>	<i>precare</i>	<i>rogare</i>
<i>humerus</i>	<i>spatula</i>	<i>spatula</i>	<i>humerus</i>
<i>afflare</i>	<i>tropare</i>	<i>tropare</i>	<i>afflare</i>
<i>equa</i>	<i>jumentum</i>	<i>caballa</i>	<i>equa</i>

Здесь «Иберия» соответствует Пиренейскому полуострову, «Галлия» — современной Франции, «Дакция» — Румынии. Эта схема действительно хорошо показывает, как некоторые латинские слова продолжают существовать в крайних романских областях, тогда как внутренние области заменили их новыми. Жаль, однако, что автор не подкрепил своими собственными наблюдениями мысль об «известном родстве румынского и иберо-романских языков, которое состоит в сохранении древних латинских элементов».

Вместе с тем известная близость характеризует лексику языков, распространенных во внутренних романских областях (Франция и Италия). Это в значительной мере объясняется тем, что между этими территориями издавна существовали связи более прочные, чем между другими романскими областями.

Следует остановиться на вопросе о месте каталанского языка среди других романских языков. Наблюдения Рольфса показывают, что с лексической точки зрения каталанский язык более тесно связан с галло-романскими, чем с иберо-романскими языками. 33% исследованной Рольфсом лексики общи сопоставляемым языкам, 6% представляют лексические элементы, свойственные только каталанскому языку, 57% соответствуют провансальским словам и лишь 4% — испанским. Эти данные сами по себе очень интересны, однако не следует переоценивать их значения. Ведь они касаются лишь лексической стороны проблемы. Поэтому нельзя согласиться с Рольфсом, когда он, имея в виду каталанский язык в целом, а не его лексику, заявляет, что «каталанский язык — это „dépendance“ провансальского». Известно, однако, что в грамматическом плане каталанский язык имеет больше общего с испанским, чем с провансальским языком².

Отмеченные нами недостатки не снижают научной ценности книги Г. Рольфса. Достигнутые им результаты представляют собой большой интерес для каждого романиста.

В. В. Макаров

¹ В данном случае Г. Рольфс обращается к так называемой «латеральной норме» итальянского лингвиста М. Бартоли, влияние которого вообще сильно чувствуется в рецензируемой книге. См., например: G. Bertoni, M. Bartoli, Breviario di neolinguistica, pt. 2, Modena, 1928; M. Bartoli, Per la storia del latino volgare, «Archivio glottologico italiano», vol. 21, sezione neolatina, Torino, 1927, стр. 9.

² См. Badia Margarit, Fisiognómica comparada de las lenguas catalana y castellana, Barcelona, 1955, стр. 22—23. Заслуживает внимания попытка автора вообще отказаться от традиционного вопроса о том, к какой группе языков принадлежит каталанский язык. По его мнению, этот язык представляет собой переходный язык — «мост» («puentes») между иберо-романскими и галло-романскими языками.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И АРМОНОВЕДЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКА АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Институт языка Академии наук Армянской ССР существует всего лишь 15 лет; за этот период он проделал огромную работу и стал важнейшим центром исследования лингвистических и арменоведческих проблем, всестороннего изучения армянского языка во всех его аспектах. Научная деятельность института осуществляется в направлении разрешения четырех важных проблем: составления научной грамматики современного армянского языка, исследования истории армянского языка, разработки диалектологии, лексикографии и картографии, составления конкордированной карты современного армянского литературного языка.

В настоящее время уже исследованы вопросы фонетики современного армянского языка, его морфология, лексика и синтаксис. За последние несколько лет опубликованы исследования доктора филол. наук А. А. Мурваляна о словарном составе армянского языка, монография доц. А. А. Абрамяна, посвященная причастным формам армянского языка, работа канд. филол. наук С. Г. Абрамяна о местоимениях, исследования доц. В. Д. Аракеляна о фонетике современного армянского языка и о значениях падежей и предлогов¹; эти монографии явятся отдельными частями планируемой двухтомной «Научной грамматики современного армянского языка». Готовятся к изданию новые работы — части будущей грамматики, где исследуются неизменяемые части речи армянского языка, глагольные и именные категории, простое и сложное предложения.

В области исследования грамматики особого внимания заслуживает монументальный труд покойного академика АН Армянской ССР, выдающегося армениста Р. А. Ачаряна «Полная грамматика армянского языка в сравнении с 562 языками», который состоит из 10 объемистых томов. Уже вышли в свет «Введение» (отдельный том), I, II и III тома этого ценного труда². Сдан в печать IV том, остальные тома намечено опубликовать до 1962 г.

О грамматическом строе армянского языка написано много различных исследований, однако никто из исследователей не занимался детальным и всесторонним анализом грамматических категорий армянского языка сравнительно с грамматикой других языков мира. Р. А. Ачарян, основываясь на материале армянского языка и на существующих лингвистических работах о многочисленных языках мира, изучение частей речи осуществляет в трех планах: общелингвистическом, в плане сравнительной грамматики индоевропейских языков и в плане сравнительно-исторической грамматики армянского языка; такое изучение является новшеством в лингвистической литературе.

Каждую грамматическую категорию армянского языка автор рассматривает в сравнении с соответствующими категориями 562 языков мира. Наиболее важным из всех опубликованных до сих пор томов является третий том исследования. Большая часть его посвящена исследованию имени существительного и присущих ему грамматических категорий — здесь исследуются склонение, рассматривается категория числа, артикль. Автор отстаивает точку зрения, что падежные окончания возникли из некогда самостоятельных слов, которые утратили свою независимость и видоизменились в результате длительного употребления в языке.

¹ А. А. Мурвалян, Словарный состав армянского языка. (Исследование), Ереван, 1955 (на арм. яз.); А. А. Абрамян, Причастные формы армянского языка и их морфологическое значение, Ереван, 1953 (на арм. яз.); С. Г. Абрамян, Местоимения современного армянского языка, Ереван, 1956 (на арм. яз.); В. А. Аракелян, Фонетика современного армянского языка, Ереван, 1955 (на арм. яз.); е г о ж е, Смысловые значения падежей и предлогов современного армянского языка, Ереван, 1957 (на арм. яз.).

² Г. Ачарян, Полная грамматика армянского языка в сравнении с 562 языками, Ереван, Введение — 1955, т. I — 1952, т. II — 1954, т. III — 1957 (на арм. яз.).

По широте исследуемого материала, глубине и характеру изучаемых вопросов каждый том представляет огромную научную ценность.

Как известно, все предшествующие исследования, осуществлявшиеся сравнительно-историческим методом, охватывали главным образом основной словарный фонд и фонетику армянского языка. Вышеупомянутый капитальный труд Р. А. Ачаряна восполняет существующий пробел в этой области.

*

Территориальные диалекты числом до 60 и многочисленные местные говоры дают право считать армянский язык одним из наиболее богатых диалектами языков мира. Многочисленность армянских диалектов обусловлена историческим прошлым армянского народа и географическим положением Армении. Живые армянские диалекты в настоящее время постепенно исчезают, сливаясь с общенародным литературным языком. Совершенно очевидно, насколько актуальны и неотложны вопросы выявления и исследования неизученных армянских диалектов и местных говоров, а также научная обработка полученных материалов. Более 20 территориальных диалектов и многочисленные местные говоры остаются пока не изученными.

Работы по собиранию армянских диалектов и их научное исследование были начаты еще в конце 50-х гг. прошлого столетия. Большая часть исследований армянских диалектов принадлежит перу Р. А. Ачаряна. За годы советской власти отдельными книгами вышли в свет его исследования 9 армянских диалектов: константинопольского, новонахичеванского, карабахского, марагского, агулисского, новоджугайского, хемшинского, ардиальского и ванского¹.

Важным событием в армянской диалектологии явилось опубликование книги А. С. Гарибяна «Армянская диалектология», в которой автор исследовал 6 неизвестных до того времени диалектов, из коих особого внимания заслуживают диалекты Антиохского района (кесабский, бейланский и другие)².

А. С. Гарибян в своих диалектологических изысканиях дает классификацию армянских диалектов. 57 диалектов армянского языка он делит на 2 группы: группу диалектов с деепричастным образованием настоящего времени глаголов и группу диалектов, где настоящее время образуется при помощи особой частицы.

В первую группу входят 3 диалектные ветви — *-ум* диалекты, *-с* диалекты и *-л* диалекты. Во вторую группу входят также 3 диалектные ветви — *-кэ* диалекты, *-ка* диалекты и *-ха* диалекты.

В 1958 г. вышел в свет еще один труд А. С. Гарибяна «Новая группа новооткрытых диалектов», где описываются открытые автором арамойский, кабусийский и эдесийский диалекты и завершается классификация новообнаруженных диалектов³.

Согласно своим новым исследованиям, А. С. Гарибян помимо двух указанных выделяет и третью группу, которую он называет грабаровской (древнеармянской). Из диалектов этой группы пока известны только хотрчурский и арамойский диалекты, презенс которых по своей форме совпадает с соответствующим временем древнеармянского языка.

Изучению армянских диалектов посвящены также работы Э. Б. Агаяна, А. М. Мкртчяна, В. А. Петояна, С. А. Багдасаряна и др.⁴.

В настоящее время готовятся к изданию монографические работы, посвященные описанию дерсимского, карчеванского, солдзского, киликийского, сведийского, арабкирского, харбердского, аварикского диалектов.

¹ Проф. Г. Ачарян, Исследование наречия константинопольских армян, Ереван, 1941 (на арм. яз.); Р. Ачарян, Исследование новонахичеванского диалекта, Ереван, 1925 (на арм. яз., стеклогр.); е го же, Исследование агулисского диалекта, Ереван, 1935 (на арм. яз., стеклогр.); е го же, Исследование хемшинского армянского наречия, Ереван, 1947 (на арм. яз.); е го же, Исследование ардиальского диалекта, Ереван, 1953 (на арм. яз.); е го же, Исследование ванского диалекта, Ереван, 1952 (на арм. яз.); е го же, Исследование новоджугайского диалекта, Ереван, 1940 (на арм. яз.); е го же, Исследование марагского диалекта, Ереван, 1926 (на арм. яз.).

² Ар. Гарибян, Армянская диалектология. Фонетика и морфология, Ереван, 1953 (на арм. яз.).

³ А. С. Гарибян, Новая группа новооткрытых диалектов, Ереван, 1958 (на арм. яз.).

⁴ Э. Агаян, Мегринский диалект, Ереван, 1954 (Ин-т языка АН Арм. ССР. Диалекты армянского языка, № 2) (на арм. яз.); А. М. Мкртчян, Каринский диалект (фонетика, морфология, словарь), Ереван, 1952 (на арм. яз.); В. А. Петоян, Сасунский диалект, Ереван, 1954 (Ин-т языка АН Арм. ССР. Диалекты армянского языка, № 3) (на арм. яз.); С. А. Багдасарян, Мушский диалект (фонетика, морфология, словарь), Ереван, 1958.

Диалектологические работы получают еще больший размах в ближайшие годы. На основе исследований будут составлены диалектологическая карта и атлас армянских диалектов. После соответствующей обработки будет опубликована лексика армянских диалектов, не нашедшая отражения в изданных словарях и диалектологических трудах. Изучение словарного состава армянских диалектов прольет свет на этимологию ряда слов, семасиологию, а также морфологию.

*

Большой размах получила в Армении лексикографическая работа. Уже вышли в свет I, II и III тома «Русско-армянского словаря» общим объемом в 350 печатных листов, сдан в производство последний, IV том¹. Этот словарь самый крупный из всех когда-либо выходивших в свет русско-национальных словарей: он содержит в себе более ста тысяч слов, выражений и оборотов.

Подготовлены к изданию трехязычный «Персидско-армяно-русский» и пятиязычный «Пехлевийско-персидско-армяно-русско-английский» словари известного ориенталиста покойного проф. Р. Ф. Абраамяна.

В лексикографической работе важное место занимает «Толковый словарь современного армянского языка». Этот новый толковый словарь имеет много преимуществ по сравнению с существующими по сей день словарями; он охватывает около 30 тыс. новых слов западного и восточноармянского литературных языков. Эти слова имеют широкое употребление, однако до сих пор не были зафиксированы ни в одном из существующих словарей; каждое слово в словаре будет снабжено литературными примерами, значения многих слов уточнятся посредством авторских примеров. Уже составлены I, II, III тома словаря. Первый том (А—З) подвергнут рабочей и главной редакции. Готовятся к изданию двухтомный армяно-русский, однотомные древнеармяно-русский и курдо-армяно-русский словари.

Особо важное место в работе института занимают работы по составлению и обработке конкордированной картотеки по всей армянской национальной литературе. Запланировано в течение семи лет довести число карточек со словами, выбранными из армянской литературы, до 35 миллионов. Наличие полной картотеки армянского национального языка даст возможность составить академический словарь армянского языка в 20 томах, в котором будут собраны все лексические богатства армянского языка на разных этапах его развития — древнеармянского, среднеармянского, диалектов, современного армянского (ашхарабар) с его двумя литературными языками (западным и восточным). Картотека позволит также выявить смысловые оттенки слов армянского языка, жизнеспособность его словарного состава.

Картотека обеспечит также глубокое и всестороннее изучение истории армянского языка и грамматики. Она явится источником и своеобразным справочником для всех областей арменистики.

Уже составлены картотеки произведений целого ряда армянских писателей в объеме около двух миллионов карточек. В будущем году предусмотрено составить картотеку на 3 миллиона карточек.

*

Исследуются также различные этапы исторического развития армянского языка. Проф. С. К. Казарян в I томе своей монографии «Армянский литературный язык X—XVII вв.» анализирует вопросы формирования и развития среднеармянского языка, а также вопросы фонетики и звуковых изменений (I том уже сдан в печать). Закончен второй том труда, где рассматривается морфология и лексика среднеармянского языка.

В настоящее время коллектив института занят составлением полного словаря среднеармянского языка, тем самым изучение этого этапа истории армянского языка будет завершено.

Наряду с опубликованием новых научно-исследовательских работ, большое место уделяется переизданию ценных лингвистических и арменоведческих трудов. Вышел в свет на русском языке том историко-лингвистических работ академика АН Армянской ССР Г. А. Капанцяна². В работах, вошедших в этот том, автор на основе большого числа исторических, лингвистических и этнографических фактов разъясняет проблемы происхождения и развития армянского языка и армянского народа, выясняет вопросы языковых взаимодействий армянского, малоазиатских, индоевропейских, кавказских и семитических языков.

Ведется работа над переводом на армянский язык классических трудов выдающихся армянстов — «Грамматика армянского языка» Г. Гюбшмана и «Очерка сравнительной грамматики древнеармянского языка» А. Мейе.

¹ «Русско-армянский словарь в четырех томах», Ереван, том первый А — Й — 1954, том второй К — О — 1956, том третий П — Р — 1957.

² Гр. Капанцяна, Историко-лингвистические работы. К начальной истории армян. Древняя Малая Азия, Ереван, 1956.

Перед армянскими языковедами стоит важная задача изучения языка и стиля современной армянской художественной литературы и произведений армянских классиков. Из работ в этой области следует отметить работу Р. О. Костяняна, где исследуются языковые особенности советско-армянской прозы¹.

В будущем предстоит решить еще много лингвистических проблем, в том числе проблемы формирования и развития западноармянского литературного языка, вопросы отмирания габара, возникновения армянских диалектов, проблемы периодизации истории армянского языка, выяснения характера общности между языками, относящимися к различным языковым семьям, вопрос о взаимоотношении языка и мышления и т. д. Лингвисты Советской Армении приложат все усилия для выполнения этих проблем.

Р. О. Костянян

МОЯ ТЕКУЩАЯ РАБОТА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ *

Основной темой моих работ продолжает оставаться изучение деталей грамматического строя урартского языка древней Биайны. Имеющиеся на этом языке письменные памятники, находящиеся также на территории Арм. ССР, относятся к первой половине последнего тысячелетия до н. э. В них содержатся древнейшие сведения о Закавказье, его племенах и имевшихся здесь населенных пунктах. Язык этих памятников по своему грамматическому строю и лексическому составу может оказаться родственным языкам Кавказа и, во всяком случае, не является родственным семитическим языкам древнего Востока, ассирийскому и вавилонскому, использующим, как и урартский, клинообразную систему письма.

Издание текстов на урартском языке, проводившееся А. Сейсом с 1882 г. по мере их обнаружения², уже устарело. А. Сейс ограничивался транскрипционной передачей имевшихся фотографий и эстампажей, остающихся в значительной своей части неопубликованными. Тем самым было затруднено более уверенное чтение самих текстов. Уточнения вносились позднее отдельными исследователями. Издание текстов на урартском языке, сопровождаемое фототипическими воспроизведениями наличных памятников, было начато К. Ф. Леманн-Гауптом³. Но оно осталось из-за смерти автора незавершенным. Полный свод надписей, тщательно проверенных по оригиналам, дан несколько лет назад Г. А. Меликишвили. К издаваемым текстам добавлен указатель всех встречающихся слов во всех разновидностях написания их основ и используемых грамматических форм⁴. Фундаментальный труд Г. А. Меликишвили дал возможность привлечь имеющийся материал для всестороннего изучения грамматического строя урартского языка. Когда я приступил к детальному его рассмотрению по отдельным словарным статьям, мне прежде всего бросились в глаза особенности применения заимствованной у Ассирии графической системы силлабарного письма. Нужно полагать, что биайнский писец не был в состоянии передавать заимствованной системой графики все особенности фонетики родного языка. За это говорит тот факт, что писец прибегал к различным сочетаниям клинописных знаков для написания одного и того же слова. Он изображал дифтонги как двумя знаками с двумя гласными, так и с одним гласным; ср. *ka-i-u-ki*, *ka-u-ki* «предо мною»; *qi-u-ra-a-e-di*, *qi-ra-e-di* «в землю». Одинаковое чтение обоих начертаний основы слова *qiu-ra* «земля» подтверждается наличием обоих его написаний в одной и той же надписи (Келишин, строка 36 и 41) и т. д. Едва ли можно видеть здесь выпадение гласного, как предполагают некоторые исследователи. Больше оснований усматривать тут не фонетическое, а графическое явление.

Равным образом к числу графических особенностей следовало бы отнести также и часто встречающиеся повторения огласовок. Так, например, имя царя Аргишти пишется (в эргативном падеже) *Ar-giš-ti-še*, *Ar-gi-iš-ti-i-še*. Основа собственного имени читалась *Argišti*, но для ее написания во втором примере использованы силлабарные знаки без чтения исходного гласного, что привело к произношению слогового знака

¹ Р. О. Костянян, Очерки о языке и стиле советско-армянской прозы последнего десятилетия (1945—1955), Ереван, 1957 (на арм. яз.).

* Редакция обратилась к акад. И. И. Мещанинову, которому в ноябре текущего года исполнилось 75 лет, с просьбой поделиться своими научными планами. Ниже публикуется ответ И. И. Мещанинова.

² См. А. Н. Сауце, The cuneiform inscriptions of Van, «The journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland», 1882, 1888, 1893, 1894, 1900 и сл.

³ C. F. Lehmann-Haupt, Corpus inscriptionum chaldicarum, Berlin — Leipzig, Lief. I — 1928, Lief. II — 1935.

⁴ См. Г. А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи, ВДИ, 1953 — №№ 1—4, 1954 — № 1.

одним согласным. Такими примерами изобилует урартская письменность. Ср. *badu-sie* «величественный»: *ba-du-si-e*, *ba-a-du-u-si-i-e*; здесь нет оттенения долготы гласного. Ср. также *nirbi* «скот»: *ni-ir-bi*, *ni-ri-bi*. Для написания урарт. *nirbi* с его стечением согласных писцу пришлось передавать закрытый слог *nir* или двумя знаками *ni-ir*, или *ni-ri* с чтением второго знака одним согласным. Таким образом, можно установить, что в биайнской графике слоговые знаки местами читались как однозвучные. К такому заключению приводит анализ наличных написаний одних и тех же слов, что в свою очередь помогает приблизиться к подлинному чтению основ словарного состава языка. Облегчается тем самым и сопоставление урартского с современными языками Кавказа, по крайней мере с теми из них, для которых урартский мог служить субстратом (ср. армянский, курдский и др.).

Не менее показательны те выводы, к которым приводит анализ самого грамматического строя урартского (биайнского) языка. Наиболее детально этот анализ дан в работах И. Фридриха и А. Гётте. Наблюдения этих ученых учитываются Г. А. Меликишвили в прилагаемом им грамматическом очерке¹. Анализ строя изучаемого языка потребовал в первую очередь формального описания самой его структуры в части оформления слов, входящих в состав предложения, что и сделано названными исследователями. В результате предварительных исследований устанавливаются парадигмы склонения имен и спряжения глагола (морфологии), отмечаются выделяемые особенности фонетического строя. Тем самым необходимая предварительная работа оказывается уже выполненной. Но на одном этом не заканчивается вся работа по усвоению содержания, вложенного в языковую структуру. Для уточнения основных свойств изучаемого языка одни описательные грамматики оказываются недостаточными.

Чтобы установить, что грамматический строй урарту и его лексика не соответствуют грамматическому строю и лексике ассирийского и вавилонского, чтобы выяснить, какое место занимает урартский среди других языков Кавказа и Передней Азии, нужно было выйти за пределы языка Биайны и прибегнуть к сравнению его структурных особенностей со структурными особенностями других языков, прослеживая в них как схождения, так и расхождения. Тем самым упор приходится перенести на типологические сопоставления. В этом новом направлении исследовательской работы внимание сосредоточивается на типовой стороне привлекаемых к сравнению языковых структур. На очередь становится изучение типов языковых структур каждого в отдельности и изучение их же в проводимых сопоставлениях. Тут возможен различный подход к изучаемому материалу. Можно останавливаться на всем целом, прослеживая взаимоотношения слагаемых единиц языка; можно исследовать те или иные его основные разделы. Для выбора одного из этих путей нужно уточнить, что именно вкладывается нами в понятие структуры языка и какой материал ложится в основу сравнительной типологии. Нужно решить, привлекаются ли для этого языковые структуры по входящим в них отдельным грамматическим категориям или же по всему их комплексу, точно устанавливаемому в составе структуры.

Основываться только на морфологии оказывается далеко недостаточным, на что уже указывалось в научной литературе. В структуральном плане рассматривается не только оформление слов, но и их значение². Как морфема, так и лексическая единица имеют свое определенное назначение в языке и выполняют соответственно определенные функции. Семантика слова, выступающего в предложении, влияет не только на свое собственное грамматическое оформление, но и на те отношения, которые устанавливаются между словами в предложении, следовательно, и на их грамматическую форму. Лексика занимает в строении языка свое определенное положение, но она уже не занимает в структуре языка совершенно обособленного места. К подобному выводу приходит Ф. де Соссюр. Он не согласен «с тем более узким определением, которое обычно дается грамматике... под этим названием принято объединять морфологию и синтаксис», а лексикология, иначе наука о словах, из грамматики выключается вовсе»³. Ф. де Соссюр находит это неправильным, так как «с точки зрения функции лексикологический факт может сливаться с фактом синтаксическим»⁴. Н. Я. Марр, еще до опубликования работ де Соссюра, возражал против установившегося узкого определения грамматики и делал значительный упор также и на лексику.

Типологические сопоставления приводят к тому же выводу, позволяя подтвердить то положение, что лексическая единица может по своему значению сливаться с синтаксической. В ряде языков лексическая семантика обуславливает синтаксическое построение целого предложения, устанавливая грамматическую форму его главных членов — подлежащего и сказуемого; ср., например, в аварском языке Дагестана. Подлежащее в аварском ставится не только в именительном падеже, но и в косвенных в зависимости от семантики глагола: *Вац рожъовэ вуссана* «Брат домой вернулся» (глагол непереходного действия, подлежащее *вац* стоит в им. падеже); *Вацас хур бекъана* «Брат поле пахал» (глагол переходного действия, подлежащее *вацас* поставлено в твор. падеже); *Вацасе жиндирго лъимер бокула* «Брат своего ребенка любит» (глагол чув-

¹ Г. А. Меликишвили, указ. соч., ВДИ, 1953, № 1.

² См. об этом доклад Л. Ельмслева на VIII Международном конгрессе лингвистов («Reports for the Eight International congress of linguists», vol. II, Oslo, 1957).

³ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 130.

⁴ Там же, стр. 131.

ствования, подлежащее *вацасе* в дат. падеже); *Вацасда жиндирго змен вихъана* «Брат своего отца видел» (глагол восприятия, подлежащее *вацасда* получило окончание местн. падежа). В урартском языке равным образом от семантики глагола зависит падеж подлежащего. Ср. *Menuaşē ini pulusi kuguni* «Менуа эту стелу воздвиг» (переходный глагол, подлежащее *Menuaşē*); *ustabi Menuani* «выступил Менуа» (непереходный глагол, подлежащее *Menuani*). Строй языка Биайны (урартский) в этом его положении уточняется типологическими сопоставлениями, устанавливающими схождения и расхождения. В урартском, как и в аварском, от семантики глагола зависит падеж подлежащего. В зависимости от семантики глагола устанавливается его же грамматическая форма по двум указанным моделям, образующим две парадигмы спряжения (переходную и непереходную). В урартском языке глагол, управляя падежом подлежащего, вступает с подлежащим в соответствующие отношения, меняя свои личные окончания, согласуя их с числом действующих лиц. Но в урартском нет такого разнообразия в падежах подлежащего, как в аварском, в котором глагол, в отличие от урартского, не имеет личных окончаний и благодаря этому сохраняет одностороннее управление падежом подлежащего.

Можно сопоставить строй предложения с переходным действием в урартском и аналогичное явление в чукотском. В обоих этих языках выделяется падеж активно действующего лица (производителя), но его грамматическая форма различна: в чукотском в этом положении выступает творительный падеж, в урартском используется с той же функцией специальный активный падеж (-šē), тогда как творительный в урартском не мог быть падежом подлежащего и используется только в значении инструментального и исходного; таким образом, творительные падежи названных двух языков различны не только по своей грамматической форме, но и по своей функции. Равным образом и глагол в чукотском и урартском языках согласуется своими показателями с подлежащим и прямым дополнением; эти показатели, в свою очередь, также различаются не только грамматической формой (морфемой), но и синтаксической функцией. При имеющихся схождениях (эргативный строй предложения в обоих языках) выступают также и значительные расхождения, которые устанавливаются сопоставлением сложившихся структур языков, привлекаемых к сравнению.

Обратимся к чукотскому предложению переходного действия: *Гымнап ты-палъ-нат орыт эмнун'кы* «Я оставил нарты в тундре». Объект *орыт* «нарты», стоящий в абсолютном падеже, занимает место прямого дополнения, глагол *ты-палъ-нат* согласован с ним посредством своего суффикса -нат, а при помощи префикса *ты-* он же согласован с подлежащим, поставленным в творительном падеже (*гым-нан*). Здесь имеет место субъектно-объектное спряжение, при помощи которого в данном языке оформляется переходный глагол во всех его лицах и числах, но тот же переходный глагол, когда ослабевает степень его переходности, как увидим ниже, имеет субъектное спряжение по непереходному типу.

В урартском, в отличие от чукотского, переходный по семантике глагол всегда сохраняет за собою полноту вложенного в него содержания переходного действия и потому не может иметь грамматической формы непереходного глагола. Но переходность действия передается как посредством субъектно-объектной суффиксации, так и посредством одной объектной или даже одной субъектной по специальной парадигме спряжения переходного глагола. Обратимся к примерам: *kieidanuli AMĒLŪ huradanieli.. MĀTU ebanī ħaitu ĀLU^{mēs} ... (ħarħaršituli* «Я послал воинов... страну они захватили, города... разрушили» (Сард. летоп. В, строка 28—32). В одной и той же фразе оказались три переходных глагола, но они получают различное оформление. Один из них поставлен в субъектно-объектном спряжении (-itu-li: *ħarħarš-itu-li* «разрушили-они-их»), другой стоит с одним субъектным показателем 3-го лица множественного числа (-itu: *ħa-itu* «захватили-они»), третий имеет лишь показатель объекта во множественном числе (-li: *kieidanu-li* «отправил-их»).

Приведенный пример указывает на то, что решающим в оформлении урартского переходного глагола является число субъекта. Оно управляет глагольной формой. При множественном числе действующего лица переходный глагол получает субъектно-объектную и субъектную форму: *ħa-itu* «[воины] захватили-они», *ħarħarš-itu-li* «разрушили-они-их». При единственном числе действующего лица глагол имеет лишь показатель объекта: *kieidanu-li* «[я воинов] послал-их»; в этом случае используется объектное спряжение. Здесь подлежащее при любом числе объекта остается в одном и том же падеже (на -šē).¹¹ *Menua-še... ini susi šidištu-ni* ^d*Ĥaldinili BĀBU-li šidištu-ali ini Ê. GAL šidištu-ni* «Менуа... это (культовое) здание соорудил, Халдовы врата соорудил, эту цитадель соорудил» (надпись Кохбанц, строки 2—5). В этом примере глагол *šidištu-ni*, *šidištu-ali* имеет объектные показатели в единственном и множественном числе — «соорудил-его», «соорудил-их». Подлежащее же остается в одной и той же грамматической форме. Ср. *ieše ini pile agu-bi* «Я этот канал провел» (надпись Катепанц, строка 10); *ieše inili ebanili... ašgu-li* «Я эти страны... одолел» (надпись Кологран, строки 2—3).

Посредством оформления глагола сказуемое оказывается связанным с подлежащим и прямым дополнением. Для передачи устанавливаемых между ними отношений в урартском языке используются соответствующие вербальные и именные грамматические формы, в которых получает свое отражение лексическое значение глагола.

В соответствии со своим лексическим значением глагол получает ту или иную грамматическую форму, которой отвечает грамматическая форма подлежащего. Прямое дополнение остается всегда в именительном падеже, тогда как подлежащее не имеет единого падежного окончания. Непереходный глагол, получая свою парадигму спряжения, сочетается с именительным падежом подлежащего: *ušta-bi^m Menua-ni* «выступил Менуа». Переходный глагол имеет другую парадигму спряжения, и подлежащее при нем ставится в активном падеже: *^mMenua-še ini Ê GAL šidištu-ni* «Менуа эту цитадель воздвиг». Имеющиеся две парадигмы спряжения точно различаются в соответствии с семантикой той или иной лексической единицы. Субъектный показатель переходного глагола в 3-м лице множественного числа (-*itu*) не соответствует такому же показателю субъекта непереходного (-*li*). Тем самым переходный глагол, всегда выступающий в урартском языке с таким его значением, не может в этом языке получать форм непереходного. Поэтому субъектное построение переходного глагола (*ha-itu* «захватили-они») и объектное (*kieidanu-li* «послал-их») включаются оба в одну и ту же парадигму спряжения переходного глагола при одних и тех же отношениях к субъекту и объекту, что и получает свое выражение в устойчивости данной грамматической формы. Переходный глагол не может в урартском языке переклещаться из одной системы спряжения в другую. Он получает субъектный показатель при множественном числе имени действующего лица и объектный при единственном числе этого имени. Оба эти показателя остаются показателями одной переходной парадигмы спряжения. Указанный строй спряжения переходного глагола лишается здесь залогового значения, которое, как увидим ниже, имеет место в приведенном выше чукотском примере.

В чукотском языке, наоборот, действующая парадигма спряжения, передавая отношение к объекту, не закрепляется за определенными группами глагола, как в урартском, и лексическое содержание переходного глагола не препятствует приобретению им непереходных форм. В чукотском выступает иная система вербальных парадигм. Одна из них содержит субъектно-объектные показатели, другая — только субъектные. Но это не парадигмы спряжения переходных и непереходных глаголов по их значению, как в урартском, а парадигмы переходных и непереходных форм спряжения, в которых передается отношение действия к субъекту и объекту или к одному только субъекту. Здесь семантика глагола утрачивает то устойчивое положение, которое было только что отмечено в урартском языке. Переходный по своему лексическому значению глагол получает непереходную форму, когда изменяется его отношение к объекту, утрачивающему полноту своего содержания. Общим парадигмам спряжения соответствуют разные падежи подлежащего. При субъектно-объектном спряжении подлежащее стоит в эргативном (творительном) падеже, при субъектном подлежащее ставится в именительном (абсолютном). Но это будут не падежи подлежащего при переходных и непереходных глаголах, как в урартском языке, а падежи подлежащего при переходных (субъектно-объектных) и непереходных (субъектных) формах глагола, так как в чукотском переходный по своему лексическому значению глагол, получая также и непереходную форму, сочетается с подлежащим, стоящим в именительном (абсолютном) падеже.

Когда в чукотском языке объект выступает прямым дополнением, глагол имеет двустороннее согласование: *Гымнан ты-пэля-нат ореыт* «Я оставил нарты» («я я-оставил-их нарты»). Когда гот же предмет направленности действия сливается со сказуемым в едином инкорпорированном построении, объект снижается в своем значении до уточняющего действие обстоятельного слова, и глагол сохраняет лишь свое согласование с субъектом, причем изменяется также и падеж подлежащего: *Гым т-оры-пэля-гэак* «Я нарты оставил» (местоимению 1-го лица *гым* соответствуют глагольные префикс и суффикс: «я я-нарты-оставил-я»). В этом случае глагол с его лексической семантикой переходного действия получил непереходную форму. Этот глагол, при изменившемся содержании объекта, перешел из одной парадигмы спряжения в другую, а именно в ту, по которой спрягается глагол, непереходный по своему значению. Переклещившись в другую парадигму спряжения, глагол обоими своими аффиксами (*т-...-гэак*) согласуется с подлежащим, стоящим в именительном (абсолютном) падеже. Ср. *Гым т-оры-пэля-гэак* «Я нарты оставил» и *Гым т-экэвт-гэак* «Я отправился». Переходный по своей семантике глагол получил то же оформление и вступил с субъектом в те же отношения, что и глагол непереходного действия.

В чукотском языке отношения действия к объекту отражаются на всей структуре предложения. Грамматическая форма глагола определяется не его семантикой, а положением объекта, с которым один и тот же глагол входит в разные отношения. В этих синтаксических конструкциях уже выступает вербальная категория залога, но не действительного и страдательного, как в индоевропейских языках, а своя, свойственная данной системе языка, меняющая падежи подлежащего в связи с переходными и непереходными построениями одного и того же глагола. Следовательно, залог получает в каждой языковой системе свои отличия и устанавливается по ее действующей структуре.

Вербальная категория залога не может оказаться однородной во всех языках, если структура этих языков различна. Расхождения имеются не только в лексическом составе словаря, в фонетике и оформлении слова (морфология), но также и в построениях предложения, в способах передачи синтаксических отношений между словами и в самих этих отношениях. Нет общей схемы не только в построениях глагола, но и в фор

мально устанавливаемых связях его с другими членами предложения. В каждой языковой системе вырабатываются свои правила построения предложения и оформления выступающих в нем слов.

Длительный исторический путь развития каждого языка вырабатывает действующие в нем нормы и вносит в них соответствующие изменения. Диахронный разрез связан тут с синхронным анализом, так как всякие изменения внутри языкового строя включаются в ту общую систему, которой характеризуется язык на определенном этапе его развития. Этой же системе подчиняются и сами изменения, вносимые в слагаемые элементы грамматических категорий. Тем самым удается установить ведущие признаки, выделяющие каждую систему. Н. С. Трубецкой, отмечая шесть структуральных признаков, объединяющих индоевропейские языки, включает в их число единство грамматической формы подлежащего при переходных и непереходных глаголах¹. Это один из признаков, характеризующих данную систему языка. Но по тому же признаку эта система противопоставляется другой, в которой нет единого падежа подлежащего при переходных и непереходных формах глагола. Выделяются и такие системы языков, в которых падежи подлежащего различны. В число этих языков включается урартский, что и заставило меня прибегнуть к типологическим сопоставлениям для уточнения его действующего строя. Беря в основу типологию структуры предложения, пришлось остановиться на той его конструкции, в которой единый падеж подлежащего отсутствует.

Такой конструкции присваивается наименование эргативной. Этот термин введен А. Дирром, усмотревшим в одном и том же языке (грузинском) три типа конструкций предложения, выделяемых по падежу подлежащего: 1) номинативную с именительным падежом, 2) эргативную с эргативным падежом активного деятеля, 3) дативную с дательным падежом². Я придал тому же термину более широкое содержание, основываясь на том, что синтаксический строй определяется всем комплексом его слагаемых частей, рассматриваемых не изолированно, а в их взаимной связи. Их совокупность позволяет выделить цельную систему. Одной из таковых и является эргативная. Эргативная конструкция характеризуется выделением особой грамматической формы имени активного производителя продуктивного действия, что получает свое выражение не только в особых падежах подлежащего, но и в глагольной аффиксации. В абхазском языке эргативный падеж отсутствует, но строй предложения остается эргативным, так как показатели эргативности перенесены на глагольную аффиксацию (см. приводимый ниже пример из абхазского языка, где имена остаются падежно не оформленными). Следовательно, выделение одного лишь активного падежа, как бы оно ни было характерно для данной конструкции, все же недостаточно для ее наименования эргативной.

Эргативная конструкция к тому же характеризуется не столько наличием особого эргативного падежа, сколько самой системой падежных противопоставлений. Выше уже приводились соответствующие примеры из аварского языка, в которых падежами подлежащего оказались творительный, именительный, дательный, местный. В этой конструкции предложения все перечисленные падежи выступают падежами эргативной конструкции, так как все они оказались падежами подлежащего и противопоставляют одни предложения другим по их грамматическому оформлению. В число этих падежей эргативной конструкции вошел также и именительный. Но он получает тут иное содержание, чем в индоевропейских языках. В этих последних именительный выступает единым падежом подлежащего, тогда как в языках с эргативной конструкцией предложения именительный падеж оказывается единым падежом прямого дополнения и используется для передачи подлежащего только в предложениях непереходного действия.

Каждой системе свойственны свои парадигмы склонения имен и спряжения глаголов. Во многих языках глагол полисинтетичен, ибо включает в свои показатели не только субъект и прямой объект, но также и косвенный объект; ср. абхаз. *ag'atsa at'ssaqha ata i-l-i-goyt* «мужчина женщине лошадь (коня) берет». Стоящие перед глаголом имена лишены падежных окончаний, глагол же синтезирует отношения к ним: *i-l-i-goyt* «его-ей-он берет». Индоевропейскому глаголу такое построение не свойственно³.

Падежи имен также имеют свои особенности. Родительный падеж в эскимосском языке и в лакском выступает в качестве падежа подлежащего при переходных формах глагола. В дательном падеже во многих языках Кавказа ставится подлежащее при глаголах чувственного восприятия. Творительный падеж в аварском и чукотском также используется для выражения подлежащего. В именительном падеже языков эргативного строя предложения ставится прямое дополнение и подлежащее непереход-

¹ См. N. S. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem, «Acta linguistica», vol. 1, fasc. 2, Copenhagen, 1939, стр. 85.

² См. A. Dier, Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen, Leipzig, 1928, стр. 75—76.

³ Если даже считать префиксами связанные с глаголом местоимения во французском языке, то все же они выступают не показателями субъекта и объекта, а ими самими: *tu-les-connaiss* «ты их знаешь»; *tu-m'assassines* «ты меня убиваешь»; *je-le-lui-disais* «я это ему сказал» и т. д.

ного действия¹. Этим данный именительный падеж отличается от именительного падежа индоевропейских языков.

Эргативная конструкция предложения, так же как и другие синтаксические конструкции (в том числе и номинативная), является одним из признаков, по которым группируются разные языки и который поэтому может оказаться общим для ряда неродственных языков, какими и оказываются те языки, синтаксические построения которых приведены мною. Каждый из этих языков характеризуется особенностями синтаксических построений и связанных с ними элементов морфологии. Общность основной схемы эргативного предложения вовсе не устраняет наличия известного рода расхождений в структуре языков, использующих данную схему. В урартском, как и в аварском, падежи подлежащего зависят от семантики глагола, но падежами подлежащего в урартском выступают только два, тогда как в аварском их четыре. Морфология в урартском, как и в других языках, выполняет задания синтаксиса, но падежи подлежащего соотносятся здесь с переходными и непереходными глаголами по их лексическому значению. В чукотском же языке падеж подлежащего связан с грамматическими формами глагола, и переходный глагол переключается в парадигму спряжения непереходного в зависимости от своих отношений к объекту, что не свойственно урартскому. В абхазском языке отсутствует склонение имен, и основа эргативной конструкции выступает в развитой префиксации глагола (пример приведен выше). В лезгинском, наоборот, глагол лишен не только классных показателей, но и личных, и выражение эргативного строя сосредоточивается в системе падежных окончаний: *Зи балкІан галатна* «Моя лошадь устала»; *БалкІанди зи ник барбатІна* «Лошадь мое поле потоптала (попортила)». Оба глагола (*галатна*, *барбатІна*) имеют одинаковое оформление (стоят в прошедшем I). Подлежащие поставлены в разных падежах: *балкІан* (именительный), *балкІан-ди* (активный). Некоторые языки проводят согласование посредством классных показателей и личных (даргинский), некоторые — только посредством классных (аварский) и т. д.

Каждый язык на любом этапе его исторического развития выступает цельной системой связанных между собой грамматических категорий. Даже такие основные разделы языка, как фонетика, лексика, морфология и синтаксис, не остаются в их полной изоляции. На проблеме «взаимопроникновения фонетики, морфологии и синтаксиса» остановился К. Л. Пайк в своем докладе на VIII Международном лингвистическом конгрессе². На это указывал и Ф. де Соссюр³. К тем же выводам приводят и приведенные выше типологические сопоставления. Что же касается морфологии, то она (в ее словоизменительной части) оказывается, так же как и лексика, материальной основой для синтаксических построений.

Тем самым получает свое обоснование выдвижение синтаксиса на принадлежащее ему ведущее место в построении предложения и оформлении выступающих в нем слов. В то же время синтаксис не является самоцелью в научных исследованиях и не должен отрываться от остальных основных разделов языка. Наоборот, он сливается с ними, выступая на материальной базе фонетики и морфологии и вместе с ними оформляя используемые слова в общих для них заданиях речевой коммуникации. Основные элементы синтаксиса смыкаются тут с крайним разнообразием средств морфологии, передают ими различные отношения между словами предложения, опираясь также на лексическое содержание слов. В итоге получаются не одна, а несколько синтаксических систем. Углубленное их изучение — задача будущего.

И. И. Мещанинов

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 17 по 19 февраля в Одесском институте им. К. Д. Ушинского состоялась научная конференция кафедр русского и украинского языкознания пединститутов УССР, созванная Министерством народного образования Украины⁴. На конференции присутствовали делегаты 19 пединститутів, а также учителя средних школ г. Одессы.

На пленарных заседаниях и на секциях русского и украинского языков было заслушано около 30 докладов. Доктор филол. наук В. Н. М и г и р и н (Симферополь) выступил с докладом на тему: «Вопрос о фонеме в связи с проблемой знаковости языка». Остановившись на существующих в современном языкознании расхождениях в пони-

¹ В описательных и научных грамматиках не всегда учитывается такое содержание названного падежа, что отражается на неустойчивости присваиваемого ему термина. В палеоазиатских языках этот падеж именуется абсолютным, но в кавказских он же сохраняет название именительного, хотя и выступает со всеми отмеченными выше свойствами падежа эргативной конструкции предложения.

² «Reports for the Eight International congress of linguists», vol. II, Oslo, 1957.

³ См. Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 131—133.

⁴ По информации М. К. Мартыновской.

мании фонемы, докладчик заявил о своем несогласии с мнениями по этому вопросу Р. И. Аванесова и С. К. Шаумяна. Фонема, сказал В. Н. Мигирин, не может выступать в смыслоразличительной роли, так как различия в звуковой оболочке слов только указывают на различное значение, но не раскрывают его характер.

Доц. П. А. Медушевский (Киев) сделал доклад о теоретических основах синтаксиса современного украинского языка. Канд. филол. наук С. С. Вайнтриб (Каменец-Подольск) в докладе «К вопросу об исследовании терминологической лексики» остановился на истории создания некоторых литературных терминов. С докладом на тему «Лингвистические воззрения А. Ф. Гильфердинга» выступил доктор педагог. наук С. П. Дудкин (Одесса). Докладчик, отметив важность изучения трудов русских славистов, изложил наиболее ценные, не потерявшие своего значения и в настоящее время положения Гильфердинга, представленные в его работах по славянской филологии. В докладе «Вопрос о происхождении украинского языка в лингвистической и исторической литературе» доц. А. А. Москаленко (Одесса), указав на недостаточную до сих пор разработку этого вопроса, наметил пути его дальнейшего исследования.

Все указанные доклады были представлены и обсуждены на пленарных заседаниях. На заседаниях Секции украинского языкознания помимо четырех методических докладов, которые представили препод. В. П. Горбачук (Горловка), заслуж. учитель М. М. Школьник (Львов), канд. филол. наук С. И. Дорошенко (Сумы) и доц. Г. В. Баймут (Житомир), были заслушаны следующие семь докладов по вопросам украинистики: доц. С. Ф. Самойленко (Запорожье) — «О форме именительного, винительного и дательного падежей множественного числа местоимения 1-го лица *мы* в древнерусском языке», доц. Ю. К. Редько (Львов) — «Взаимосвязь между украинскими фамилиями и топонимическими названиями», канд. филол. наук Ф. Я. Середы (Нежин) — «Пополнение украинского литературного языка специальной терминологией под влиянием русского языка», доц. Л. Л. Рагозина (Полтава) — «Вопрос о грамматической связи собственных географических названий с определяемым нарицательным именем существительным», канд. филол. наук М. У. Каранской (Житомир) — «Пояснительные конструкции в украинском языке»; вопросам украинской диалектологии посвятили свои доклады преподаватели Г. Ф. Пелих (Одесса) и Г. И. Филиппова (Харьков).

На Секцию русского языкознания были представлены методические доклады по вопросам преподавания русского языка в украинской школе: канд. филол. наук Н. М. Дзюбановой (Нежин), канд. филол. наук М. К. Мартыновской (Одесса) и канд. филол. наук Г. И. Цыганенко (Сталино). Остальные 8 докладов были посвящены проблемам русистики: канд. филол. наук А. Е. Попова (Винница) — «О предикативности обособленных определений», канд. филол. наук В. Н. Михайлова (Луцк) — «Проблема собственных имен персонажей в русской художественной литературе первой половины XIX в.», препод. В. В. Гараиной (Полтава) — «Глагольное управление творительным падежом в языке сатирических журналов второй половины XVIII в.», аспиранта Н. А. Левашовой (Одесса) — «Функции глагольной приставки *от* в языке повестей XVII века», препод. Г. С. Кириченко (Ровно) — «О системе именных флексий русского литературного языка», С. А. Колтакова (Кировоград) — «Разговорно-просторечная фразеология в романе М. Шолохова „Тихий Дон“», М. М. Годованюка (Житомир) — «Словесные средства и функции комического в поэме Н. В. Гоголя „Мертвые души“» и канд. филол. наук П. В. Бурбы (Николаев) — «Славянизмы как структурный элемент русского литературного языка».

Участники конференции, выступая в прениях, отметили актуальность тематики представленных докладов, а также целесообразность организации подобных конференций.

В конце июня 1958 г. на филологическом факультете Киргизского гос. университета (Фрунзе) состоялась научная конференция по славянской филологии¹. Канд. филол. наук А. Е. Супрун в докладе «Некоторые вопросы преподавания славянских языков на русских отделениях» высказал мнение о целесообразности замены курса старославянского языка в университетах и педагогических институтах более широким курсом введения в славянскую филологию. Докладчик подчеркнул также необходимость более тесной связи теории и практики в преподавании второго славянского языка на русских отделениях. Доклад канд. филол. наук Г. С. Зенкова был озаглавлен «Некоторые вопросы теории современного русского словообразования (На материале суффиксальных существительных)»; в частности, автор коснулся вопроса о причинной продуктивности и непродуктивности отдельных суффиксов. А. И. Васильев в докладе «Образование имен действия посредством суффикса *-к(а)* в восточнославянских языках» указал на связи этого типа словообразования со словами на *-ние* и в связи с этим на историю видового значения в отглагольных существительных. Канд. филос. наук А. А. Брудный в докладе «Наблюдения над славянскими наименова-

¹ По информации А. Е. Супруна.

ниями самолетов» охарактеризовал четыре типа сигнификации самолетов: сравнительная (по внешнему сходству, типа польск. *Mewa* — «Чайка»), номинативная (наименование по официальным названиям, например *Ишак*—«И-16»), демонстративная (типа «Родина») и аппликативная (по внутренним качествам, например польск. *Bies*—«Бес»), а также рассмотрел некоторые вопросы бытования аббревиатур. На конференции был сделан, кроме того, ряд сообщений: Ф. А. К р а с н о в а «К вопросу о грамматической природе глагольных фразеологических единиц в русском языке», А. Е. С у п р у н а «Форма числа сказуемого при количественном подлежащем в македонском языке» и др.

Конференция явилась одним из звеньев подготовки к IV Международному съезду славистов. Комиссия славистов Киргизского университета, организовавшая конференцию, выпустила «Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по славянской филологии» (Фрунзе, 1958, 32 стр.).

При Институте языка и литературы АН Узб. ССР с конца 1956 г. под руководством В. М. Попова работает Лингвистический семинар¹, объединяющий 16 сотрудников института (узбеков и русских)—специалистов по славянским или восточным языкам. Содержанием работы семинара являются различные формы коллективных занятий:

а) взаимный обмен научной информацией (например, о выступлении виднейших зарубежных славистов в МГУ в мае 1956 г., о конгрессе югославских славистов в Белграде в сентябре 1957 г. и т. п.);

б) обсуждение рукописи руководителя семинара «Словарь лингвистических терминов»;

в) систематический просмотр картотеки восточной лексики в русском языке;

г) обсуждение докладов, представленных на семинар [например, ст. преп. Ташкентского пед. ин-та П. А. Д а н и л о в а о многосоюзии в XI—XVI вв., научн. сотр-ков института Ф. А б д у л л а е в а о кыпчакском говоре узбекского языка, А. А. М а х м у д о в а об ударениях в тюркских языках и (особо) в узбекском языке, секретаря семинара В. Г. П р о к о фье в а о едином характере некоторых исторических сдвигов глагольного ударения в русском, сербском и болгарском языках и о фрикативном *g* в древне-русском языке и т. д.].

Члены семинара ведут постоянную переписку, консультируясь по тематике своих работ с учеными Москвы, Киева, Риги, Софии и др.

¹ По информации В. Г. Прокофьева.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» в 1958 г.

Передавая

Состояние разработки и задачи дальнейшего изучения вопроса о диалектной
основе русского общенародного языка № 5

Статьи

Б о к а р е в Е. А.—Смычногортанные аффрикаты прадагестанского языка
(опыт реконструкции) № 4
В и н о г р а д о в В. В.—Лингвистические основы научной критики текста № 2
В и н о г р а д о в В. В.—Лингвистические основы научной критики текста
(окончание) № 3
Г е о р г и е в В. И.—Балто-славянский и тохарский языки № 6
Д е с н и ц к а я А. В.—О морфологической структуре албанского языка № 5
И в а н о в Вяч. В.—Проблема языков *centum* и *satem* № 4
И в и ч П.—Основные пути развития сербохорватского вокализма № 1
М е щ а н и н о в И. И.—Синтаксические группы № 3
С е в о р т я н Э. В.—Об историческом положении категорий переходности
и непереходности в тюркских языках № 2
С к о р и к П. Я.—К вопросу о классификации чукотско-камчатских языков № 1

Сообщения и заметки

А б а е в В. И.—Из истории слов № 1
А б а е в В. И.—Из истории слов № 2
А б а е в В. И.—Из истории слов № 4
А д м о н и В. Г.—Завершенность конструкции как явление синтаксической
формы № 1
А л и с о в а Т. Б.—Место прилагательного по отношению к определяемому су-
ществительному в итальянском языке № 5
А ш н и н Ф. Д.—Принципы дифференциации турецких указательных место-
имений № 2
Б л а г о в а Г. Ф.—Соотносительные глагольные формы и их развитие в узбек-
ском литературном языке № 4
Б у л а х о в с к и й Л. А.—Отражения так называемой новоакутовой интонации
древнейшего славянского языка в восточнославянских № 2
В е й М.—К этимологии древнерусского *Стрибожь* № 3
В и д н е с М.—О некоторых изменениях в позиции выражения принадлежно-
сти в русском языке XVIII—XIX вв. № 5
Г а р и б я н А. С.—Новая группа диалектов армянского языка № 6
Г в о з д е в А. Н.—Вопросы фонетики. Что дают три типа транскрипций № 6
Г л и к и н а Г. Е.—Опыт экспериментального изучения элементов динамиче-
ского ударения (На материале английского языка) № 5
Г р и г о р ь е в В. П.—Заметки о сложных словах № 5
Д о л г о п о л ь с к и й А. Б.—Из истории народнолатинского словообразо-
вания (Опыт установления относительной хронологии) № 2
Д у к е л ь с к и й Н. И.—Метод пересадки звуков речи в фонетике № 1
Д ы б о В. А.—О древнейшей метатонии в славянском глаголе № 6
Ж и р м у н с к и й В. М.—Потенцированные формы в немецких диалектах № 6
З и н д е р Л. Р.—Несколько слов о значении сопоставительной фонетики № 1
И б а р р а Г р а с с о Д. Э.—Иероглифическая письменность индейцев Андского
нагорья № 1
К о н е ч н а Г.—Ассимиляция и диссимиляция № 3
К о п е ц к и й Л. В.—Двуязычный словарь славянских языков (На материа-
лах русско-чешского и чешско-русского словарей) № 3
Л е б е д е в а Е. П.—Лингвистический анализ родовых названий маньчжу-
ров № 3
Л ы ж к о в А. Г.—Некоторые особенности суффикса лица *-чик(-чик)* № 1

Панфилов В. З.—Сложные существительные в нивхском языке и их отличие от словосочетаний (К проблеме слова)	№ 1
Распопов И. П.—К вопросу о предикативности	№ 5
Суперанская А. В.—Международный алфавит и международная транскрипция	№ 4
Тимофеев В. П.—О переходе некоторых кратких прилагательных в категорию состояния	№ 5
Футерман З. Я.—К вопросу о возвратных и усилительных местоимениях и о так называемых «возвратных глаголах» в современном английском языке	№ 1
Шведова Н. Ю.—О некоторых типах фразеологизированных конструкций в строе русской разговорной речи	№ 2
Ширалиев М. Ш.—О диалектной основе азербайджанского национального литературного языка	№ 1
Шмелев Д. П.—Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке	№ 6
Щур Г. С.—Скандинавский инфинитив I на <i>и</i>	№ 6

Дискуссии и обсуждения

Бертагаев Т. А.—Субъект и подлежащее	№ 5
Будагов Р. А.—Система языка в связи с разграничением его истории и современного состояния	№ 4
Горнунг Б. В.—К дискуссии о балто-славянском языковом и этническом единстве	№ 4
Граур А.—Структурализм и марксистская лингвистика	№ 1
Григорьев В. И.—Несколько замечаний о структурализме и семантике	№ 4
Жирмунский В. М.—О синхронии и диахронии в языкознании	№ 5
Жлуктенко Ю. А.—Конверсия в современном английском языке как морфолого-синтаксический способ словообразования	№ 5
Зарубежные отклики на дискуссию о структурализме	№ 2
Иванов Вяч. В.—Типология и сравнительно-историческое языкознание	№ 5
Кацнельсон С. Д.—К фонологической интерпретации протоиндоевропейской звуковой системы	№ 3
Коэн Марсель — Современная лингвистика и идеализм	№ 2
Крейнович Е. А.—Об инкорпорировании в нивхском языке	№ 6
Крупаткин Я. Б.—Две проблемы исторической фонологии	№ 6
Кузнецов П. С.—О дифференциальных признаках фонем	№ 1
Седелъников Е. А.—Несколько слов о синтагматической теории	№ 4
Серебрянников Б. А.—К критике некоторых методов типологических исследований	№ 5

Из истории языкознания

Бернштейн С. Б.—Борис Михайлович Ляпунов. Список печатных работ Б. М. Ляпунова	№ 2
Из переписки А. А. Шахматова с Ф. Ф. Фортунатовым	№ 3
Тейер Люсьен — О русско-французском словаре Л. В. Щербы	№ 6
Трубецкой Н. С.—Мысли об индоевропейской проблеме	№ 1

Деятели советского языкознания

Бархударов С. Г.—Академик С. П. Обнорский (К семидесятилетию со дня рождения)	№ 4
Борковский В. И.—Семидесятилетие Л. А. Булаховского	№ 1

Прикладное языкознание

Бархударов Л. С. и Колшанский Г. В.—К вопросу о возможностях машинного перевода	№ 1
Зиндер Л. Р.—О лингвистической вероятности	№ 2
Софронов М. В.—Общие принципы машинного перевода с китайского языка	№ 2

По страницам зарубежных журналов

Андрейчин Л.—К вопросу о влиянии русского языка советской эпохи на развитие современного болгарского языка	№ 4
Малый атлас польских диалектов	№ 6
Рефераты	№ 4
Фурке Жан—«Синхроническая» точка зрения при изучении германских литературных языков и диалектов	№ 4

Критика и библиография

Обзоры

- Гельгардт Р. Р.— Некоторые вопросы теории и практики изучения языка и стиля писателей № 3
 Горшкова К. В.— О некоторых работах Б. О. Унбегауна последних лет № 2
 Иллич-Свитыч В. М.— Венский славистический ежегодник № 3
 Маковский М. М.— «Lingua» № 6
 Подольская Н. В.— Географическое и топонимические словари, вышедшие в послевоенные годы в Польше, Чехословакии и Югославии № 2
 Проблема соотношения языка и мышления (Обзор статей, поступивших в редакцию) № 5
 Солнцев В. М.— Новый китайский филологический журнал № 3
 Степанов А. В.— Вопросы стилистики художественной речи в «Ученых записках» и «Трудах» (1955—1957) № 4

Рецензии

- Адмони В. Г.— А. И. Смирницкий. Синтаксис английского языка № 6
 Андреев Н. Д.— Р. С. Гуляревский и В. С. Гривнин. Языки мира № 1
 Ашукин Н. С.— Словарь языка Пушкина. Т. II № 4
 Боровков А. К.— С. С. Майзель. Изафет в турецком языке № 4
 Булаховский Л. А.— Chr. S. Stang. Slavonic accentuation № 4
 Габучан Г. М.— H. Birkland. Growth and structure of the Egyptian Arabic dialect № 5
 Гиндин Л. А.— A. Carnoy. Dictionnaire étymologique du proto-indo-européen № 5
 Горелов В. И.— С. Е. Яхонтов. Категория глагола в китайском языке № 5
 Горцевская В. А., Колесникова В. Д., Константинова О. А.— J. Benzing. Die tungusischen Sprachen № 5
 Грунин Т. И.— J. Deny. L'arméno-coman et les «Ephémérides» de Kamiénec (1604—1613) № 6
 Добродомов И. Г.— С. В. Кротевич, Н. С. Родзевич. Словник лінгвістичних термінів. № 1
 Зализняк А. А.— Mélanges linguistiques, publiés à l'occasion du VIII-e Congrès international des linguistes à Oslo, du 5 au 9 août 1957 № 2
 Земская Е. А. и Ковтунова И. И.— «Словарь современного русского литературного языка». Тт. V и VI № 2
 Зиновьев А. А. и Ревзин И. И.— О книге «Мышление и язык» № 2
 Зыцарь Ю. В.— J. Hubschmid. Schläuche und Fässer № 2
 Климов Г. А.— А. А. Цагарели. Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков № 4
 Лахути Д. Г., Успенский Б. А.— I. W. Perry, A. Kent, M. Berry. Machine literature searching № 5
 Левит З. Н.— G. Gougenheim, R. Michéa, R. Rivenc, A. Sauvageot. L'élaboration du français élémentaire. Étude sur l'établissement d'un vocabulaire et d'une grammaire de base № 4
 Майтинская К. Е., Хуттерер М.— Новые работы венгерских диалектологов № 2
 Макаров В. В.— G. Rohlf. Die lexikalische Differenzierung der romanischen Sprachen № 6
 Макеева Г. И.— «Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років» № 5
 Мельчук И. А.— H. Frei. Le livre des deux mille phrases № 4
 Мельчук И. А.— J. Gonda. The character of the Indo-European moods № 5
 Мельчук И. А.— «Dictionar invers» № 6
 Меновщиков Г. А.— A. Thibert. English—Eskimo, Eskimo—English dictionary № 1
 Молошная Т. Н.— J. B. Carroll. The study of language. A survey of linguistics and related disciplines in America № 3
 Надель Б. И.— V. Pisani. Le lingue dell'Italia antica oltre il latino № 1
 Надель Б. И.— L. Zgusta. Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste № 2
 Немировский М. Я.— Г. В. Погава. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках № 4
 Николаева Т. М.— K. Baldinger. Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks № 3
 Новак Л. А. и Пиотровский Р. Г.— H. H. Josselson. The Russian word count and frequency analysis of grammatical categories of standard literary Russian № 3
 Петерсон М. Н. и Вертоградова В. В.— В. А. Кочергина. Начальный курс санскрита № 1

П и о т р о в с к и й П. Г.— <i>F. N. Politzer and R. L. Politzer. Romance trends in 7th and 8th century Latin documents</i>	№ 1
П о с в я н с к а я А. С.— <i>Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Splawiński, S. Urbańczyk. Gramatyka historyczna języka polskiego</i>	№ 1
П р а в д и н А. Б.— <i>H. Bräuer. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Tl. I.</i>	№ 1
С к о р и к П. Я.— <i>R. Jakobson, G. Hüttl-Worth, J. F. Beebe. Paleosiberian peoples and languages. A bibliographical guide</i>	№ 6
С о р о к и н Ю. С.— <i>G. Hüttl-Worth. Die Bereicherung der russischen Wortschatzes im XVIII Jahrhundert</i>	№ 5
Т и т о в а В. П.— Курс де лимбэ молдовеняскэ литэратэ контемпоранэ	№ 1
Т к а ч е н к о О. Б.— <i>Pochodzenie polskiego języka literackiego</i>	№ 1
Т о п о р о в В. Н.— <i>K. Moszyński. Pierwotny Zasiąg języka prasłowiańskiego</i>	№ 4
Т р у б а ч е в О. Н.— <i>K. Horálek. Úvod do studia slovanských jazyků</i>	№ 1
Т р у б а ч е в О. Н.— Новые этимологические словари славянских языков	№ 4
Ф е д о р о в А. В.— <i>A. И. Ефимов. Стилистика художественной речи</i>	№ 3
Ф р у м к и н а Р. М.— <i>J. Marouzeau. Notre langue. Enquêtes et créations philologiques</i>	№ 1

Научная жизнь

Б а л а ж Г.— Конференция по вопросам синтаксиса словацкого языка	№ 5
Б е р к о в В. П.— Письмо в редакцию	№ 4
Б о р о д и н а М. А.— Об институте романского языкознания в Лионе	№ 3
Г а д ж и е в а Н. З.— Координационное совещание по вопросам грамматики языков народов СССР	№ 1
Г р и г о р ь е в В. П.— Обсуждение проблемы омонимии	№ 2
Д а л е П.— Обсуждение макета Толкового словаря современного латышского литературного языка	№ 3
З и н д е р Л. Р.— Симпозиум по вопросам разборчивости речи	№ 5
И в а н о в В. В.— Комитет по прикладной лингвистике	№ 3
К а р а с ь М.— XVII научный съезд Польского лингвистического общества	№ 2
К а р а с ь М.— Заседание Комитета языкознания Польской Академии наук	№ 4
К а р а с ь М., Ш л и ф е р ш т е й н С.— О работе над словарями польского языка XVI—XVII вв.	№ 4
К о с т а н я н Р. О.— Лингвистические и арменоведческие работы в Институте языка АН Арм. ССР	№ 6
Лингвистическая работа на местах	№ 3
М е щ а н и н о в И. И.— Моя текущая работа и ее перспективы	№ 6
М л а д е н о в Ц. и К о с т о в К.— О диалектологическом атласе болгарского языка	№ 1
Над чем работают ученые	№ 5
Н и к о л а е в а Т. М.— Конференция по машинному переводу	№ 5
О создании Института русского языка АН СССР	№ 4
О тематическом плане журнала «Вопросы языкознания» на 1959 г.	№ 5
П а л а г и н а В. В.— Изучение сибирских говоров в Томском университете	№ 4
П о с п е л о в Н. С.— Конференция в Братиславе (Впечатления участника)	№ 5
С а р ы б а е в Ш. Ш.— Языкознание в Казахстане	№ 5
С е в о р я н Э. В.— На восьмом съезде Общества турецкого языка	№ 1
У с п е н с к и й В. А.— Совещание по статистике речи	№ 1
Хроникальные заметки	№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ш е р б е р В.— Развитие славяноведения в Лейпциге с 1945 г.	№ 2
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Литература к IV Международному съезду славистов

- Матэрыялы да IV Міжнароднага з'езду славістаў.— Мінск, 1958. 66 стр.
- IV Международный съезд славистов. Лингвистическая тематика. 1—10 сентября 1958 г. (Программа заседаний).— М., 1958. 37 стр.
- IV Международный съезд славистов. Литературоведческая и литературно-лингвистическая тематика. 1—10 сентября 1958 г. (Программа заседаний).— М., 1958. 44 стр.
- Сборник ответов на вопросы по языкознанию.— М., 1958. 324 стр.
- Славянская филология. Сб. статей. I, II, III.— М., 1958.
- Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по славянской филологии.— Фрунзе, 1958. 32 стр.
- Указатель статей по славянскому языкознанию за 1948—1957 гг. (дополнение к выставке славистической литературы).— М., 1958. 122 стр. [стеклограф].
- Е. С. Белашова. Роберт Бернс в переводах С. Маршак, сб. «Проблема перевода и межславянских литературных взаимосвязей».— Черновцы, 1958. 108 стр. («Уч. зап. Черновицкого гос. ун-та», т. XXX, Серия филол. наук, вып. 6).
- П. Н. Берков. Международное сотрудничество славистов и вопросы организации славяноведческой библиографии.— М., 1958. 32 стр. [Докл.].
- М. Г. Булахаў. Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў XIX—XX ст. ст. Ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі.— Мінск, 1958. 44 стр. [Докл.].
- Л. А. Булаховский. Болгарский язык как источник для реконструкции древнейшей славянской акцентологической системы.— М., 1958. 48 стр. [Докл.].
- Н. Т. Вайтовіч. Да пытання аб фарміраванні нацыянальнай літаратурнай беларускай мовы (Аб судносінах літаратурнай мовы і дыялектаў).— Мінск, 1958. 47 стр. [Докл.].
- В. В. Виноградов. Наука о языке художественной литературы и ее задачи (на материале русской литературы).— М., 1958. 51 стр. [Докл.].
- В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка.— М., 1958. 138 стр. [Докл.].
- Е. Э. Гранстрем. О подготовке сводного каталога славянских рукописей.— Л., 1958. 31 стр. [Докл.].
- Л. Л. Гумецька. Принципы створення історичного словника української мови.— Київ, 1958. 24 стр. [Докл.].
- І. І. Ковалик. Вчення по словотвір (словотворч. частини слова).— Львів, 1958. 78 стр.
- І. І. Ковалик. Про деякі питання слов'янського словотвору.— Київ, 1958. 24 стр. [Докл.].
- П. С. Кузнецов. Развитие индоевропейского склонения в общеславянском языке.— М., 1958. 61 стр. [Докл.].
- В. Мажулис. Заметки к вопросу о древнейших отношениях балтийских и славянских языков.— Вильнюс, 1958. 20 стр. [Докл.].
- А. С. Мельничук. Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках (Краткая характеристика общих закономерностей).— Киев, 1958. 64 стр. [Докл.].
- Н. А. Мещерский. Значение древнеславянских переводов для восстановления их архетипов (На материале древнерусского перевода «Истории Иудейской войны Иосифа Флавия»).— М., 1958. 42 стр. [Докл.].
- П. П. Плющ. Українська літературна мова другої половини XIX—початку XX ст., шляхи її розвитку і специфіка її.— Київ, 1958. 51 стр. [Докл.].
- П. М. Попов. Початковий період книгодрукування у слов'ян.— Київ, 1958. 34 стр. [Докл.].
- А. С. Пулинец. Н. Г. Чернышевский и Светозар Маркович, сб. «Проблема перевода и межславянских литературных взаимосвязей».— Черновцы, 1958. 68 стр. («Уч. зап. Черновицкого гос. ун-та», т. XXX, Серия филол. наук, вып. 6).
- В. Ю. Розенцвейг. Работы по машинному переводу с иностранных языков на русский и с русского на иностранные в Советском Союзе.— М., 1958. 14 стр. [Докл.].
- М. Ф. Рыльский. Художественный перевод с одного славянского языка на другой.— М., 1958. 35 стр. [Докл.].
- А. Супрун. Некоторые общие явления в историческом развитии числительных в славянских языках.— Фрунзе, 1958. 14 стр.
- Б. В. Томашевский. Стих и язык.— М., 1958. 62 стр. [Докл.].
- Л. М. Шакун. Значення паркоунаславянської мови у развітті беларускої літаратурної мови.— Мінск, 1958. 19 стр.
- С. К. Шаумян. Некоторые вопросы применения дихотомической теории фонем к исторической фонологии польского языка.— М., 1958. 18 стр. [Докл.].
- Годишњак филозофског факултета у Новом Саду. Књ. I—II.— Нови Сад. 1956.
- Одговори југословенских слависта на питања националног славистичког комитета у Москви. Додатак «Јужнословенском филологу», књ. XXII.— Београд, 1958. 32 стр.
- А. Белић. Природа и происхождение существительных субъективной оценки. [Отд. отт. из] Ж. Ф. XXII. 131—139.— Београд, 1958.

И. Г р и ц к а т. О неким видским особенностима српскохрватског глагола [Отд. отт. из] *Ј. Ф. XXII*. 65—130.— Београд, 1958.

П. И в и ћ. Значај лингвистичке географије за упоредно и историско проучавање јужнословенских језика и њиховог односа према осталим словенским језицима [Отд. отт. из] *Ј. Ф. XXII*. 179—206.— Београд, 1958.

М. И в и ћ. Систем предложних конструкција у српскохрватском језику [Отд. отт. из] *Ј. Ф. XXII*. 141—166.— Београд, 1958.

М. П а в л о в и ћ. Перспективе и зоне балканистичких језичких процеса. [Отд. отт. из] *Ј. Ф. XXII*. 207—239.— Београд, 1958.

Ђ. С п. Р а д о ј и ч и ћ. Друго «Послание» Светогорског проте Гаврила Угарском краљу Јовану Запољи (из 1534 год.). [Отд. отт. из] *Ј. Ф. XXII*. 167—178.— Београд, 1958.

М. С т е в а н о в и ћ. Начин одређивања значења глаголских времена. [Отд. отт. из] *Ј. Ф. XXII*. 19—48.— Београд, 1958.

SOMMAIRE

Articles: V. Georgiev (Sofia). Les langues balto-slaves et le tokharien; E. A. Kreinovitsh (Léningrad). Sur l'incorporation en nivkh; J. B. Kroupatkin (Kharkov). Deux problèmes de la phonologie historique; **De l'histoire de la linguistique:** L. Tesnière. Sur le dictionnaire russo-français de L. V. Stcherba; **Coommunications et notices:** V. M. Jirmounski (Léningrad). Les formes potentialisés dans les dialectes allemands; V. A. Dybo (Moscou). Sur la plus ancienne métatone verbale en slave; D. N. Chmelev (Moscou). L'expression affective et ironique de la négation en russe moderne; A. N. Gvozdev (Kouïbichev). Problèmes phonétiques. Sur les trois types de transcription; G. S. Stchour (Moscou). L'infinitif I en *u* dans les langues scandinaves; A. S. Garibian (Yerevan). Un groupe nouveau des dialectes arméniens; **Extraits des periodiques étrangers:** Le petit atlas des dialectes polonais; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** R. O. Kostanian (Yerevan). Travail aux problèmes de linguistique générale et arménienne mené par l'Institut de la linguistique de la République Socialiste Arménienne; I. I. Mestchaninov (Léningrad). Mon travail d'aujourd'hui et plans futurs.

CONTENTS

Articles: V. Georgiev (Sofia). The Balto-Slavonic and Tokharian languages; E. A. Kreinovitsh (Leningrad). On the incorporation in the nivkh language; J. B. Krupatkin (Kharkov). Two problems of historical phonology; **From the history of linguistics:** L. Tesnière. On L. V. Scherba's «Russian-French dictionary»; **Notes and queries:** V. M. Jirmunsky (Leningrad). The potentialised forms in German dialects; V. A. Dybo (Moscow). On the earliest verbal metatony in Slavonic; D. N. Shmelev (Moscow). The affective and ironic expression of negation in modern Russian; A. N. Gvozdev (Kuybishev). Problems of phonetics. On the three types of transcription; G. S. Schur (Moscow). The Scandinavian infinitive I in *u*; A. S. Garibian (Yerevan). A new group of Armenian dialects; **From foreign periodicals:** The shorter atlas of Polish dialects; **Critics and bibliography; Scientific life:** R. O. Kostanian (Yerevan). Work on general and Armenian linguistics at the Institute of linguistics of the Armenian SSR; I. I. Meschaninov (Leningrad). My current work and future plans.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

6

1 9 5 8

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. П. Григорьев (и. о. отв. секретаря редакции), А. И. Ефимов, В. В. Иванов
(и. о. зам. главного редактора), Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебрянников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

ПОПРАВКИ

В № 5 нашего журнала в отчете о собрании Отделения литературы и языка АН СССР от 16 июня 1958 г. выступление С. И. Коткова изложено неточно (см. стр. 162). С. И. Котков не отказывался от выдвинутого им ранее положения (см. С. И. Котков, К изучению орловского говора, Орел, 1952, стр. 182), что в XVII веке на курско-орловской территории был единый диалект, а не диалектный хаос.

В том же номере в рецензии В. И. Горелова на книгу С. Е. Яхонтова «Категория глагола в китайском языке» на стр. 121, сн. 1 следует читать: См. Цао Юй, Цзюйбянь цзи, Пекин, 1955, стр. 320. Этот пример любезно предоставил в наше распоряжение Б. С. Исаенко.

Т-13202	Подписано к печати 12/XII 1958 г.	Тираж 8150 экз.	Зак. 957
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Бум. л. 4 ¹ / ₄ .	Печ. л. 11,6.	Уч.-изд. л. 14,1

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

Цена 12 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

КОНТОРА «АКАДЕМКНИГА»

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ:

Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Вступительные статьи. Справочные материалы и комментарии к картам. Под редакцией доктора филологических наук Р. И. Аванесова. 1957. 1100 стр. с приложением. 165 р.

Библиографический указатель литературы по языкознанию, изданной в СССР с 1918 по 1957 год. Вып. 1. Книги и сборники на русском языке, изданные в СССР в 1918—1955 гг. 1958. 368 стр. 10 р. 65 к.

АРЦИХОВСКИЙ А. В. и БОРКОВСКИЙ В. И. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1953—1954 гг.). 1958. 158 стр., 19 вкл. 15 р. 90 к.

БОРКОВСКИЙ В. И. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. 1958. 187 стр. 12 р. 10 к.

Исследования по грамматике русского литературного языка. Сборник статей. 1955. 356 стр. 19 р. 85 к.

КУЗНЕЦОВ П. С. У истоков русской грамматической мысли. 1958. 76 стр. 2 р. 40 к.

Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Том III. 1953. 286 стр. 16 р.

Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Том IV. 1957. 277 стр. 15 р. 70 к.

Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г. 1958. 390 стр. 19 р. 20 к.

Книги продаются в магазинах «Академкнига».

Для получения книг почтой заказы направлять в контору
«Академкнига»

Москва, К-12, ул. Куйбышева, 8

Отдел «Книга — почтой»

или в ближайший магазин «Академкнига» по адресу:

Москва, ул. Горького, 6 (магазин № 1); Москва, 1-й Академический проезд, 55/5 (магазин № 2); Ленинград, Литейный проспект, 57; Свердловск, ул. Белинского, 71-в; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Горяиновский пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 129; Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; Баку, ул. Джапаридзе, 13.

Созданием файла в формате DjVu

занимался ewgeni23

(октябрь 2010)

philbook@mail.ru